This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Číslo 289. Křen Antonín

И. И. Митропольскій.

На плотахъ.

(Разсказъ изъ жизни Полѣсья).

Изданіе „Донская Рѣчь“ въ Ростовѣ н-Д.

Ростовъ на Дону.
Типографія Т-ва „Донская Рѣчь“.
1903.

Дозволено цензурою 13 августа 1903 года. Ростовъ на Дону

На плотахъ.

Разсказъ изъ жизни Полѣсья.

И. И. Митропольскаго.

I.

Если кто, собираясь посѣтить Полѣсье, ожидаетъ увидѣть дѣвственную громаду лѣса, пересѣченную рѣчками и болотами, мало отличающуюся отъ вѣковыхъ сибирскихъ тайгъ, тотъ будетъ жестоко разочарованъ: рѣки и болота, правда, есть, но вмѣсто тайги онъ увидитъ поля съ торчащими, мѣстами почернѣвшими пнями, кладбища бывшихъ когда-то лѣсовъ; увидитъ теперешніе лѣса, полувырубленные и подчищенные, разсѣченные прямыми, какъ стрѣла, болотоосушительными канавами,—этими артеріями, благодаря которымъ годъ отъ году рѣдѣетъ Полѣсье. Только казенные лѣса и стоятъ еще нетронутыми и на нихъ на короткое время отдыхаетъ глазъ, утомленный картиной неразумнаго истребленія.

Лѣсопромышленникъ старается какъ можно дешевле купить лѣсъ у помѣщика и поселяется въ серединѣ купленнаго имъ лѣсного участка, въ какой-нибудь деревнѣ, гдѣ устраиваетъ «контору», и самъ слѣдитъ за вывозомъ лѣса къ канавамъ; по этимъ канавамъ плоты гонятся до

ближайшей рѣчки, а затѣмъ, по Днѣпру, Припяти и другимъ большимъ рѣкамъ Полѣсья, плывутъ на Югъ...

Въ конторѣ купца, въ селѣ Савичахъ, господствовало сильное оживленіе; въ большой и грязной комнатѣ толпилось человѣкъ пятьдесятъ крестьянъ, преимущественно жителей этого же села, пришедшихъ наниматься на сплавку лѣса до рѣки Птича. Говорили всѣ разомъ, шумѣли, топали ногами; по временамъ изъ этого неопредѣленнаго гула голосовъ выдѣлялось характерное бѣлорусское восклицаніе. Одни изъ крестьянъ сердились, другіе смѣялись, третьи были серьезны, но всѣ одинаково кричали и разговаривали другъ съ другомъ; большинство покуривало коротенькія трубки, безпрестанно сплевывая на полъ; ѣдкій запахъ мокрыхъ овчинъ, лаптей и махорки пополамъ съ березовымъ листомъ наполнялъ всю комнату. У самой стѣны за столомъ сидѣлъ самъ купецъ вмѣстѣ съ приказчикомъ и записывалъ въ книгу фамиліи нанимавшихся. Толстый и обрюзгшій, съ хитрымъ весноватымъ лицомъ, онъ держалъ себя совершенно спокойно и не торопясь вносилъ записи въ свою книгу; приказчикъ его, юркій и черноватый, наоборотъ, выходилъ изъ себя, кричалъ на крестьянъ, размахивалъ руками и то и дѣло обращался къ своему хозяину; потъ крупными каплями выступилъ у него на лбу. Сторожъ, почти старикъ, молчаливый и оборванный, сидѣлъ на бочкѣ съ водкой съ жестяной кружкой въ рукѣ и равнодушно смотрѣлъ на шумѣвшую толпу.

— Не кричите, не кричите!—махалъ руками на крестьянъ приказчикъ.—Пусть одинъ за всѣхъ хозяину скажетъ! Чего орете?

— Что жъ, можно и одинъ... Пусть одинъ говоритъ,— раздалось въ толпѣ.—Все одно. Говори ты, Ефимъ!

Ефимъ, широкоплечій, коренастый мужикъ, лѣтъ пятидесяти, въ бѣлой суконной свитѣ, шагнулъ впередъ;, онъ пришелъ наниматься вмѣстѣ со своимъ сыномъ двадцати-лѣтнимъ парнемъ Остапомъ.

— Тише, тише!—раздалось въ толпѣ.—Ефимъ говорить будетъ!

Ефимъ откашлялся. Купецъ, оторвавшись отъ своей книги, спокойно-иронически смотрѣлъ на него; онъ зналъ, почему крестьяне волнуются: имъ не нравилась объявленная за сплавъ цѣна, но онъ также зналъ, что все-таки они наймутся по такой цѣнѣ, какую ему захочется заплатить, и поможетъ ему въ этомъ бочка съ водкой, предусмотрительно заготовленной его приказчиками.

Когда всѣ понемногу затихли, Ефимъ началъ:

— Такъ что, хозяинъ, цѣною недовольны,—сказалъ онъ.—Цѣна малая! По шесть гривенъ за гребенку*), маловато... вишь, мартъ мѣсяцъ, а какъ на весну дружно погнало: воды будетъ много, трудно будетъ управиться... Вотъ, если по рублю съ гребенки положите... Опять же и насчетъ лодокъ: въ прошломъ году лодокъ мало было...

— Мало, совсѣмъ мало,—раздалось въ толпѣ.—Безъ лодокъ по шею въ воду лѣзть придется... Попробуй-ка!

— Тише, тише,—замахалъ руками приказчикъ.

— Лодки будутъ,—спокойно отвѣтилъ купецъ.—Я купилъ. На этой недѣлѣ привезутъ. Старыхъ еще пять штукъ.

— Что пять штукъ!—шумѣла толпа.—Пять мало; одна погнила совсѣмъ...

— Говорятъ, будутъ лодки!—крикнулъ купецъ.

— Слухай, будутъ лодки!—сказалъ Ефимъ.

Толпа зашушукалась; нѣкоторые подходили къ Ефиму, толкали его въ спину и шептали ему что-то на ухо.

— Ну, что еще?—спросилъ купецъ.—Цѣною недовольны? Такъ вездѣ такая цѣна... Какая есть, такую и даю!

— Обижаются,—отвѣтилъ Ефимъ.—Сказываютъ, что за зиму обидѣли очень тѣхъ, что къ канавѣ на лошадяхъ

---

*) Гребенка—на языкѣ сплавщиковъ лѣса куб. саж. дровъ.

лѣсъ возили; штрафовъ много записали. Опять же гребенкѣ цѣна всегда рубль была*).

— Штрафовъ записали! Черти!—закричалъ приказчикъ.—А сколько дней не отработали?—Онъ наклонился къ хозяину и зашепталъ ему на ухо.

— Вотъ что, братцы,—сказалъ тотъ, выслушавъ приказчика,—если хорошо до Птича прогоните, прощу всѣ штрафы, заплачу все, что недодано. По рублю за гребенку не дамъ: вездѣ теперь дешевле; гдѣ хотите спрашивайте. Дамъ по семидесяти и сейчасъ по квартѣ водки на брата. Водка хорошая, крѣпкая!

— Во рту горѣть будетъ!—пошутилъ приказчикъ.

— Это такъ, это хорошо!—раздались одобрительныя восклицанія.—Только вотъ на островѣ по рублю платятъ.

— Ну, и ступайте на Островъ,—притворно-равнодушно зѣвнулъ купецъ.—Пусть тамъ хоть по десяти платятъ. Сказано, цѣна семьдесятъ копеекъ, а тамъ хоть по десяти рублей берите!

Толпа заволновалась; снова поднялся прежній шумъ; Ефимъ что-то кричалъ и размахивалъ руками. Образовались двѣ партіи: одна соглашалась по семидесяти копеекъ и хотѣла пить водку сейчасъ же, другая стояла за цѣну по рублю.

Говоръ и крики обѣщали кончиться весьма нескоро, если бы купецъ не догадался крикнуть:

— Кто за семьдесятъ копеекъ не хочетъ,—уходи! Эй, запри-ка кранъ у бочки да спрячь кварту! Не надо водки!

Эти слова произвели магическое дѣйствіе:

— Согласны, согласны!—раздалось нѣсколько голосовъ, увлекшихъ и тѣхъ, кто пробовалъ еще сопротивляться.—Не запирай! Всѣ согласны! Согласны за семь гривенъ!

---

*) Цѣна за гребенку 1 р. 50 к.—2 руб.

Нѣкоторые изъ болѣе благоразумныхъ крестьянъ пошли было къ двери, не желая соглашаться на низкую цѣну, но никто изъ нихъ не дошелъ до дверей: сказалась ли тутъ магическая власть общества надъ отдѣльной личностью, или просто жажда водки превозмогла всѣ другія чувства, но только всѣ они вернулись и присоединились къ толпѣ, продолжавшей горланить: «Согласны!».

— Эй, Пахомъ! Куда пошелъ?—кричалъ низенькій мужиченко въ рваныхъ лаптяхъ, оттаскивая отъ выходной двери другого крестьянина, высокаго и блѣднаго.— Всѣ согласны. Чего тутъ думать! Идемъ водку пить! Сейчасъ давать будутъ.

— Нѣ...—нерѣшительно отвѣтилъ Пахомъ.—Я въ Островъ пойду; тамъ рубль даютъ.

— До Острова-то тридцать верстъ!—кричалъ низенькій.—Идемъ водку пить! Братцы, тащи сюда Пахома!

Пахомъ постоялъ, тряхнулъ головой и молча вернулся назадъ.

— Согласны!—кричали въ толпѣ.—Пиши, купецъ, да давай водку!

— Тише, тише, не всѣ вдругъ!—говорилъ купецъ. —Эй, кто тамъ стоитъ впереди? Матвѣй Головачъ? Гдѣ староста? На вотъ тебѣ квитанцію... староста, ставь печатку!

Одинъ за другимъ подходили къ столу крестьяне; ихъ записывали въ книгу и выдавали квитанціи. Одинъ изъ пятидесяти, грамотный, расписался въ книгѣ самъ, за остальныхъ староста клалъ свою печать. Отъ стола они подходили къ сторожу, который методично и равнодушно наливалъ имъ водку въ горшки, въ кувшины, и въ берестяные ковши,—во все, куда можно было влить жидкость.

А вечеромъ почти вся деревня была пьяна, точно празднуя подписанное условіе на трудъ, для котораго даже названіе каторжнаго слишкомъ легко.

II.

Конецъ марта. Сѣрое свинцовое небо сурово глядитъ на мокрую грязную землю; холодный вѣтеръ налетаетъ какими-то порывами, шумитъ въ голыхъ вѣтвяхъ лѣса, то крутитъ неизвѣстно откуда взявшіеся снѣжные хлопья, то бьетъ въ лицо холодный дождевой пылью. Снѣгу еще порядочно: въ лѣсу, на опушкахъ, подъ пригородками, въ рытвинахъ и оврагахъ,—повсюду еще цѣлые сугробы. Но уже подтачиваютъ эти сугробы, бурлящіе ручьи, появившіеся послѣ нѣсколькихъ солнечныхъ дней, и, шумя, вливаются въ широко разлившуюся на болотѣ осушительную канаву. Эта канава теперь цѣлая рѣка; темной свинцовой лентой отъ ряби расходившихся волнъ тянется она по унылому ландшафту еще не оттаявшаго болота и пропадаетъ въ чернѣющемъ вдали лѣсу. Затопленный лознякъ, камышъ съ черными головками торчатъ изъ воды и треплются отъ вѣтра; мелкія льдинки звенятъ и сталкиваются около берега; много ихъ и на самомъ берегу съ подвѣтренной стороны; выброшенныя вѣтромъ, онѣ узкою бѣлой полосой отдѣляютъ черную землю отъ свинцовой воды, ломаются, падаютъ въ воду и наростаютъ снова. На поверхности воды тамъ и сямъ видны медленно плывущія по теченію бревна и колоды,—это остатки прошедшихъ здѣсь плотовъ; сзади идущіе плоты подбираютъ ихъ, оставляя сами въ свою очередь нѣсколько частицъ своего огромнаго плавучаго тѣла.

Вотъ на горизонтѣ сквозь сѣтку спускающагося холоднаго тумана показываются двѣ человѣческія фигуры; фигуры эти, вооруженныя двумя длинными шестами, то низко наклоняются надъ водою, опустивъ въ нее шесты, то снова выпрямляются и, поднявъ шесты, медленно двигаются назадъ. Это идутъ плоты. Длинная мокрая вереница потемнѣвшихъ бревенъ, перевязанныхъ лубомъ, медленно плыветъ по теченію; она похожа на оторванный наводненіемъ плавучій мостъ; бревна глубоко сидятъ въ водѣ, а расходившіяся волны выплескиваютъ на нихъ свои пѣ-

нистые гребни. Скаты бревенъ покрыты тонкимъ льдомъ; непривычный человѣкъ ни за что не устоялъ бы на нихъ, но два крестьянина, вооруженные шестами, смѣло ходятъ, по своему скользкому мосту, то и дѣло заливаемому водою. Плотъ большой, идетъ до двадцати гребенокъ; большей величины плоты не ходятъ по канавамъ. Крестьяне-сгонщики—уже знакомые намъ Ефимъ со своимъ сыномъ Остапомъ. Оба они промокли до костей, но постоянное ворочанье тяжелыми шестами не даетъ почувствовать холода; иначе они давно бы замерзли отъ леденящаго вѣтра. Потъ смѣшивается на ихъ тѣлѣ съ просачивающейся сквозь одежду водою и умѣряетъ ея холодъ. Мерзнутъ только ноги, обутыя въ лапти, потому что онѣ постоянно въ водѣ, ихъ не обережешь; волосяные оборы *) и онучи покрыты льдомъ, а лапти скрипятъ на ходу, но Ефимъ и Остапъ точно не замѣчаютъ этого; молчаливые, сосредоточенные двигаются они по двумъ противоположнымъ сторонамъ плота, отталкиваясь своими шестами то отъ дна, то отъ затопленнаго берега, на который все хочетъ выкинуть плотъ усиливающійся вѣтеръ.

Холодно, сыро и туманно. Вотъ плотъ миновалъ болото и вошелъ въ лѣсную часть канавы; вѣтра здѣсь меньше, но еще унылѣе въ лѣсу отъ вида почернѣвшихъ оголенныхъ деревьевъ. Съ обѣихъ сторонъ обступили они бѣгущую мимо нихъ, бурлящую канаву и словно въ безсильной жалобѣ тянутъ надъ нею къ суровому свинцовому небу свои изуродованныя вѣтви-руки.

Здѣсь не надо отталкиваться отъ береговъ: вѣтра нѣтъ и плотъ идетъ ровно. Остапъ первый бросилъ свой шестъ и пошелъ на средину плота, гдѣ на подмоченной и оледенѣвшей соломѣ возвышался соломенный же шалашикъ.

— Холодно, тату,—сказалъ онъ, залѣзая туда.—Иди,

*) Оборы—волосяные ремни для завязыванія лаптей; оборы въ др смыслѣ—хлѣвы для скота.

грѣться будемъ, да и поснѣдаемъ... Эхъ! хорошо бы теперь онучи перемѣнить да одёжу!—размечтался онъ.

— Вишь чего захотѣлъ!—угрюмо отвѣтилъ ему отецъ. —Вотъ доберемся до ночлега, тамъ обсушимся...

Онъ тоже бросилъ на плотъ свой шестъ и полѣзъ въ шалашъ къ сыну.

— На вотъ свиту, закроемся,—сказалъ ему сынъ, подавая край запасной свиты, лежавшей въ шалашѣ.— Хлѣбца поснѣдаемъ... воды-то сколько хочешь.

Онъ порылся въ соломѣ и вытащилъ черствый полузаплѣснѣвшій коровай хлѣба. Ножомъ, висѣвшимъ по бѣлорусскому обычаю у пояса на длинномъ ремешкѣ, онъ отрѣзалъ два большихъ ломтя отцу и себѣ и снова спряталъ хлѣбъ. Отецъ и сынъ легли рядомъ на солому, плотно прижавшись другъ къ другу и закрывшись одною свитою. Одежда и онучи ихъ скоро стали оттаивать, и изъ шалаша пошелъ легкій, чуть замѣтный паръ. Они лежали молча и ѣли свой хлѣбъ, медленно разжевывая твердую корку. Ефимъ первый нарушилъ молчаніе.

— Купецъ обманулъ-таки съ лодками... Какъ на такой плотъ и лодки не дать?

— Всѣхъ обманулъ, тату!—отвѣтилъ сынъ.

— Всѣхъ! Извѣстно что всѣхъ... Что ему одного обманывать? Тутъ по канавѣ-то еще не бѣда, какъ вотъ черезъ Дикое болото переберемся... тамъ воды, поди, страсть сколько, море цѣлое...

— Можетъ, не разлило еще?—робко выговорилъ сынъ.

— Не разлило? Эхъ, ты! Кожухинскіе говорили, что и береговъ не видно... Тамъ, какъ вѣтеръ налетитъ, ничего ты безъ лодки не подѣлаешь! Снесетъ тебя съ плотомъ въ камыши, да и сиди въ водѣ, пока люди не вытащатъ. Такъ-то! Три версты всего и пройти этимъ болотомъ проклятымъ, а поди попробуй-ка!

— Можетъ, и не собьемся съ канавы...

— Можетъ, и не собьемся. Кто его знаетъ? Шестами будемъ работать, а тамъ что Богъ дастъ...

— А если, тату, въ канавѣ задержаться да другихъ плотовъ подождать?—робко замѣтилъ сынъ.

— Нѣтъ, братъ, канаву загораживать нельзя. Да и чѣмъ мы плотъ остановимъ? Что, у насъ якоря есть? Да и замерзнемъ ночью. Нѣтъ, ужъ лучше дальше поплывемъ, минуемъ Дикое болото, переднихъ нагонимъ, да и заночуемъ въ Диковичахъ. Хорошо у огонька-то...

— Чего ужъ!—согласился сынъ.—На что лучше? Дома-то теперь тоже, поди, снѣдаютъ...

Отецъ не отвѣтилъ на это и продолжалъ разсуждать:

— Въ Диковичахъ ночуемъ, а тамъ до Птича всего двадцать верстъ останется. На завтра и въ Птичѣ будемъ, да и домой... Сдадимъ дубовикамъ [1]) плоты, на чугунку сядемъ,—и дома. Хорошо по чугункѣ ѣздить: тепло, а ужъ быстро!..

— Верстъ десять въ часъ?—спросилъ сынъ.

— И всѣ тридцать!

— И-и хъ,—Остапъ даже зажмурился.—А по Птичу, тату, кто же плоты погонитъ?

— А тамъ артели особыя, съ атаманами [2]) да дубовиками; посвяжутъ всѣ наши плотики въ одинъ ба-а-льшенный, да и поплывутъ внизъ; въ Припять выйдутъ, а послѣ и въ Днѣпръ. По Днѣпру до Кіева дойдутъ, а тутъ имъ остановка; купцы здѣсь съѣдутся и начнутъ лѣсъ покупать... Былъ я разъ въ Кіевѣ, на площадь ходилъ... ты въ тѣ поры еще въ зыбкѣ качался.

— Хорошій городъ?

— Столица!—отецъ вдохнулъ.

— Хоть бы разочекъ повидать!—съ завистью проговорилъ сынъ.—Тату, пусти меня на плотахъ до Кіева!

— Ишь, чего выдумалъ! Лежи-ка, лежи! Скоро и лѣсъ кончится, выйдемъ въ болото придется поработать... Лежика, грѣйся!

---

[1]) Дубовикъ—старшій въ лодкѣ «дубѣ», которая направляетъ плотъ.

[2]) Атаманъ—начальникъ рабочихъ.

Ефимъ медленно приподнялся на локтяхъ, сбросилъ съ себя свиту и выползъ изъ шалаша; сынъ остался лежать; ему не хотѣлось бросать угрѣвшагося мѣста, выходить на мокроту и холодный вѣтеръ, и онъ лѣниво смотрѣлъ на отца.

— Лѣсъ скоро кончается,—проговорилъ Ефимъ, вставая и присматриваясь впередъ.—Ишь, канава-то какъ бурлитъ. Точно пароходъ плотъ-отъ идетъ! Испить водицы... Ты не хочешь, Остапъ?

— Нѣ,—отвѣтилъ сынъ,—я полежу...

— Ну, полежи,—согласился отецъ.—Полверсты еще до болота осталось, я скажу тогда.

Онъ подошелъ къ краю плота, сталъ на колѣни и, зачерпнувъ берестянымъ ковшомъ, сталъ пить мутную ржавую воду.

— Вода ничего,—сказалъ онъ, поднимаясь и отирая ладонью усы и бороду. Онъ выплеснулъ остатокъ изъ ковша обратно.—Лѣтомъ-то совсѣмъ ржавая... А будетъ снѣгъ сегодня;—вдругъ оборвалъ онъ себя и посмотрѣлъ вверхъ.

— Хмаритъ [1],—неопредѣленно выговорилъ сынъ.

Отецъ не отвѣтилъ ему на это; онъ взялъ свой шестъ, оперся на него и сталъ смотрѣть задумчиво впередъ, гдѣ окутанныя пеленою тумана мутно синѣли послѣднія очертанія лѣса. Тамъ, за этими очертаніями и было то грозное Дикое болото, котораго онъ опасался.

Дикое болото прежде было лѣснымъ озеркомъ, широко разливавшимся весною; осушительная канава прошла какъ разъ черезъ это озеро и вытянула изъ него всю воду. Образовалось изъ него болото, сухое по краямъ и топкое по срединѣ, къ берегамъ канавы опять дѣлалось суше. Говорили, что на болотѣ этомъ есть и трясины [2], и окна [3]. Рѣдкій охотникъ осмѣливался забираться въ

---

[1]) Находятъ тучи.

[2]) Грязь засасывающая человѣка.

[3]) Затянутый по поверхности растительностью омутъ.

его нѣдра, хотя они и кишѣли дичью. Весною болото опять превращалось въ озеро версты двѣ въ поперечникѣ; разливы стали еще шире, потому что сама канава питала весною болото лишнею водою. Словно настоящее озеро, раскидывалось весною болото, и теченіе канавы узнавалось только по стремительному бурленію воды. Для сплавщиковъ лѣса это было самое окаянное мѣсто; очень легко можно было сбиться съ плотами съ направленія канавы, попасть въ разливъ болота, и тогда только съ помощью лодокъ можно было выбраться на фарватеръ, шесты всѣ уходили въ топкую грязь дна. Правда, сплавщики связывали другъ съ другомъ длинные шесты и огораживали ими съ обѣихъ сторонъ все теченіе канавы, образуя какъ бы каналъ въ озерѣ. Но что значила эта хрупкая преграда передъ сильнымъ ударомъ налетѣвшаго на нее плота, брошеннаго могучимъ теченіемъ и сильнымъ вѣтромъ?

Начало смеркаться, кругомъ все болѣе и болѣе тускнѣло; мутныя очертанія земли, воды и деревьевъ стали сливаться съ такимъ же мутнымъ небомъ. Все точно тонуло или перерождалось въ безконечный туманъ и только одна черная теперь вода зловѣще хлопала надъ плотами, уносившими съ собою двѣ человѣческихъ жизни.

Ефимъ стоялъ впереди и смотрѣлъ. На лбу у него появились морщинки, обличающія тревогу.

— Ишь, какъ стемнѣло скоро,—бормоталъ онъ.— Худо будетъ итти по болоту... Остапъ!—крикнулъ онъ.— Эй, Остапъ!

— Остапъ!—глухо откликнулось эхо.

— Остапъ!—снова крикнулъ отецъ.

— Э-эй!—отвѣтилъ сынъ; онъ согрѣвшись задремалъ и не слышалъ перваго крика отца.

— Вылазь, вылазь!—крикнулъ отецъ.—Бери шестъ; болото сейчасъ!

Въ шалашѣ послышалась легкая возня, и черезъ минуту Остапъ стоялъ рядомъ съ Ефимомъ; въ рукахъ у

него тоже былъ шестъ. Остапъ легко потягивался со сна и чувствовалъ дрожь; сырой холодъ непріятно охватилъ его.

— Стемнѣло,— сказалъ онъ.—А къ чему этотъ туманъ? Къ морозу или теплу?

— Къ морозу,—отвѣтилъ отецъ.—Вишь, вода стала мерзнуть,—онъ показалъ сыну на куски льда, примерзшіе къ бревнамъ.

— Намъ бы только до Диковичъ добраться; туманъ-то поди, разгонитъ: вишь, вѣтеръ поднимается.

Словно отвѣчая на его слова, порывъ вѣтра внезапно всколыхнулъ туманъ, ударилъ имъ въ лицо и зашуршалъ соломой на крышѣ шалаша. Брызги воды долетѣли до середины плота.

А плотъ все быстрѣе и быстрѣе скользилъ по водѣ въ этихъ сгущающихся сумеркахъ; можно было уже разсмотрѣть впереди что-то огромное, бѣлѣющееся, все ближе и ближе подвигавшееся къ плоту и глухо шумѣвшее. Это и было Дикое болото.

— Остапъ, держись!—внезапно крикнулъ Ефимъ и быстро отскочилъ назадъ, ближе къ серединѣ. Остапъ машинально сдѣлалъ то же.

Прямо передъ ними внезапно выдвинулась изъ тумана огромная сосна; плотъ летѣлъ прямо на нее. Миновать сосну было невозможно,—столкновеніе было неизбѣжно.

Опасность была очевидна, но предотвратить ее было поздно. Ефимъ, присѣвъ на корточки, расширенными глазами смотрѣлъ на сосну и судорожно сжималъ въ рукахъ шестъ. Вся надежда была на прочность лыковыхъ и берестяныхъ связокъ.

— Тату, тату!—безсвязно бормоталъ рядомъ съ нимъ Остапъ.

Плотъ налетѣлъ на сосну серединой передней части, это спасло его отъ разрыва: ударъ распредѣлился равномѣрнѣе. Ефимъ и Остапъ упали, не удержавшись на ногахъ. Шалашъ развалился, а сверху, съ сосны, посыпался на плотъ цѣлый дождь сухихъ иглъ.

Ефимъ быстро вскочилъ на ноги.

— Отталкивай, отталкивай передъ-то,—закричалъ онъ сыну,—а то поперекъ повернетъ! Живо!

Оба они бросились къ соснѣ и дружными усиліями уперевъ въ широкій смолистый стволъ шесты и навалясь на нихъ грудью, успѣли освободить плотъ и придать ему первоначальное положеніе.

Они снова понеслись навстрѣчу огромному бѣлѣющемуся впереди болоту-озеру, все шире и шире развертывающемуся передъ ними. Сосна сразу осталась далеко позади и постепенно тускнѣла, готовясь расплыться въ туманѣ.

— Вотъ тебѣ!—погрозилъ ей кулакомъ запыхавшійся Остапъ.—Выдвинулъ тебя чортъ!

— Не поминай его!—сурово крикнулъ на него отецъ.—Къ ночи, да еще на водѣ! Что еще выдумалъ!

Остапъ сконфузился.

— Не буду, тату—пробормоталъ онъ.—Испугался очень: думалъ, разобьетъ плотъ, потонемъ мы...

Ефимъ не отвѣтилъ, потому что въ это самое время деревья широко разступились въ обѣ стороны, и плотъ не вошелъ, а влетѣлъ въ разливъ Дикаго болота.

Впереди и по сторонамъ была все одна вода, даже лѣса не было видно за туманомъ. Здѣсь было вѣтрено; большія волны сразу набросились на плотъ и стали перекатываться черезъ него.

— Есть ли бревна по канавѣ?—крикнулъ сыну Ефимъ, присматриваясь къ поверхности воды.

— Есть—отвѣтилъ Остапъ, ударяя своимъ шестомъ по связаннымъ бревнамъ, по краямъ теченія канавы.

Но внезапный сильный порывъ вѣтра унесъ его отвѣтъ вмѣстѣ съ соломенной крышей ихъ разрушеннаго шалаша. Плотъ подхватило и ударило о тѣ самыя бревна, о которыя только что билъ своимъ шестомъ Остапъ. Послышался зловѣщій скрипъ.

— Де-е-е-ржись!—крикнулъ сыну Ефимъ. Что-то особенное послышалось Остапу въ звукѣ этого голоса.

А вѣтеръ продолжалъ бушевать, прогоняя клочки разорваннаго тумана; стало виднѣе; гдѣ-то далеко, далеко замигалъ огонекъ.

— Въ Диковичахъ, должно-быть,—думаетъ Остапъ, сжимая въ посинѣлыхъ рукахъ оледенѣвшій шестъ.—Этакій вѣтеръ! И укрыться отъ него негдѣ. А хорошо теперь тамъ, у огонька! Ноги вотъ совсѣмъ вымокли и замерзли, даже кости ноютъ. Надѣть развѣ другую свиту.

— Тату!—крикнулъ онъ.

Отецъ опять не услышалъ. Вѣтеръ вылъ и свистѣлъ въ ушахъ, какъ дикій звѣрь.

— Надѣну,—рѣшилъ Остапъ и подошелъ взять свиту, но вмѣсто свиты онъ поднялъ какую-то замерзшую кору съ прилипшей къ ней мѣстами мокрой замерзшей же соломой. Вода промочила ее, а вѣтеръ заморозилъ.

— Ишь ты... замерзла,—проговорилъ Остапъ и, весь трясясь, отошелъ опять на край плота; зубы его стучали, какъ въ лихорадкѣ; пальцы рукъ съ трудомъ могли сгибаться. Онъ смотрѣлъ на продолжавшій мигать вдали огонекъ и не думалъ, а нетерпѣливо чувствовалъ, что надо скорѣе, скорѣе до него добраться. Мысли путались у него въ головѣ; онъ взглянулъ въ сторону отца, увидѣлъ его сгорбленную отъ холода фигуру, и что-то поразило его въ ней; что,—онъ и самъ не зналъ.

— Держись. Скоро!—крикнулъ ему Ефимъ, и Остапу показалось, что голосъ его идетъ откуда-то сверху.

Снова налетѣлъ порывъ вѣтра и ударилъ плотъ объ огородку изъ бревенъ; но ни Ефимъ ни Остапъ не шевельнулись, не подняли своихъ шестовъ,—холодъ парализовалъ ихъ чувства.

Другой порывъ вѣтра и что-то больно ударило по рукамъ и по посинѣлымъ лицамъ Остапа и Ефима, забарабанило по бревнамъ и съ бульканьемъ попадало въ воду: пошелъ градъ, частый и крупный.

Укрыться было негдѣ. Остапъ стоялъ съ какой-то покорностью, оставляя жесткимъ ударамъ лицо и ру-

ки. Да и что можетъ сдѣлать человѣкъ противъ разбушевавшейся стихіи?

Остапъ не видѣлъ теперь и отца; онъ едва держался на ногахъ. Упади онъ теперь въ воду, онъ и пальцемъ не пошевельнулъ бы, чтобы выплыть, а такъ бы и пошелъ ко дну, какъ камень. Шестъ выскользнулъ изъ его рукъ и упалъ въ воду. Остапъ и этого не замѣтилъ.

Новый порывъ вѣтра вмѣстѣ съ полосой посыпавшагося града. Громадная волна, звеня принесенными съ собою мелкими льдинками, обрушилась на плотъ, смыла послѣднюю солому вмѣстѣ со свитой и кольями шалаша, облила ноги Остапа и скатилась съ противоположной стороны. Плотъ подняло, какъ щепку, ударило о предохранительныя бревна, разорвало ихъ и погнало въ средину разлива.

Отчаянный крикъ,—крикъ человѣка, у котораго волосы встали отъ ужаса дыбомъ, раздался въ эту минуту и моментально смолкъ, подхваченный и унесенный вѣтромъ. Это крикнулъ Ефимъ; Остапъ не могъ даже этого сдѣлать; отъ толчка онъ упалъ на плотъ, почти безучастный ко всему окружающему. Какое-то странное чувство охватывало его; ему вдругъ сдѣлалось тепло; онъ видѣлъ и плотъ и отца, который бросился къ нему, но все это было какое-то новое, странное. Видѣлъ онъ и огонекъ, манившій его вдали, но теперь онъ былъ близко и радужнымъ сіяніемъ расплывался, какъ заревомъ, по всему небу.

— Остапъ! Остапъ!!—услыхалъ онъ надъ собою раздирающій крикъ отца. Чьи-то руки схватили его за плечи и трясли, силясь поставить на ноги.

— Хорошо... у огонька-то...—прошепталъ Остапъ, какъ-бы въ бреду, коснѣющимъ языкомъ и замолкъ. Ему было, дѣйствительно, хорошо, хотя вся одежда его вымокла и была во льду, хотя черезъ него и перекатывались волны, но ему было тепло,—онъ готовъ былъ заснуть.

А его полузамерзшій, обезумѣвшій отъ ужаса и горя отецъ, стоя на колѣняхъ надъ своимъ замерзающимъ сыномъ, то дико звалъ на помощь, то молился, сбиваясь с-

О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ—любителѣ истины.

Это очень правдивая исторія, и я начну ее такъ:

...Вдругъ изо всѣхъ пѣвчихъ птицъ той рощи, въ которой произошелъ этотъ любопытный случай, привлекла къ себѣ общее вниманіе одна, запѣвшая пѣсни, исполненныя не только надеждъ, но и увѣренности.

До той поры всѣ птицы, испуганныя внезапно наступившей сѣренькой и хмурой погодой, пѣли пѣсни, которыя только потому и назывались пѣснями, что ихъ пѣли; въ нихъ преобладали унылыя и безнадежныя ноты, и птицы-слушатели сначала называли ихъ хрипѣньемъ умирающихъ, но потомъ понемногу привыкли и даже стали находить въ нихъ разныя красоты, что, однако, стоило имъ большого труда.

Тонъ всему въ рощѣ давали вороны, птицы по существу своему мизантропическія и, кромѣ болѣе или менѣе громкаго карканья, ни къ чему неспособныя. Въ другое время на нихъ не обратили бы вниманія, но теперь, когда ихъ голоса преобладали, ихъ слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А онѣ, подмѣчая послѣднее обстоятельство, мрачно распѣвали:

Карр!.. Въ борьбѣ съ суровымъ рокомъ
Намъ, ничтожнымъ, нѣтъ спасенья.
Все, на что ни взглянешь окомъ,—
Боль и горе, прахъ и тлѣнье...
Карр!... Страшны удары рока!...
Мудрый пусть имъ покорится...

Карр... карр!... Скучная пѣсня!... но сильная, ибо она угнетала всю рощу.

И вдругъ звучали смѣлыя пѣсни...

Вся роща, много слышавшая пѣсенъ, встрепенулась и съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивалась, удивленно и тихо шелестя вѣтвями. И даже соловьи, которые всегда поютъ недурно, потому что они жрецы чистаго искусства, съ удовольствіемъ слушали и говорили:

— А вѣдь у этого пѣвца есть искорка!...

И, говоря такъ, втайнѣ гордились своимъ безпристрастіемъ.

А пѣвецъ пѣлъ:

Я слышу карканье воронъ,
Смущенныхъ холодомъ и тьмой...
Я вижу мракъ,—но что мнѣ онъ,
Коль бодръ и ясенъ разумъ мой?...
За мной кто смѣлъ! Да сгинетъ тьма!
Душѣ живой—въ ней мѣста нѣтъ!
Зажгемъ сердца, огнемъ ума
И воцарится всюду свѣтъ!...

— Сильно спѣто! — комментировали соловьи...—Молодо, самонадѣянно, немузыкально—но сильно...—и, глубокомысленно почистивъ носики, они слушали дальше:

Кто честно смерть пріялъ въ бою,
Тотъ развѣ палъ и побѣжденъ?
Палъ тотъ, кто, робко грудь свою
Прикрывъ, ушелъ изъ битвы вонъ...
Друзья! и тотъ палъ, кто, боясь
Труда, волненій, боли ранъ,
О битвѣ судитъ, погрузясь
Въ философическій туманъ...

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отмѣтили соловьи.—Хотѣлось бы знать, что это за птица!...— полюбопытствовали они.

Друзья! пусть падшіе молчатъ.
Имъ очи съѣлъ сомнѣній дымъ;

Въ сердцахъ ихъ честь и гордость спятъ...
Друзья! давайте, крикнемъ имъ:
Прочь! вашихъ мудрствованій чадъ
Темнѣе сдѣлалъ эту ночь,
И отравляетъ онъ, какъ ядъ,
Умы и души юныхъ... Прочь!..
Прочь!.. Здѣсь объявлена богамъ
За право первенства война!

— Это смѣло!—сказали соловьи.—О, да!... это очень смѣлая пѣсня!...

Роща слушала и ощущала нѣчто хорошее и сильное, это ощущеніе наполняло ее тепломъ и свѣтомъ, и даже старыя, сѣрымъ туманомъ покрытыя вѣтви деревьевъ зашептали о прошлыхъ дняхъ. То были славные весенніе дни, когда въ рощѣ только что начинали расцвѣтать цвѣты и надежды, когда птицы пѣли звучные гимны солнцу, а свободное отъ тучъ небо казалось безконечно глубокимъ, и точно звало оно птицъ попытать силу крыльевъ — достигнуть его глубины. То были хорошіе дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотѣлось, ибо была цѣль и была надежда достичь ее. И эти дни явились передъ рощей и, какъ звѣзды, заблистали въ туманѣ, скрывавшемъ отъ нея небо.

Птицы встрепенулись и ожили. Гдѣ пѣвецъ? Пусть онъ приметъ дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолѣпная, красивая птица!

Онѣ собрались цѣлой тучей и съ пѣніемъ ринулись туда, откуда навстрѣчу имъ летѣли бодрые и гордые звуки.

Но когда онѣ прилетѣли, то увидали, что это просто чижъ—самый заурядный, маленькій, сѣренькій, съ восковымъ носикомъ чижъ. Онъ сидѣлъ на вѣткѣ орѣшника и былъ смущенъ оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и суетящійся, онъ возбудилъ во всѣхъ недоумѣніе и никому не понравился.

Прочь!... Здѣсь объявлена богамъ
За право первенства война!

Когда это кричитъ орелъ, соколъ, ястребъ, пако-
[illegible]—это и красиво и мощно; но чижъ... чижъ, объ-
[illegible] войну богамъ... тутъ есть нѣкоторое несоотвѣт-
[illegible]то странное и смѣшное. И потомъ это прямо
[illegible]дно для всѣхъ остальныхъ птицъ. Почему
[illegible] чижъ, а не щегленокъ, зябликъ, снѣгирь?...

[illegible]раженныя и обиженныя птицы смотрѣли на чижа
[illegible]: „Что же теперь будетъ?“

[illegible]невольно имъ вспомнилась эта смѣшная синица,
[illegible]рая однажды хотѣла зажечь море...

Но тутъ одинъ находчивый щегленокъ спросилъ чижа:

Послушайте-ка, это вы сейчасъ пѣли?

Я...—отвѣтилъ чижъ:—да, это я пѣлъ.

Но... а чѣмъ вы это докажете? Т.-е. мы, конечно,
[illegible]сомнѣваемся въ вашихъ способностяхъ, но...

Чижъ вздрогнулъ, у него встали дыбомъ перья, и онъ
[illegible]:

Во тьмѣ нами созданной ночи
Проносятся сѣрыя совы...
И блещутъ ихъ мрачныя очи
И злы и угрюмо суровы!...
И гулко ихъ крики несутся,
Смѣются они и рыдаютъ,
Проклятья въ нихъ дню раздаются,
И ночь они смѣхомъ встрѣчаютъ.
О, если бы мрака оковы
Съ моей юной рощи упали,
Исчезли бы дикія совы
И соколы только бъ летали!...
Но соколы—слабы и хилы—
Забилися робко въ ущелья
И злятся безъ чести и силы
Подъ звуки чужого веселья.
Ихъ крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у нихъ дремлютъ,
И голосу чести и мысли
Свободныя птицы не внемлютъ...

Нѣкоторымъ птицамъ эта пѣсня показалась личностью, и онѣ засвистали чижу, а щегленокъ сказалъ:

— Хорошо, этого достаточно для насъ! Но, вотъ что— скажите: вы, такъ сказать, будите наше сознаніе... гм.!.. а какія собственно у васъ права на это? Т.-е. я хочу сказать—во имя чего поете вы?!

Чижъ изумился и молча смотрѣлъ на публику.

— Мы, видите ли, хотимъ гарантировать себя отъ ошибокъ, которыхъ, вы знаете, у насъ было многонько таки, и съ этой цѣлью мы хотѣли бы знать ваши исходные и конечные пункты, — знать, куда и зачѣмъ насъ зовутъ?—поставилъ вопросъ щегленокъ и, довольный собой, засвисталъ что-то чужое: у щеглятъ нѣтъ своихъ пѣсенъ, какъ извѣстно.

Чижъ встрепенулся...

— Я исхожу изъ непоколебимаго убѣжденія въ высокомъ призваніи птицъ, какъ конечнаго, самаго сложнаго и мудраго акта въ творчествѣ природы. Мы не должны уставать и должны всегда бороться и все побѣдить, чтобы оправдать самихъ себя въ своихъ глазахъ, чтобы имѣть право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее—это мы, а не слѣпая сила стихій. Путь, по которому мы должны идти, мнѣ не знакомъ, но я увѣренъ, что нужно идти впередъ. Тамъ страна, достойная быть наградой за тѣ труды, которые понесли мы въ пути! Тамъ вѣчный, неизсякаемый свѣтъ, тамъ невѣдомыя намъ чудеса; тамъ мы насладимся созерцаніемъ нашей силы, и весь міръ будетъ ареной нашихъ дѣяній, величіе которыхъ невозможно представить намъ теперь; тамъ мысль наша разрѣшитъ все, и наши чувства осложненныя до чудеснаго, откроютъ предъ нами новый міръ неиспытанныхъ наслажденій; тамъ она — жизнь, достойная насъ!.. Уважайте и любите другъ друга и, идя гордой и смѣлой дружиной къ побѣдѣ, не сомнѣвай-

тесь ни въ чемъ, ибо что есть выше васъ?.. Обернитесь назадъ и посмотрите, чѣмъ вы были раньше,—тамъ, на разсвѣтѣ жизни? Вся ваша вѣра тогда не стоила одной капли сомнѣнія — теперь... Научившись такъ страшно сомнѣваться во всемъ, вамъ пришла пора — увѣровать въ себя, ибо только великая сущность можетъ дойти до такого сомнѣнія, до какого дошли вы!...

Туда — въ страну счастья! Туда — въ это чудное „впередъ“!..

— Впередъ! — крикнули птицы, ибо въ ихъ сердцахъ загорѣлась гордость собой.

Слезы вдохновенія переполняли глаза чижа, и онъ все говорилъ и звалъ туда — впередъ! И всѣ птицы пѣли, и всѣмъ стало такъ легко, хорошо, и всѣ чувствовали, что въ сердцахъ родилось такое страстное желаніе жизни и счастья.

— Позвольте, позвольте!.. Я прошу слова... Слово мнѣ!..

Это кричалъ дятелъ съ верхушки осины, и когда его услыхали, то ему тотчасъ же дали слово, потому что онъ кричалъ очень громко.

— Мм. Гг. и Гг.! — заговорилъ дятелъ. — Рекомендуюсь: я дятелъ. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу, и которая понуждаетъ меня сказать вамъ, что васъ нагло обманываютъ. Всѣ эти пѣсни и фразы, слышанныя вами здѣсь, Мм. Гг., не болѣе, какъ безстыдная ложь, что я и буду имѣть честь доказать вамъ съ фактами въ рукахъ... Съ фактами въ рукахъ, Мм. Гг.! А спросите г-на Чижа, гдѣ тѣ факты, которыми онъ могъ бы подтвердить то, что сказалъ? Ихъ нѣтъ у него, а именно они-то и нужны ему болѣе, чѣмъ мнѣ; они—все, Мм. Гг., и всѣ мы—не болѣе, какъ только крошечные факты, подтверждающіе грандіозный фактъ мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, какъ дѣти подчиняются матери.

Разсмотримъ безпристрастно, что есть тамъ—впереди, куда зоветъ насъ г. Чижъ. Всѣ вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчасъ же за нею начинается поле, лѣтомъ голое и сожженное, зимой покрытое, холоднымъ снѣгомъ; тамъ, на краю его, стоитъ деревня, и въ ней живетъ Гришка, человѣкъ, занимающійся птицеловствомъ. Вотъ первая станція по пути „впередъ“ о которомъ такъ много наговорилъ здѣсь г-нъ Чижъ.

Предполагая, что мы устремимся впередъ сообразно его желанію,—въ безкорыстіи котораго я позволю себѣ усомниться, ибо знаю, что чижи, какъ и всѣ другія существа, не прочь отъ популярности, славы и т. п.,—предполагая, что мы благополучно минуемъ сѣти Гришки и пролетимъ мимо деревни, мы опять-таки очутимся въ полѣ; а на концѣ его снова встрѣтимъ деревню, а потомъ снова—поле, деревня, поле... и, такъ какъ земля кругла, то мы и должны будемъ необходимо долетѣть до той самой рощи, въ которой въ данный моментъ я имѣю высокую честь говорить съ вами.

Эта ли та страна, въ которой, по словамъ г-на Чижа,. мы получимъ награду за наши труды?... Это ли она?!..

Я знаю васъ, Мм. Гг. и Гг., я знаю, какъ высоко вы летаете, но... какъ ни горько мнѣ говорить вамъ это,—я знаю и то, что никто изъ насъ не взлеталъ и не можетъ взлетѣть выше самого себя.

Попытка г-на Чижа завоевать себѣ ваше вниманіе путемъ отуманиванія васъ блестящими и громкими фразами, ясно указываетъ на степень высоты его мнѣнія о васъ, какъ о здравомыслящихъ существахъ!?... Эта попытка должна быть строго наказана, Мм. Гг. и Гг.!....

И, преисполненный сознанія высоты выполненной имъ общественной обязанности, мудрый дятелъ, окинувъ торжествующимъ взглядомъ слушателей, сталъ долбить кору осины, на вѣтвяхъ которой онъ возсѣдалъ.

Птицы молча смотрѣли на чижа и видѣли, какъ изъ его глазъ одна за другой скатывались слезинки. О чемъ онъ могъ плакать, какъ не о своей винѣ предъ ними?! Такой мизерный, сѣренькій и лживый чижъ!

А онъ понуро смотрѣлъ туда вдаль, и его глазки точно прощались тамъ съ чѣмъ-то.

Молчала роща, и птицы безшумно разлетались по своимъ мѣстамъ. Улетѣлъ и дятелъ, сопровождаемый почтительнымъ преклоненіемъ предъ его мудростью.

День былъ такой грустный: онъ точно расплакаться о чемъ-то собирался.

И вотъ чижъ, который лгалъ, остался одинъ. Неподвижный и подавленный, онъ сидѣлъ на вѣткѣ орѣшника, и только одна сойка съ любопытствомъ поглядывала на него изъ робкой дрожащей листвы осины. Но это ей скоро наскучило, и, насмѣшливо свистнувъ, она улетѣла.

А чижъ остался и, сидя на вѣткѣ орѣшника, думалъ:

— Я солгалъ, да, я солгалъ, потому что мнѣ неизвѣстно, что тамъ за рощей, но вѣдь вѣрить и надѣяться такъ хорошо!... Я же только и хотѣлъ пробудить вѣру и надежду,—и вотъ почему я солгалъ... Онъ, дятелъ, можетъ быть, и правъ, но на что нужна его правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяетъ высоко взлетать въ небеса?

И, оглянувшись кругомъ, бѣдный, маленькій чижъ нахохлился.

Вотъ и вся исторія... Прочитавъ ее, ты, конечно, увидишь, что чижъ благороденъ, но не имѣетъ вѣры и поэтому нищъ духомъ; дятелъ благоразуменъ, но пошлъ, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они, въ сущности, черствы сердцемъ и мелки, мелки, позорно мелки... Увидавъ это, ты подумаешь, что я невѣрно разсказалъ эту до слезъ смѣшную исторію. Думай такъ, если это тебя утѣшаетъ, думай!..

Доз. цензъ. Спб., 4 сентября 1905 г. Тип. Н. Л. Ныркина, 7 рота, д. 13.

С. Гусевъ-Оренбургскій.

ЖАЛОБА.

— Ѣдутъ!!!

Это магическое слово пробормоталъ, вбѣгая въ южныя двери алтаря, сѣденькій и неуклюжій церковный сторожъ. Чернобородый приземистый батюшка, съ начинающейся лысиной, испуганно встрепенулся и, взявъ поспѣшно дрожащими руками крестъ съ престола, возложилъ его на блюдо, покрытое бархатнымъ „воздухомъ". Бѣгающимъ взоромъ онъ окинулъ алтарь и заспѣшилъ:

— У предстоящихъ-то, Матвѣичъ... у предстоящихъ-то! Свѣчи-то! Ахъ, Боже мой...

Матвѣичъ метнулся зажигать свѣчи.

Высокій дьяконъ съ рябымъ лицомъ, длиннымъ носомъ и подслѣповатыми глазами поправилъ орарь на стихарѣ и спросилъ совершенно неидущимъ къ его крупной фигурѣ монашескимъ теноромъ:

— Отверзать, отецъ Степанъ?

— Да, да, да!..—растерянно бормоталъ о. Стефанъ,—чего-же тутъ спрашивать, отецъ дьяконъ... Чего-же тутъ спрашивать! Идти надо, идти! Поторапливайтесь!

Завѣса съ таинственнымъ шумомъ отпахнулась.

Батюшка поспѣшно вышелъ въ отверстыя врата и въ перевалочку направился къ выходу изъ храма. Дьяконъ шелъ позади, вращая по сторонамъ головой на длинной шеѣ и строго озирая послѣдній разъ храмъ,—нѣтъ-ли гдѣ безпорядка. Отчаяннымъ и гнѣвнымъ же-

стомъ длинной руки онъ указалъ сторожу по направленію къ иконостасу:

— Паникадило-то!! Не зажжено!!. Ахъ, в-вы! Чтобъ мигомъ!

Потомъ онъ кивнулъ и по направленію къ клиросу:

— Медовичъ... Не сплошай!

Регентъ изъ служилыхъ казаковъ, подвижный и безпокойный, весь въ веснушкахъ, съ огненно-красной бородой (Медовичемъ его звали за нѣжный голосъ)— взмахнулъ руками по привычкѣ регентовать и сказалъ самодовольно:

— По партесамъ отхватаемъ!

— Простой-то напѣвъ надежнѣе... Главы своей срамомъ не покрой!—сомнѣвался дьяконъ.

— Не извольте безпокоиться, отецъ дьяконъ! — оскорбился Медовичъ, — свое дѣло помните, а мы наше знаемъ.

Маленькая поселковая площадь заливалась звуками веселаго трезвона. Кто-то такъ старательно работалъ на колоколахъ, что колокольня вздрагивала отъ ударовъ блока въ полъ. Густая толпа народа окружала крыльцо храма. Казачки въ пестрыхъ платьяхъ и цвѣтныхъ платочкахъ тѣснились впередъ. Молодцоватый, широкогрудый атаманъ распоряжался,— очищая дорогу отъ воротъ ограды къ крыльцу:

— Разступись! Освободите дорогу! Ба-бы!.. Не лѣзь... Чего не видали!

И атаманъ съ видимымъ удовольствіемъ прислушивался къ мелодичному звону вздрагивавшихъ на груди его медалей.

На ступеняхъ церковнаго крыльца, справа и слѣва, стояла „аристократія“: широкоплечій, съ лошадинымъ лицомъ писарь; мѣстный богатѣй, сѣдой столѣтній старикъ Иванъ Радошневъ, съ трясущейся отъ старости головой; широколицый и сонный хлѣботорговецъ Шиловъ; писарша въ пестрой шали; матушка, учительница

и лавочница въ шляпкахъ; веселый и сдобный, какъ калачъ, мельникъ.

Въ знойномъ воздухѣ на околицѣ села, за поповскимъ садомъ взвились облака пыли: черезъ мостъ съ грохотомъ пронеслась и остановилась у церковнаго крыльца архіерейская карета четверней. За нею слѣдомъ на парѣ въ плетенкѣ подоспѣли благочинный и ключарь.

Атаманъ кинулся отворять дверцы кареты при помощи соскочившаго съ козелъ келейника и помогъ выйти преосвященному. Преосвященный очень походилъ на святого древне-греческаго письма,—былъ высокъ, худъ, черенъ, еще моложавъ, быстръ въ движеніяхъ, — съ угрюмымъ, острымъ взглядомъ, которымъ онъ изъ-подъ густыхъ, насупленныхъ бровей быстро обвелъ волновавшуюся толпу и взметнулъ имъ къ колокольнѣ и кресту, гдѣ кружились вспугнутые звономъ голуби. Затѣмъ онъ быстро направился къ крыльцу, поддерживаемый подъ руку еле поспѣвавшимъ, тучнымъ и задыхающимся ключаремъ.

Здѣсь встрѣтилъ его о. Стефанъ.

Преосвященный, взявъ крестъ съ блюда, почти выпадавшаго изъ трясущихся рукъ батюшки, поцѣловалъ его и вошелъ въ церковь. А за нимъ съ глухимъ шумомъ хлынула толпа и какъ потокъ наводнила всѣ уголки храма.

— Бла-го-сло-о-ви... Вла-а-ды-ко!..

Возглашая эти слова, трусившій дьяконъ взялъ слишкомъ вверхъ, и возгласъ вышелъ такъ неестественно, что голосъ его оборвался на концѣ.

Не дожидаясь благословенія, которое такимъ необыкновеннымъ теноромъ испрашивалъ дьяконъ,—Медовичъ ожесточенно взмахнулъ на клиросѣ руками, и хоръ, состоявшій человѣкъ изъ двадцати, оглушительно грянулъ партесное „Достойно“. Медовичъ метался по клиросу, словно искалъ съ него выхода, присѣдалъ, подпрыги-

валъ и все время отчаянно махалъ руками, напоминая подстрѣленную птицу, которая хочетъ взлетѣть и не можетъ. Несмотря на такое усердіе, хоръ сбился и закончилъ „Достойно“ въ разноголосицу.

Владыка неподвижно стоялъ передъ престоломъ, — молитвенно устремляя угрюмый взглядъ вверхъ, — къ Савоѳу, распростершему руки надъ престоломъ.

Тѣмъ временемъ ключарь суетливо просматривалъ „обыскныя“ и „приходо-расходныя“ книги, заглядывалъ въ „метрики“ и спрашивалъ сухого, рыжаго старосту съ серебряною медалью на груди форменнаго кафтана съ позументами:

— Все въ порядкѣ, старичокъ?..

И бѣгающіе глазки ключаря пытливо и выжидательно остановились на веснущатыхъ, волосатыхъ рукахъ старосты, какъ будто онъ думалъ, не держитъ ли въ нихъ староста чего-нибудь недозволеннаго.

Староста таинственно подвинулся къ ключарю и зашепталъ:

— Насчетъ этихъ самыхъ книгъ не извольте безпокоиться, ваше высокоблагословеніе... Все въ порядкѣ,— какъ быть слѣдуетъ... А вотъ съ батюшкой у насъ... неблагополучно...

— Что такое?—слегка испугался ключарь.

— Жаловаться хотятъ...

— Вонъ что!..

— Такую жалобу написали, страсть!.. Прямо сказать,—ваше высокоблагословеніе,—читать неблагородно.

— Вонъ что!.. Вонъ что!!.

Ключарь закачалъ головой и сокрушенно вздохнулъ:

— Кляуза...

Между тѣмъ краткій молебенъ кончился.

Когда владыка, ставъ въ царскихъ вратахъ, размашистымъ жестомъ своихъ рукъ началъ благословлять народъ, Медовичъ вышелъ изъ себя: онъ какъ будто

выросъ,—огненная борода его вздулась, а руки метались въ воздухѣ.

Возбужденный отчаянными жестами своего регента, хоръ ревѣлъ. Басы напрягали грудь, присѣдая отъ натуги. Лица ихъ были багровы, глаза круглы, а звуки вылетали изъ широко открытыхъ ртовъ, какъ-бы отрубленными одинъ отъ другого:

Ис... пол-ла... Ис... пол-ла...

Тенора-же, альты и дисканты тянули кверху свои головенки, становились на цыпочки и выводили безконечную руладу:

эти, де-е-ее-спо-та!..

Наконецъ, когда мрачно и въ разноголосицу окончили, Медовичъ на нѣкоторое время замеръ съ растопыренными руками; потомъ, красный и потный, обернулся и сталъ ожидать рѣчи батюшки съ чувствомъ исполненнаго долга.

Владыка остановилъ на священникѣ ожидающій взглядъ.

О. Стефанъ стоялъ, опустивъ голову, съ лицомъ, багровымъ отъ внутренняго волненія. Руки его продолжали дрожать. Слова приготовленной рѣчи разлетѣлись изъ головы, какъ испуганныя птицы. Только одна мысль господствовала тамъ, подавляя всѣ другія:

— Вотъ сейчасъ начнется... сейчасъ!..

Ему сбоку былъ виденъ атаманъ, браво стоящій съ выпяченною грудью. Грудь атаманъ выпячиваетъ съ видимымъ усиліемъ,—чтобы видны были всѣ ордена на ней. Изъ рукава форменнаго мундира его виднѣется уголъ „кляузнаго“ прошенія. За атаманомъ стоятъ съ рѣшительными лицами и другіе враги: старикъ Радошневъ опирается на клюку и зловѣще трясетъ столѣтней головой своей; рядомъ съ нимъ сонный и рыхлый Шиловъ, а изъ толпы выглядываетъ юркій и безпокой-

ный Гвоздь, съ которымъ была цѣлая исторія изъ-за свадьбы.

„Пропалъ... совсѣмъ пропалъ!..“—думалъ о. Стефанъ.

Надо-же что-нибудь говорить, однако...

Ключарь всталъ въ сѣверныхъ дверяхъ алтаря и, сложивъ руки на животѣ, глядитъ на него.

Дьяконъ вращаетъ головой и тоже смотритъ выжидательно.

О. Стефанъ рѣшительно собралъ разбѣгающіяся мысли и заговорилъ слегка дрожащимъ голосомъ:

— Владыко святый!.. Нынѣшній знаменательный день есть день торжества и духовной радости для вертограда сего, ибо посѣтилъ его владѣлецъ вертограда... Какъ сказано въ евангеліи: „пріиде Іисусъ въ весь нѣкую... жена-же нѣкая“...

О. Стефанъ чувствовалъ дрожаніе въ колѣнкахъ. Его пугалъ хмурый взглядъ владыки. Однако, онъ, собравъ остатки энергіи, продолжалъ:

— „Жена-же нѣкая... пріятъ его въ домъ свой“... Подобно той благочестивой женѣ, нынѣ и мы, прихожане святаго храма сего, принимаемъ тебя, владыко святый, какъ преемника Христа, и мы чувствуемъ ту-же духовную радость и несказанное веселіе, чувствуемъ потребность воскликновенія изъ глубины утробы нашей:—„сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь!“ Яко-бы свѣтъ нѣкій возсія предъ нами!.. Ибо нынѣ въ лицѣ твоемъ мы какъ-бы видимъ самого Господа Христа нашего, грядущаго во всей славѣ... со тьмы ангеловъ...

О. Стефанъ покосился на ключаря и ему показалось, что ключарь смотритъ строго и неодобрительно, какъ будто недоумѣвая,—кого собственно въ свитѣ владыки о. Стефанъ подразумѣваетъ подъ ангелами.

— Днесь мы привѣтствуемъ тебя,—продолжалъ о. Стефанъ:—я и сіе стадо мое... И молимъ Господа, да сдѣлаетъ Онъ путь твой легкимъ, служеніе твое на

благо церкви Христовой плодоноснымъ и долговременнымъ, и да возрадуетъ Онъ сердце твое видомъ процвѣтанія нивы Господней, нынѣ тобою обозрѣваемой... Аминь...

О. Стефанъ склонилъ голову въ легкомъ поклонѣ.

Теперь онъ, какъ въ туманѣ, различалъ, что ключарь киваетъ одобрительно головой и улыбается, а дьяконъ смотритъ на него съ нескрываемымъ уваженіемъ, какъ на замѣчательнаго оратора. Въ разгоряченномъ мозгу о. Стефана почему-то съ отчетливою ясностью встала картина, какъ дьяконъ вечеромъ въ сильномъ подпитіи будетъ безчисленное число разъ разсказывать, гдѣ батюшка всталъ и что онъ говорилъ,—и какъ дьяконъ всѣмъ надоѣстъ, и какъ его положатъ потомъ на диванъ въ темномъ кабинетѣ, прикрывъ рясой, и какъ онъ будетъ стонать тамъ и просить пива.

О. Стефанъ даже тряхнулъ головой, чтобы отогнать это видѣніе, и взглядъ его опять невольно скользнулъ по рукаву атамана, откуда смотрѣлъ уголъ жалобы.

— „Сейчасъ... сейчасъ“...

Владыка, преподавъ благословеніе священнику, вышелъ къ концу солеи и здѣсь, слегка опираясь на посохъ, врученный ему келейникомъ, возвышаясь надъ толпою народа, переполнявшаго церковь, заговорилъ, то хмуря, то расправляя свои густыя брови.

— Нынѣ сердце мое радуется, видя ниву Господню столь обильную... Привѣтствую васъ, достолюбезные прихожане святаго храма сего!.. Миръ вамъ и радость о Господѣ!

— Благодаримъ!.. Благодаримъ!.. — зашумѣло по церкви.

— Не бойся, малое стадо, доколѣ Я съ тобою!.. сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Нынѣ слова сіи и я повторяю вамъ. Доколѣ вы прилежны ко храму, доколѣ сердца ваши пылаютъ чистою любовью къ Создателю всего и Спасителю, Иже устрояетъ міръ изначала

божественнымъ словомъ Своимъ,—дотолѣ безсильны козни врага, ищущаго погибели человѣковъ, и покровъ милости Божіей надъ вами и надъ дѣлами вашими...

Владыка обратился къ священнику:

— Всегда-ли, батюшка, прихожане ваши столь-же прилежны къ церкви, какъ вижу я сегодня?

— Всегда, владыко!—сказалъ о. Стефанъ.

Преосвященный продолжалъ, какъ-бы вдохновляясь, хотя голосъ его по-прежнему звучалъ сурово, и взглядъ былъ хмуръ.

— Держитесь церкви!.. Она-бо есть единственный корабль, приводящій въ жизнь вѣчную... Она есть единственный ковчегъ, который среди потопа грѣховнаго, обуревающаго міръ,—какъ древле Ноя и яже съ нимъ, спасаетъ отъ бѣдъ и напастей надъ бушующею бездною зла и выноситъ на гору высоку, яже есть царство Божіе! Она—лѣствица, возводящая на небо...

Преосвященный поднялъ взоръ свой къ сводамъ, какъ-бы видя тамъ отверстое небо; затѣмъ, мрачно оглядѣвъ толпу, продолжалъ, слегка пристукнувъ посохомъ для убѣжденія:

— Держитесь церкви!.. Ибо—горе отпадающимъ!..

Онъ на минуту поникъ головой, какъ-бы въ раздумьѣ.

— Горе!.. Горе!!. Міръ во злѣ лежитъ, и всюду ходятъ волки въ овечьихъ шкурахъ, дабы прельщать вѣрныхъ, увлекая ихъ на путь погибели... „Берегитесь!..—сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ:—дабы васъ не ввели въ заблужденіе,—ибо многіе пріидутъ подъ именемъ Моимъ, говоря, что это—Я... Не ходите въ слѣдъ ихъ!“ А нынѣ много лжепророковъ и много отпадающихъ... Повсюду плодятся секты и лжеученія—штунда распространилась по христіанскому міру, подобно ядовитой язвѣ...

Преосвященный обратился къ священнику:

— У васъ есть въ приходѣ штунда, батюшка?

— По росписямъ,—сказалъ о. Стефанъ,—числится

130 мужеска пола и 110 женска. Но они называютъ себя баптистами.

Владыка сердито застучалъ посохомъ.

— Нѣтъ штундистовъ и нѣтъ баптистовъ передъ лицемъ Божіимъ!—возвысилъ онъ голосъ,—всякъ, отпадающій отъ церкви,—есть еретикъ... сынъ погибели!

Въ церкви водворилась тишина. Даже слышно было, какъ ворковали голуби за церковнымъ окномъ.

— Боретесь-ли вы съ ними, батюшка?—спрашивалъ владыка:—убѣждаете-ли ихъ? Принимаете-ли мѣры, дабы не совращали они вѣрныхъ чадъ церкви?

— Борюсь... Убѣждаю!..—сказалъ о. Стефанъ.

— Чѣмъ и какъ?

— Словомъ Божіимъ... Приглашаю ихъ на собесѣдованія,—вразумляю отъ Писанія.

— Есть плоды?

О. Стефанъ вспыхнулъ и замялся.

— Е-сть,—сказалъ онъ неувѣренно и тотчасъ добавилъ:—народъ упорный, владыко, на собесѣдованія ихъ приходится съ сотскими приводить...

Владыка нахмурилъ брови.

— Слово Божіе не распространяется мечомъ, но убѣжденіемъ. Не съ сотскими привлекать надо, а идти къ нимъ и проповѣдывать, какъ то апостолы дѣлали, грозя муками ада и гнѣвомъ Божіимъ! А собственныхъ прихожанъ, батюшка, утверждаете-ли вы въ вѣрѣ?

— Благовременне и безвременне, владыко! Во дни и въ нощи. Поученія произношу не только за литургіею, но и послѣ утрени также и послѣ вечерни. Устраиваю бесѣды и чтенія, кои и въ „книгу собесѣдованій“ неуклонно вносятся.

— Наставляйте, батюшка! За каждую душу спроситъ Господь отвѣтъ съ васъ! Ибо бродятъ волки хищные и исхищаютъ овцы... Вы же, прихожане, слушайте и почитайте вашего пастыря, ибо только одинъ православный пастырь можетъ привести васъ къ Богу...

Тутъ впервые по толпѣ, наполнявшей церковь, прошелъ неопредѣленный говоръ. Не то благодарили за наставленіе, не то выражали покорность словамъ владыки.

О. Стефанъ взглянулъ на атамана и загорѣлся багровымъ заревомъ: на глазахъ его бумага выползала изъ атаманскаго рукава.

„Начинается!“ —отозвалось гдѣ-то внутрѣ о. Стефана.

Владыка обвелъ народъ глазами и сдѣлалъ обычный вопросъ:

— Довольны ли вы своимъ священникомъ, прихожане?

Никто ничего не отвѣтилъ.

Всѣ переглядывались съ вопросительнымъ видомъ, какъ бы убѣждая другъ друга говорить. Атаманъ откашлялся и взялъ прошеніе открыто въ руку. Сзади его подталкивали. У дьякона голова завращалась во всѣ стороны, какъ на пружинѣ. Ключарь замеръ въ сѣверныхъ вратахъ, а благочинный, высокій человѣкъ съ продолговатымъ, истощеннымъ лицомъ и небольшой черной бородкой, вышелъ изъ алтаря и тихо всталъ позади владыки со смиренно скрещенными на груди худыми руками.

Преосвященный повторилъ вопросъ.

— Довольны! — отозвался неувѣренный голосъ изъ глубины толпы.

Но тутъ какъ-будто плотина прорвалась.

— Недовольны! Уберите его отъ насъ! Мы желаемъ другого священника! — закричали десятки протестующихъ голосовъ. — Дайте намъ другого! Другого!

Крики слились въ общій ропотъ.

Радошневъ выступилъ изъ-за атамана и, упершись на клюку своимъ столѣтнимъ тѣломъ, трясъ головой и хрипѣлъ:

— Не надо его намъ! Мы всѣ желаемъ! Все общество... Не надо!

Гвоздь юлилъ позади, выставлялъ свою остроконеч-

ную голову то съ правой, то съ лѣвой стороны атамана, безпорядочно взмахивалъ руками и отрывисто вскрикивалъ:

— Уберить! Уберить!

Владыка вспыхнулъ, поднялъ голову и застучалъ посохомъ по церковному полу.

Сразу водворилась тишина.

Еще гдѣ-то тамъ, въ заднихъ рядахъ, шумѣли и роптали, чей-то старушечій голосъ скорбно причиталъ: „о Господи мой... о Господи мой...“ Кто-то убѣждалъ настойчиво: „тише!“ И опять стало слышно, какъ голуби ворковали за церковнымъ окномъ, звонко хлопали крыльями, кружась надъ карнизомъ.

Краска гнѣва медленно сходила съ лица владыки.

Онъ угрюмо взглянулъ на священника, стоявшаго понуря голову, съ убитымъ, виноватымъ видомъ, потомъ медленно прошелъ взглядомъ по толпѣ, скользнулъ по регаліямъ атаманскаго мундира, по кафтану церковнаго старосты.

— Подойдите ко мнѣ и скажите, въ чемъ вы обвиняете своего священника?—обратился владыка къ атаману и старостѣ.

Староста остался стоять на мѣстѣ и съ видомъ недоумѣнія развелъ руками, атаманъ же браво подошелъ къ владыкѣ и протянулъ прошеніе.

— Это приговоръ, ваше преосвященство, — громко сказалъ онъ своимъ выправленнымъ на военной службѣ голосомъ,—здѣсь изложена просьба прихожанъ о томъ, чтобы...

Владыка оттолкнулъ прошеніе.

— Я васъ спрашиваю, — возвысилъ онъ голосъ: — въ чемъ вы обвиняете священника? Почему вы недовольны имъ?

Атаманъ смутился и слегка оглянулся на стоящихъ сзади.

— Общество недовольно, ваше преосвященство.

— Чѣмъ, я спрашиваю?

Атаманъ опять оглянулся, смущенно посмотрѣлъ на отвергнутое прошеніе и сдѣлалъ новую попытку вручить его.

— Тутъ,—сказалъ онъ,—они все объяснили.

— Не надо мнѣ вашего прошенія!—снова оттолкнулъ прошеніе владыка.—Развѣ на страшномъ судѣ, гдѣ будутъ судить васъ съ вашимъ пастыремъ, по прошенію судить будутъ? Отвѣчайте мнѣ: чѣмъ вы недовольны? Вы атаманъ?

— Такъ точно, ваше преосвященство.

— При васъ писалась жалоба?

— Такъ точно. При мнѣ.

— Стало быть, вы знаете, чѣмъ недоволенъ приходъ? Отвѣчайте!

— Прихожане недовольны тѣмъ, ваше преосвященство,—началъ атаманъ,—что батюшка беретъ дорого за требы.

— Ну?

— Ну, и... очень даже дорого беретъ! Какъ, значитъ, всѣмъ не по силамъ. Взять крещенье младенцевъ. Во всѣхъ приходахъ сорокъ копѣекъ, а у насъ шестьдесятъ. Покойники тоже. Который побогаче покойникъ, оно, конечно, можно и цѣлковый взять, а у насъ подъ одинъ загонъ, что бѣдный, что богатый. Подай цѣлковый! А гдѣ же, ваше преосвященство...

— Дальше!

— Свадьбы... Тоже не по силамъ. При прежнихъ священникахъ у насъ было положеніе пять цѣлковыхъ за вѣнецъ и рубль за обыскъ, — всего шесть рублей. А батюшка о. Стефанъ новый порядокъ завелъ. Гдѣ хочешь возьми, а подай десять рублей за вѣнецъ, да рубль за обыскъ дьякону.

Дьяконъ, все время вращавшій головой съ безпокойнымъ видомъ, испуганно кашлянулъ.

— Да рубль въ церковь на свѣчи, — продолжалъ

атаманъ, — выходитъ ужъ двѣнадцать рублей. По крестьянскому хозяйству, ваше преосвященство, это цѣлая корова! А тутъ еще бутылку водки батюшкѣ, — когда благословенье спрашивать,—да калачъ, да платокъ еще, да дьякону при обыскѣ... тоже водки!

Дьяконъ раскрылъ ротъ съ испуганнымъ видомъ, какъ-будто желая что-то сказать, да такъ и остался.

О. Стефанъ сдѣлалъ движеніе.

— Владыко!..

Но владыка рѣзкимъ жестомъ остановилъ его.

— Молчи, отецъ. Твоя очередь впереди.

И онъ опять обратился къ атаману:

— Дальше!

Но тутъ Радошневъ, давно порывавшійся говорить, выступилъ, шаркая по полу столѣтними ногами, изъ-за атамана и заговорилъ голосомъ, скрипучимъ, какъ давно немазанныя ворота.

— Дозволь, владыка, слово сказать старому человѣку. Теперича мнѣ сто лѣтъ исполнилось въ аккуратѣ нынѣшнюю зиму, сто первую годину зачалъ жить, и много я разнаго вашего священства на своемъ вѣку перевидалъ, то есть вотъ какъ много,—плю...

Атаманъ дернулъ его за рукавъ.

— Что ты!..

— Аль обмолвился? — съ недоумѣніемъ оглянулся Радошневъ.

И, видя, что владыка не останавливаетъ его, продолжалъ:

— Ужъ ты прости меня, преосвященнѣйшая владыка, ежели по старости моей гдѣ и неладное слово вставлю... Старъ... Кости болятъ... Теперича вотъ и поясницу... Да не дергай ты меня! Такъ вотъ я и говорю,— насчетъ священства-то!.. Всякіе бывали у насъ попы,— а такой лихоимецъ первый. Въ прежни-то годы за крестины да за вѣнцы брали алтынъ да денежку. Когда я на первой женѣ женился, далъ я попу рупь на сиг-

націи—а онъ еще мнѣ цѣлую пригоршню денежекъ сдачи далъ... Намъ, говоритъ, чужого не надобно, Иванъ Пахомычъ!.. Я въ тѣ поры эти денежки-то поѣзжанамъ бросилъ... Вотъ какія времена бывали... А какъ учалъ я на второй женѣ жениться... на Прасковьѣ Микулиной... съ меня попы-то въ тѣ поры ужъ три рублика на серебряныя денежки стянули и сдачи не дали!.. А какъ женился я на Марьюшкѣ, на третьей-то женѣ, шесть цѣлковыхъ вотъ такъ взялъ да изъ рукъ въ руки и переложилъ... Грабежъ пошелъ! Шире да далѣ! А вотъ какъ онъ внука моего вѣнчалъ,—отецъ-то Степанъ, разсказать, что-ли, преосвященнѣйшая владыка?

Всѣ глаза поднялись къ владыкѣ.

— Говори, старый человѣкъ, говори!—сказалъ владыка.

— Сговорили мы Ваську-то съ писаревой дочкой, и пошелъ я опосля того къ священнику, договориться... Вотъ къ нему, къ Степану-то. А онъ, Степанъ-отъ, давно былъ золъ на меня, потому щуняю ужъ я очень, не люблю я ихъ, долговоло...

И онъ вдругъ осердился на атамана:

— Чего ты трясешь меня за рукавъ-отъ!.. Правду говорю! Такъ вѣдь онъ что, Степанъ-отъ, сдѣлалъ! Дай-подай,—говоритъ,—каку-то исповѣдну бумажку,—безъ нея вѣнчать не стану. Онъ,—говоритъ,—можетъ, у тебя, сынъ-то, молоканъ либо хлыщъ! Оно, дѣйствительно, преосвященнѣйшая владыка, сынъ мой три года въ здѣшней церкви не говѣлъ, потому по веснѣ каждый разъ въ извозъ ѣздилъ и въ другихъ церквахъ говѣлъ. Ну, гдѣ-же тамъ, у чужихъ поповъ, бумажку хлопотать! Водилъ онъ меня, водилъ, да два-дцать пять цѣлко-венькихъ, какъ едину денежку...

При воспоминаніи о такой большой затратѣ, старикъ даже затрясся весь, поднялъ обѣ руки кверху и, чуть не потрясая костылемъ, забормоталъ:

— Убери, убери его отъ насъ, преосвященнѣйшая владыка!

Онъ какъ-будто подалъ сигналъ, потому-что снова вся церковь зашумѣла:

— Уберите его... отъ насъ!.. Желаемъ другого священника!..

Гвоздь, пользуясь случаемъ, выскочилъ напередъ, тоже взмахнулъ руками и горячо проговорилъ:

— Съ меня пятнадцать!.. За свадьбу!.. Да дьякону рупь... А?! Развѣ это порядокъ?

Сразу-же испугавшись такой своей смѣлости, Гвоздь нырнулъ въ толпу, какъ гагара въ воду, но тотчасъ же выставилъ свою остроконечную голову уже изъ-за десятыхъ плечъ и шумѣлъ вмѣстѣ съ прочими:

— Не надо намъ его!.. Силъ нашихъ нѣтъ!..

— Тоже и насчетъ хлѣба допекаютъ. Каждый день сборы... Прорва!—вяло сказалъ Шиловъ, стараясь пошире раскрыть свои сонные глаза. Но тотчасъ, слегка зѣвнувъ, смолкъ, какъ будто уснулъ.

Гдѣ-то опять слезно вздыхала старуха:

— О Господи!.. Господи!...

Владыка ужъ не останавливалъ этого ропота.

Онъ хмуро оглядывалъ толпу, и, подъ вліяніемъ его взгляда и молчанія, толпа мало-по-малу затихала.

— Я васъ выслушалъ, прихожане! — заговорилъ владыка:—теперь выслушаемъ и другую сторону.

Онъ оглянулся на благочиннаго.

— Отецъ благочинный! Что вы скажете о прихожанахъ и священникѣ?

Благочинный почтительно приблизился и руками, сложенными на груди, сдѣлалъ легкій жестъ недоумѣнія.

— Здѣшній приходъ, владыко,—началъ онъ:—искони кляузный. Уже третій священникъ подрядъ уходитъ отсюда послѣ слѣдствія.

— Вотъ какъ!.. А о батюшкѣ что скажете?

— Человѣкъ кроткій, непьющій, исправный...

Благочинный слегка замялся.

— О внутреннихъ-же приходскихъ распорядкахъ что можно сказать? Только слѣдствіе въ состояніи раскрыть, гдѣ ложь, гдѣ правда. Мое же мнѣніе, что тутъ сплошная кляуза.

Лишь теперь владыка обернулся къ священнику и сурово спросилъ:

— Ну-съ, батюшка? Что вы скажете? Чѣмъ оправдаетесь? Ложь-ли я слышалъ здѣсь, клевету, или все это правда? Прошу говорить искренно, памятуя, что я не токмо судія, но и отецъ...

И видя, что о. Стефанъ молчитъ, преосвященный нетерпѣливо повторилъ:

— Говорите же!

О. Стефанъ поднялъ пылающее лицо и твердо посмотрѣлъ на владыку. Онъ понималъ, что погибъ, и пересталъ бояться.

— Владыко святый!—заговорилъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ, — неслыханныя обвиненія возвели здѣсь на меня мои прихожане! Но противно было бы моей іерейской совѣсти и моему достоинству, какъ пастыря, если бы я передъ лицомъ вашимъ, владыко, сталъ препираться съ обвинителями.

Онъ слегка развелъ руками.

— Да и что бы я сталъ говорить? Чѣмъ оправдываться? Ибо пря сія не мною началась и не мною кончится. Вы сами видите, преосвященнѣйшій владыко, что здѣшніе прихожане меня не взлюбили. А кого не любятъ, тотъ во всемъ виноватъ! Брали до меня съ нихъ, такъ же будутъ брать и послѣ меня. Вездѣ берутъ! Ибо сіе отъ апостоловъ установлено, отнюдь же не мною заведено. „Трудящійся алтарю,—сказано,—отъ алтаря и питается“. И я—тружусь... И—беру! Сколько потребно на пропитаніе... Вѣдь жить надо, владыко! А вы спросите

ихъ... Не я-ли предлагалъ назначить мнѣ жалованье вмѣсто платы за требоисправленіе?

— А сколько требовалъ?—раздался негодующій голосъ изъ толпы.

Владыка угрюмо посмотрѣлъ туда.

— Не они-ли сами, преосвященнѣйшій владыко,— продолжалъ о. Стефанъ, — при прежнемъ атаманѣ составили приговоръ, гдѣ разъ навсегда назначили таксу за требы: свадьба—десять рублей, крестины — шестьдесятъ копѣекъ, похороны—рубль? Не откажутся-ли они и отъ этого? Руга хлѣбная еще дѣдами и отцами ихъ при постройкѣ храма сего установлена: по двѣ пудовки съ вѣнца, а объ уплатѣ сего они и не помышляютъ. Уже не одинъ священникъ съ прошеніемъ о семъ предметѣ въ консисторію обращался и даже къ гражданскимъ властямъ. Результатъ же какой видимъ? Установленное не платится, а о прочемъ составляются жалобы. Почему же не платить оные могутъ, возмѣщать же неплатимое предосудительно? Чѣмъ жить? Чѣмъ нужды свои покрывать? Не сей-ли вотъ самый старецъ, преосвященнѣйшій владыко (о. Стефанъ указалъ на Радошнева), когда я иду по сбору,—насыпаетъ мнѣ пшеницы на днѣ пудовки, обманнымъ образомъ опрокинувши ее, такъ что она имѣетъ видъ полной, и не онъ ли ненавидитъ меня за мои обличенія въ неуваженіи духовнаго сана и также въ томъ, что, схоронивъ третью жену, тотчасъ взялъ наложницу?

— Въ сто-то лѣтъ! — закричалъ Радошневъ: —да побойся ты, Степанъ, Бога!

— Помолчи-ка ты, совратитель дѣвственности! Спросите и атамана за одно, ваше преосвященство, какъ домъ, предназначавшійся для дьякона послѣ смерти бездѣтнаго казака, онъ пустилъ съ аукціона. Просилъ никого не вступаться, будто желая купить его подешевле для церкви, да и оставилъ за безцѣнокъ для себя!

— Да не для дьякона-жъ,—сказалъ атаманъ, пожавъ

плечами:—вы его себѣ для бани хлопотали... на общественный счетъ!

— Не я-ли обличалъ? Не я-ли скорбѣлъ о грѣхахъ ихъ?—говорилъ о. Стефанъ, не слушая атамана.—Такъ вотъ теперь мнѣ все это отзывается. Теперь время расплаты за дерзновеніе мое, за ревность о Господѣ. Вотъ они... всѣ—собрались ради моего погубленія!

О. Стефанъ приходилъ все въ бо́льшее возбужденіе. Онъ гнѣвно указывалъ на атамана и Радошнева.

— Вотъ они! Всѣ здѣсь! Коноводы! Враги мои... Спросите ихъ, владыко, кто духовныхъ дудками зоветъ?

— Какъ дудками?—удивился владыка.

— Идешь ли по приходу,—ворота затворяютъ: опять, говорятъ, эти дудки идутъ копѣйки выманивать! Не горько ли слышать уху пастыря сіи словеса беззаконныя, сію діавольскую хулу на санъ священный? Они развратъ поселяютъ въ стадѣ моемъ и овецъ моихъ натравляютъ на меня, яко псовъ Іезавели.

О. Стефанъ пылалъ гнѣвомъ.

— Они! Они!—уже кричалъ онъ,—они единственные виновники прискорбной вражды моей съ прихожанами! Ибо я знаю овецъ, и овцы знаютъ меня и гласа моего слушаютъ. Но приходятъ волки хищные...

Атаманъ и Радошневъ стояли багровые и растерянные во время потока этихъ обвиненій. Вдругъ они оба вразъ метнулись къ солеѣ:

— Ваше преосвященство! Да зачѣмъ онъ насъ поноситъ? Весь приходъ не хочетъ его!

— Всѣ, всѣ мы не желаемъ!—зашумѣло по церкви.

Но владыка гнѣвно стукнулъ посохомъ.

— Я васъ выслушалъ! Молчите!

О. Стефанъ дрожащей рукой досталъ платокъ и отеръ имъ свое багровое лицо. Потомъ вдругъ метнулся въ ноги преосвященному и, поднявшись, заговорилъ:

— Простите меня, владыко, за гнѣвъ мой! Горько

мнѣ! Не могу я! Каюсь передъ вами, какъ передъ судіей и отцомъ! Грѣшенъ я, ибо человѣкъ, но вѣдь жить надо, владыко! Семью содержать... дѣтей воспитывать... А я—обремененъ!

Внезапно пораженный новою мыслью, о. Стефанъ обернулся въ ту сторону, гдѣ за толпою виднѣлись женскія шляпки.

— Владыко! Вотъ семья моя! Вотъ дѣти мои! Пусть они свидѣтельствуютъ о мнѣ!

Онъ торопливо звалъ:

— Идите сюда! Матушка! Идите! Колечка... Матушка! Ведите всѣхъ... Ванечка!

Попадья, утирая распухшіе отъ слезъ глаза, въ перевалочку выступила изъ толпы, подталкивая дѣтей все ближе къ солеѣ, въ то время, какъ батюшка перечислялъ:

— Петечка! Гдѣ же Гриша? Олечка!

Передъ владыкой выросла толпа красныхъ, синихъ, бѣлыхъ рубашекъ и свѣтлыхъ платьицъ. Три подростка мальчика были въ сюртучкахъ, а позади матушки выступали два очень великовозрастныхъ дѣтины, у одного изъ которыхъ были великолѣпные усы. Самая маленькая дѣвочка, которую попадья взяла на руки,— расплакалась и кричала:

— Я бо-о-о-юсь...

— Вотъ они всѣ здѣсь, владыко! Всѣ! Всѣ мои,— говорилъ о. Стефанъ.—Вотъ это Машенька, самая младшая... три годочка. Вотъ эти трое въ духовномъ учатся. Два въ семинаріи... на философскомъ.

И, распростерши руки надъ своимъ потомствомъ, о. Стефанъ закончилъ:

— Ихъ тутъ четырнадцать! Куда же мнѣ дѣваться съ ними, владыко?

Преосвященный, окинувъ взглядомъ всѣ эти дѣтскія головки, испуганно поднятыя къ нему лица и любопытные глаза, невольнымъ жестомъ благословилъ ихъ.

Тотчасъ выпрямившись, онъ гнѣвно застучалъ посохомъ.

— Я не хочу слушать болѣе никакихъ обвиненій!—возвысилъ онъ голосъ на затихшую толпу:—слышите? Стыдитесь! Вы не входите въ нужды священника. Не поддерживаете пастыря вашего, молящаго передъ престоломъ Всевышняго за безчисленные, яко песокъ морской, грѣхи ваши! Да будетъ стыдно вамъ, стыдно, блудные сыны, увлеченные въ страну далече, въ страну нечестія, злобными искушеніями духа лжи, духа вражды, обуявшаго нечестивыя сердца ваши! Покайтесь и исправьтесь, пока не поздно. Нѣтъ вамъ моего благословенія!

Не благословляя народа, владыка двинулся къ выходу.

О. Стефанъ догналъ его и робко заговорилъ:

— Владыко! Осмѣлюсь просить васъ... въ домъ мой... вкусить трапезы...

Владыка угрюмо промолвилъ:

— Не пойду.

Выйдя на залитую яркимъ солнцемъ площадь, при звонѣ колоколовъ, владыка твердымъ шагомъ направился прямо къ каретѣ, отвергнувъ помощь даже благочиннаго, который хотѣлъ подсадить его. Когда онъ сѣлъ въ карету, атаманъ еще разъ протянулъ прошеніе. Владыка взялъ его, но на глазахъ у всѣхъ бросилъ себѣ подъ ноги и наступилъ на него посохомъ.

Карета уже двинулась, какъ преосвященный приказалъ остановиться и подозвалъ къ себѣ о. Стефана.

— Богуславскій заводъ знаешь, отецъ?—сказалъ онъ.

— Знаю, преосвященнѣйшій владыко.

— Перевожу тебя туда.

О. Стефанъ даже руки сложилъ молитвенно и обомлѣлъ отъ счастья: Богуславскій заводъ былъ первымъ приходомъ по уѣзду, раза въ четыре богаче Павловки.—

„Тамъ духовенство въ шелковыхъ рясахъ щеголяетъ!“— мелькнула мысль въ головѣ о. Стефана.

— Строго буду слѣдить за тобой! Смотри у меня!— добавилъ владыка и погрозилъ пальцемъ.

О. Стефанъ протянулъ-было руки подъ благословеніе.

Но преосвященный такъ и уѣхалъ, не благословивши его.

ПЕЧАТАЕТСЯ

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“:

1 М Горькій. Пѣсня о соколѣ.—Пѣсня о буревѣстникѣ.—Легенда о Марко.
2 М Горькій. Человѣкъ.
3 М Горькій. Макаръ Чудра.
4 . Горькій. О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины.
5 М Горькій. Емельянъ Пиляй.
6. М Горькій. Дѣдъ Архипъ и Ленька.
7. М Горькій. Челкашъ.
8. М. Горькій. Старуха Изергиль.
9 М. Горькій. Однажды осенью.
10. М. Горькій. Мой спутникъ.
11. М. Горькій. Дѣло съ застежками.
12. М. Горькій. На плотахъ.
13. М. Горькій. Болесь.
14. М. Горькій. Тоска.
15. М. Горькій. Коноваловъ.
16. М. Горькій. Ханъ и его сынъ.
17. М. Горькій. Супруги Орловы.
18. М. Горькій. Бывшіе люди.
19. М. Горькій. Озорникъ.
20. М. Горькій. Варенька Олесова.
21. М. Горькій. Товарищи.
22. М. Горькій. Въ степи.
23. М. Горькій. Мальва.
24. М. Горькій. Ярмарка въ Голтвѣ.
25. М. Горькій. Зазубрина.
26. М. Горькій. Скуки ради.
27. М. Горькій. Каинъ и Артемъ.
28. М. Горькій. Дружки.
29. М. Горькій. Проходимецъ.
30. М. Горькій. Кирилка.
31. М. Горькій. Васька Красный.
32. М. Горькій. Двадцать шесть и одна.
33. М. Горькій. Разсказъ Филиппа Васильевича.
34. М. Горькій. Тюрьма.
35. М. Горькій. Трое.

41. Скиталецъ. Стихотворенія. Книга I.
42. Скиталецъ. Стихотворенія. Книга II.
43. Скиталецъ. Сквозь строй.
44. Скиталецъ. За тюремной стѣной.
45. Скиталецъ. Октава.
46. Скиталецъ. Ранняя обѣдня.
47. Скиталецъ. Полевой судъ.

51. Л. Андреевъ. Набатъ.
52. Л. Андреевъ. Ангелочекъ.
53. Л. Андреевъ. Молчаніе.
54. Л. Андреевъ. Валя.
55. Л. Андреевъ. На рѣкѣ.

НЕЧАТАЕТСЯ

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“:

56. Л. Андреевъ. Въ подвалѣ.
57. Л. Андреевъ. Петька на дачѣ.
58. Л. Андреевъ. У окна.
59. Л. Андреевъ. Жили-были.
60. Л. Андреевъ. Въ темную даль.

61. С. Гусевъ-Оренбургскій. Ометъ,
62. С. Гусевъ-Оренбургскій Конокрадъ.
63. С. Гусевъ-Оренбургскій. Миша.
64. С. Гусевъ-Оренбургскій. Послѣдній часъ.
65. С. Гусевъ-Оренбургскій. На родину.
66. С. Гусевъ-Оренбургскій. Сквозь преграды.
67. С. Гусевъ-Оренбургскій. Кахетинка.
68. С. Гусевъ-Оренбургскій. Бѣдный приходъ.
69. С. Гусевъ-Оренбургскій Злой духъ
70. С. Гусевъ-Оренбургскій. Жалоба.

71. А. Серафимовичъ. Въ камышахъ.
72. А. Серафимовичъ. Месть.
73. А. Серафимовичъ. На льдинѣ.
74. А. Серафимовичъ. Степные люди.
75. А. Серафимовичъ. Ночью.
76. А. Серафимовичъ. Сцѣпщикъ.
77. А. Серафимовичъ. На заводѣ.
78. А. Серафимовичъ. Подъ землей.
79. А. Серафимовичъ. Подъ уклонъ.

81. А. Купринъ. Дознаніе.
82. Н. Телешовъ. Пѣснь о трехъ юношахъ.
83. Н. Телешовъ. Противъ обычая.
84. Н. Телешовъ. Домой.
85. Н. Телешовъ. Хлѣбъ-соль
86. С. Елпатьевскій. Спирька.
87. С. Елпатьевскій. Пожалѣй меня.
88. С. Елпатьевскій. Присяжнымъ засѣдателемъ.
89. Ив. Буниннъ. Стихотворенія.
90. К. Бальмонтъ. Стихотворенія.

91. С. Юшкевичъ. Невинные.
92. С. Юшкевичъ. Убійца.
93. С. Юшкевичъ. Кабатчикъ Гейманъ.
94. С. Юшкевичъ. Ита Гайне.
95. С. Юшкевичъ. Человѣкъ.
96. С. Юшкевичъ. Евреи.

и другія книги.

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“.

Карлъ Марксъ.

ЛИБЕРАЛЫ У ВЛАСТИ.

Переводъ съ нѣмецкаго **А. Р.**

Подъ редакціей и съ предисловіемъ
А. Луначарскаго.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1906.

Типографія „Трудъ и Польза“. Фонтанка, 71—21.

Предисловіе редактора

Предлагаемая вниманію читателей брошюра представляетъ собою двѣ статьи Карла Маркса, напечатанныя въ знаменитой «Новой Рейнской Газетѣ» въ 1848 году въ мѣсяцахъ маѣ и іюнѣ.

«Новая Рейнская Газета» дѣлала все отъ нея зависящее, чтобы спасти результатъ славной побѣды 18 марта, одержанной Берлинскимъ пролетаріатомъ надъ Прусской королевской гвардіей, и всего революціоннаго движенія нѣмецкаго народа. Самой страшной опасностью, которая и привела на дѣлѣ къ побѣдѣ реакціонеровъ, было то, что революціонный народъ довѣрилъ свои дѣла либераламъ, вождямъ зажиточной буржуазіи, у которой страхъ передъ пролетаріатомъ былъ сильнѣе ненависти къ полицейскому режиму.

Кто такіе были эти Кампгаузенъ и Ганземанъ, которыхъ революціонная буря вынесла на своемъ хребтѣ, и которымъ король волей-неволей вручилъ министерскіе портфели?

Рудольфъ Кампгаузенъ — дѣлецъ, выбился изъ довольно бѣдственнаго положенія и нажилъ хорошее состояніе коммерціей. Особенно разбогатѣлъ онъ и выдвинулся въ мнѣніи своихъ согражданъ устройствомъ перваго большого пароход-

ства по Рейну. Его мечтой была постройка цѣлой сѣти желѣзныхъ дорогъ въ родной Рейнской провинціи. Промышленность была его богомъ, все, что препятствовало развитію промышленности, казалось ему проклятіемъ. Онъ усердно занимался общественными науками, вздыхалъ по англійскимъ порядкамъ и выработалъ себѣ теорію узкаго и черствaго, чисто дѣлового либерализма, чуть-чуть подслащеннаго словечками о свободѣ и постепенномъ обогащеніи всѣхъ.

Его фрондированіе престолу было однако всегда въ высшей степени осторожнымъ и благопристойнымъ. Но и самое благонамѣренное фрондированіе наказывалось въ то время отеческой рукой полиціи, требовавшей себѣ «преданности и довѣрія, довѣрія и преданности и только». Кампгаузенъ никакъ не могъ попасть въ ландтагъ (родъ земства), т. к. выборы его неизмѣнно кассировались. Онъ «страдалъ за убѣжденіе» вродѣ того, какъ страдали при министрѣ Плеве господа вродѣ Шипова, Петрункевича и другихъ. Кассировались равнымъ образомъ и выборы Ганземана. Давидъ Ганземанъ началъ свою карьеру мальчикомъ въ какомъ-то торговомъ бюро. Но какъ и Кампгаузенъ, старше котораго онъ былъ на 12 лѣтъ, былъ большой ловкачъ, цѣлый рядъ разныхъ, все болѣе крупныхъ предпріятій послужили ему лѣстницей на вершины буржуазнаго благополучія и наконецъ счастливая идея организовать общество страхованія отъ огня (еще рѣдкость въ то время) сдѣлала его богатѣйшимъ гражданиномъ Аахена, имя котораго тамошніе филистеры произносили не иначе какъ съ благоговѣніемъ. Вниманіе правительства онъ заслужилъ смиреннѣйшей и всеподданнѣйшей запиской, въ которой всепокорнѣйше умолялъ короля даровать нѣкоторыя вольности быстро развивавшейся Рейнской капиталистической индустріи. Особымъ ордеромъ король поблагодарилъ Ганземана, но тотчасъ же велѣлъ вписать его въ реестръ безпокойныхъ людей и отнюдь не допускать къ занятію общественныхъ должностей.

Въ 1842 году эти два вождя денежныхъ мѣшковъ рѣшили начать агитацію «за свободу» и для этого стали издавать, прикрываясь другими именами, «Рейнскую Газету». Скоро редакторомъ ея сталъ 24-лѣтній Карлъ Марксъ. Это былъ еще не зрѣлый, пожалуй, но геніальный юноша. Статьи его въ „Рейнской Газетѣ“ и теперь еще могутъ быть прочтены съ большой пользой и уже во всякомъ случаѣ съ громаднымъ эстетическимъ наслажденіемъ. Но подобный редакторъ былъ по тому времени слишкомъ несвоевременнымъ: уже въ началѣ 1843 года газета была закрыта.

На Рейнъ Марксъ вернулся лишь въ 1848 году во время революціи. Кампгаузенъ и Ганземанъ уже превратились въ довѣренныхъ лицъ правительства и называли себя „щитомъ династіи“. Марксъ же безконечно далеко ушелъ влѣво. «Новая Рейнская Газета» не была уже листкомъ, въ философской формѣ выражавшимъ политическія пожеланія, или проволакивающимъ сквозь проклятую цензуру корреспонденіи о частныхъ злоупотребленіяхъ,—это была труба архангела, призывающая къ бою и суду.

Въ то время какъ недостойные «представители народа» въ Франкфуртѣ играли свои скучныя комедіи, а Кампгаузенъ и Ганземанъ продавали интересы народа и помогали созрѣть той реакціи, которая потомъ въ награду выгнала ихъ въ шею, Марксъ и Энгельсъ били въ набатъ и звали народъ къ предусмотрительности и энергіи. Только недостаточная политическая зрѣлость и полная неорганизованность пролетаріата позволила реакціи, несмотря на грозныя предсказанія Маркса, сдѣлать свое дѣло, всадить ножъ въ спину свободѣ при сообщничествѣ г.г. Ганземана и Кампгаузена.

Самыя событія, о которыхъ говоритъ Марксъ, достаточно ясно изложены имъ самимъ.

Лицъ, интересующихся исторіей революціи 48 года, отсылаемъ въ книгѣ г.г. Базарова и Степанова: «Общественное движеніе въ Германіи», представляющей изъ себя обработанный переводъ прекрасной исторіи этой эпохи, принадлежащей перу Вильгельма Блоса.

А. Луначарскій.

Карлъ Марксъ.

ЛИБЕРАЛЫ У ВЛАСТИ.

Германское Національное Собраніе.

Кельнъ, 31 мая. Уже четырнадцать дней, какъ Германія имѣетъ учредительное Національное Собраніе, вышедшее изъ выборовъ всего нѣмецкаго народа.

Нѣмецкій народъ завоевалъ себѣ свое самодержавіе на улицахъ почти всѣхъ большихъ и малыхъ городовъ страны, особенно—на баррикадахъ Вѣны и Берлина. Онъ выразилъ это свое самодержавіе въ выборахъ въ Національное Собраніе.

Первымъ актомъ Національнаго Собранія должно было быть открытое и ясное провозглашеніе этого самодержавія нѣмецкаго народа.

Вторымъ его актомъ должна была быть выработка германской конституціи на основѣ самодержавія народа и удаленіе изъ области фактически существующихъ въ Германіи отношеній всего того, что противорѣчитъ принципу самодержавія народа.

Въ продолженіе всей своей сессіи оно должно было бы принимать необходимыя мѣры къ тому, чтобы разстроить всѣ реакціонныя попытки, къ тому, чтобъ укрѣпить революціонную позицію, на которой оно стоитъ, къ тому, чтобъ обезпечить отъ всяческихъ покушеній завоеваніе революціи—самодержавіе народа.

Германское Національное Собраніе имѣло вотъ уже

около дюжины засѣданій и ничего изъ всего перечисленнаго не сдѣлало. Зато оно обезпечило благополучіе Германіи слѣдующими великими подвигами.

Національное Собраніе признало, что ему необходимъ регламентъ, ибо оно хорошо понимаетъ, что, гдѣ сойдутся два-три нѣмца, тамъ регламентъ необходимъ, иначе дѣло рѣшается ножками стульевъ. Нѣкій школьный учитель предвидѣлъ это обстоятельство и выработалъ особый регламентъ для высокаго собранія. Это школьное упражненіе вносится для временнаго принятія; большинству депутатовъ оно не знакомо, но собраніе безъ дальнихъ словъ принимаетъ его, ибо—что сталось бы съ представителями Германіи безъ регламента? Fiat Reglamentum partout et toujours *).

Господинъ Раво изъ Кельна внесъ вполнѣ невинное предложеніе относительно случаевъ столкновенія между Франкфуртскимъ и Берлинскимъ собраніями **). Но собраніе обсуждаетъ окончательную форму регламента, и, хотя предложеніе Раво не терпитъ отлагательства, регламентъ все-таки болѣе не терпитъ отлагательства. Pereat mundus, fiat reglamentum ***). Тѣмъ не менѣе выборные мудрые провинціалы не могутъ, однако, отказать себѣ въ томъ, чтобы сдѣлать кое-какія замѣчанія и относительно предложенія Раво и постепенно, пока рѣчь идетъ еще только о томъ, что именно поставить на первую очередь,—регламентъ или предложеніе Раво, уже накопляется пара дюжинъ amendements ****) къ этому предложенію. Идетъ бесѣда безпорядочно, разговариваютъ, запутываются, подымается шумъ, время попусту растрачено, и голосованіе откладывается съ 18-го на 22 мая. 22-го повторяется та

*) Регламентъ да господствуетъ всюду и всегда.

**) Франкфуртское собраніе было избрано всеобщимъ голосованіемъ.

***) Пусть исчезнетъ міръ, если того требуетъ регламентъ.

****) Дополненій и поправокъ.

же исторія, вновь дождь amendements, вновь различныя уклоненія, и послѣ долгихъ разговоровъ и многократно подымавшейся кутермы рѣшаютъ поставленный уже на Tagesordnung вопросъ вновь передать на разсмотрѣніе комиссіи. Время пока благополучно прошло и господа депутаты отправляются поѣсть.

23-го мая сначала идетъ перебранка по поводу протокола, потомъ опять выслушивается безчисленное количество предложеній, а затѣмъ хотятъ уже вновь перейти къ Tagesordnung'у, т.-е. къ излюбленному регламенту, но тутъ Цицъ изъ Майнца подымаетъ рѣчь о жестокостяхъ прусскаго войска и деспотическихъ узурпаціяхъ прусскаго коменданта въ Майнцѣ. Тутъ была налицо безспорная, удавшаяся реакціонная попытка, случай, относившійся всецѣло къ области компетенціи собранія. Нужно было притянуть къ отвѣту зазнавшагося солдата, который осмѣлился почти на глазахъ Національнаго Собранія угрожать Майнцу бомбардировкой; нужно было защищать безоружныхъ гражданъ Майнца, по крайней мѣрѣ въ ихъ собственныхъ домахъ, отъ насилій навязанной имъ и наускиваемой противъ нихъ солдатчины. Но господинъ Бассерманъ, баденскій Вассерманъ *), объявляетъ все это мелочью; нужно предоставить Майнцъ самому себѣ, на первомъ планѣ стоитъ общее, а не частное, тутъ засѣдаетъ собраніе и обсуждаетъ въ интересахъ всей Германіи регламентъ—въ самомъ дѣлѣ, что значитъ въ сравненіи съ этимъ бомбардировка Майнца? Pereat Moguntia, fiat reglamentum! **). Но у собранія все-таки мягкое сердце, оно выбираетъ комиссію, которая должна отправиться въ Майнцъ и разслѣдовать дѣло, а затѣмъ—поистинѣ пора опять закрыть засѣданіе и отправиться поѣсть.

24-го мая, наконецъ, мы совсѣмъ теряемъ парламент-

*) Водянистый человѣкъ.

**) Пусть погибнетъ Могунція (Майнцъ), если регламентъ и т. д.

скую нить. Регламентъ какъ будто готовъ уже, или, быть-можетъ, случайно забытъ, во всякомъ случаѣ о немъ ничего больше не слышно. Зато надъ нашими головами разражается сильнѣйшій потокъ благонамѣренныхъ предложеній, которыми многочисленные представители суверенаго народа настойчиво иллюстрируютъ ограниченность своего вѣрноподданническаго кругозора. Затѣмъ идутъ сообщенія, петиціи, протесты и т. д. и, наконецъ, національные помои.

Однако, нельзя умолчать о томъ, что четыре комитета все-таки были назначены.

Наконецъ, слова проситъ господинъ Шлеффель. Трое германскихъ гражданъ, гг. Эсселенъ, Пельцъ и Левенштейнъ, получили приказаніе оставить Франкфуртъ въ тотъ же еще день до 4 часовъ пополудни. Премудрая и обо всемъ пекущаяся полиція утверждала, что названные господа своими рѣчами въ рабочемъ ферейнѣ навлекли на себя неудовольствіе гражданъ и поэтому должны быть высланы! И это полиція позволяетъ себѣ послѣ того, какъ права гражданина были провозглашены въ Германіи временнымъ парламентомъ, послѣ того, какъ они признаны даже въ проектѣ конституціи семнадцати „довѣренныхъ лицъ“ (hommes de confiance de la diète)! Дѣло не терпитъ отлагательства. Господинъ Шлеффель проситъ слова къ этому вопросу; ему въ словѣ отказываютъ; онъ хочетъ говорить о неотложности этого дѣла, на что онъ имѣетъ право, согласно регламенту, но на этотъ разъ рѣшено было: fiat politia, pereat reglamentum *)! Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь уже пора была отправиться домой перекусить.

25-го обремененныя мыслями головы депутатовъ вновь склоняются подъ тяжестью поступавшихъ въ громадномъ количествѣ предложеній, какъ спѣлые колосья подъ про-

*) Пусть погибаетъ регламентъ, если того требуетъ полиція.

ливнымъ дождемъ. Затѣмъ два депутата еще разъ пытаются поднять рѣчь относительно случая высылки, но имъ отказываютъ въ словѣ, даже по вопросу о неотложности дѣла. Нѣкоторыя сообщенія, особенно одно сообщеніе поляковъ, были гораздо интереснѣе всѣхъ депутатскихъ предложеній вмѣстѣ взятыхъ. Наконецъ, слово получила комиссія, командированная въ Майнцъ. Она заявила, что сдѣлать докладъ можетъ только завтра; къ тому же она, какъ водится, опоздала; 8000 прусскихъ штыковъ, обезоруживъ 120 солдатъ гражданской гвардіи, возстановили спокойствіе, и теперь не оставалось ничего другого, какъ перейти къ порядку дня. Такъ и сдѣлали; перешли къ порядку дня, а именно—къ предложенію Раво. Но такъ какъ это предложеніе во Франкфуртѣ еще не было окончательно обсуждено, а въ Берлинѣ, ввиду Ауэрсвальдовскаго рескрипта, давно уже потеряло всякій смыслъ,—то Національное Собраніе рѣшило отложить вопросъ до завтрашняго дня и отправиться поѣсть.

26-го вновь было внесено несмѣтное количество предложеній, а послѣ того майнцская комиссія дѣлала свой окончательный и вмѣстѣ съ тѣмъ очень нерѣшительный докладъ. Докладчикомъ выступалъ господинъ Гергенбанъ, бывшій членъ народной партіи и pro tempore министръ. Онъ предложилъ принять чрезвычайно умѣренное рѣшеніе, но послѣ долгой дискуссіи собраніе нашло и это краткое предложеніе слишкомъ рѣзкимъ; оно постановило предоставить гражданъ Майнца милости предводительствуемыхъ Гизеромъ прусаковъ и, „въ надеждѣ, что власти примутъ надлежащія мѣры“, перешло къ порядку дня! Порядокъ дня опять заключался въ томъ, что господа депутаты отправились ѣсть.

27-го мая послѣ долгихъ прелиминарныхъ разговоровъ о протоколѣ ставится, наконецъ, на обсужденіе предложеніе Раво. До половины третьяго говорили о томъ, о семъ, а

затѣмъ отправились поѣсть; но на этотъ разъ устроили и вечернее засѣданіе и, наконецъ, таки покончили съ этимъ вопросомъ. Такъ какъ, ввиду слишкомъ большой медлительности Національнаго Собранія, господинъ Ауэрсвальдъ успѣлъ уже раздѣлаться съ предложеніемъ Раво, то господинъ Раво присоединился къ amendement'у господина Вернера, который ни одобрялъ, ни отрицалъ принципа народнаго суверенитета.

Наши свѣдѣнія относительно дѣйствій Національнаго Собранія дальше не простираются; но мы имѣемъ всѣ основанія думать, что послѣ этого рѣшенія засѣданіе было закрыто, и депутаты отправились поѣсть. Тѣмъ, что они такъ рано успѣли къ обѣду, они, главнымъ образомъ, обязаны слѣдующимъ словамъ Роберта Блюма: „Господа депутаты, если вы сегодня установите порядокъ дня на будущее время, то весь порядокъ дня настоящаго собранія можно нѣкоторымъ образомъ урѣзать"!

Кельнъ, 6 іюля. Мы вчера сообщили нашимъ читателямъ „мотивированный манифестъ радикально-демократической партіи въ учредительномъ Національномъ Собраніи во Франкфуртѣ на Майнѣ". Подъ рубрикой Франкфуртъ читатели сегодня найдутъ манифестъ лѣвыхъ. Оба манифеста на первый взглядъ отличаются другъ отъ друга только по формѣ, при чемъ у радикально-демократической партіи—редакторъ безпомощный, а у лѣвыхъ—способный. При ближайшемъ разсмотрѣніи, однако, обнаруживаются нѣкоторыя существенныя различія. Радикальный манифестъ требуетъ Національнаго Собранія на основѣ „прямого избирательнаго права, при отсутствіи ценза", манифестъ лѣвыхъ—на основѣ „свободнаго, всеобщаго избирательнаго права". Свободное всеобщее избирательное право исключаетъ цензъ, но никоимъ образомъ не исключаетъ не-

пріятной системы выборовъ. И къ чему вообще это не-опредѣленное, поддающееся многимъ толкованіямъ, выраженіе?

Мы встрѣчаемъ еще въ одномъ мѣстѣ растяжимую, неясную формулировку требованій лѣвыхъ, въ противоположность формулировкѣ радикальной партіи. Лѣвая требуетъ „исполнительной центральной власти, избранной на время Національнымъ Собраніемъ и передъ нимъ отвѣтственной". Она оставляетъ открытымъ вопросъ о томъ, должна ли эта центральная власть быть избрана изъ среды Національнаго Собранія, какъ на этомъ прямо настаиваетъ манифестъ радикальной партіи.

Манифестъ лѣвыхъ, наконецъ, требуетъ немедленнаго установленія, провозглашенія и обезпеченія отъ всякихъ покушеній отдѣльныхъ правительствъ основныхъ правъ нѣмецкаго народа. Манифестъ радикальной партіи этимъ не ограничивается. Онъ заявляетъ: „Собраніе теперь еще совмѣщаетъ въ себѣ всю государственную власть всей страны, оно должно тотчасъ установить всѣ тѣ власти и всѣ тѣ политическія формы общежитія, создать которыя оно призвано, и также направлять внутреннюю и внѣшнюю политику всей страны".

Оба манифеста одинаково желаютъ, чтобы „выработка германской конституціи" была предоставлена „всецѣло и исключительно Національному Собранію", и чтобы правительства были исключены изъ участія въ этомъ. Оба согласны въ томъ, что „безъ ущерба для имѣющихъ быть провозглашенными Національнымъ Собраніемъ народныхъ правъ" отдѣльнымъ государствамъ должно быть предоставлено право свободнаго выбора формы правленія, захотятъ ли они конституціонной монархіи или республики. Оба, наконецъ, одинаково желаютъ, чтобъ Германія превратилась въ союзное или федеративное государство.

Манифестъ радикальной партіи, по крайней мѣрѣ, открыто говоритъ о революціонномъ характерѣ Національнаго Собранія. Онъ указываетъ на соотвѣтствующую революціонную дѣятельность. Не показываетъ ли одно существованіе учредительнаго Національнаго Собранія, что никакой конституціи больше не существуетъ? Но если не существуетъ больше конституціи, то не существуетъ больше и правительства. А разъ правительства больше не существуетъ, Національное Собраніе само должно управлять. Первымъ проявленіемъ его существованія долженъ былъ явиться декретъ, состоящій изъ четырехъ словъ: „союзный сеймъ распущенъ навсегда".

Учредительное Національное Собраніе должно быть прежде всего активнымъ, революціонно-активнымъ собраніемъ. А франкфуртское собраніе занимается школьными упражненіями въ парламентаризмѣ и предоставляетъ правительству дѣйствовать. Допустимъ, что этому ученому собору удалось бы послѣ зрѣлаго обсужденія придумать наилучшій порядокъ дня и наилучшую конституцію. Какой толкъ отъ наилучшаго порядка дня, если нѣмецкія правительства тѣмъ временемъ поставили уже штыкъ въ порядокъ дня?

Германское Національное Собраніе, кромѣ того, что оно вышло изъ непрямыхъ выборовъ, страдаетъ спеціально германской болѣзнью. Оно засѣдаетъ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, а Франкфуртъ-на-Майнѣ является центромъ до сихъ поръ только идеально объединенной, т.-е. объединенной только въ воображеніи, Германіи. Франкфуртъ-на-Майнѣ не является также большимъ городомъ съ многочисленнымъ революціоннымъ населеніемъ, которое стояло бы за Національнымъ Собраніемъ, съ одной стороны—защищая его, съ другой—толкая его впередъ. Впервые въ теченіе всей всемірной исторіи учредительное собраніе крупной націи засѣдаетъ въ небольшомъ городѣ. Все донынѣшнее

развитіе Германіи привело къ этому. Межъ тѣмъ какъ французское и англійское національныя собранія засѣдали на вулканахъ, — въ Парижѣ и Лондонѣ, — германское Національное Собраніе должно было счесть за счастіе найти нейтральную почву, гдѣ оно могло бы въ уютной и спокойной тиши предаться размышленіямъ о наилучшей конституціи и наилучшемъ порядкѣ дня. Тѣмъ не менѣе, положеніе дѣлъ въ Германіи въ этотъ моментъ давало Національному Собранію случай преодолѣть свою злополучную матеріальную ситуацію. Оно должно было бы диктаторски выступить противъ реакціонныхъ поползновеній отжившихъ правительствъ, и тогда оно завоевало бы себѣ въ народномъ мнѣніи такую силу, о которую сломались бы всѣ штыки и приклады. Вмѣсто этого оно у себя же на глазахъ оставляетъ Майнцъ на произволъ солдатчины, а нѣмецкихъ «иностранцевъ» — доносамъ франкфуртскихъ столповъ города. Оно утомляетъ нѣмецкій народъ скучными словами вмѣсто того, чтобы увлечь его съ собой или быть увлеченнымъ имъ. У него, правда, есть публика, которая пока еще съ добродушнымъ юморомъ наблюдаетъ неуклюжія движенія воскресшаго священнаго римско-германскаго призрака рейхстага, но у него нѣтъ народа, который въ его жизни видѣлъ бы отраженіе своей жизни. Не являясь хотя бы въ отдаленной степени главнымъ органомъ революціоннаго движенія, оно до сихъ поръ не было даже эхомъ его.

Если Національное Собраніе образуетъ изъ своей среды центральную власть, то, принимая во вниманіе настоящій его составъ и то обстоятельство, что оно не смогло использовать благопріятнаго момента, отъ этого временнаго правительства нужно ожидать мало отраднаго. Если же оно центральной власти не образуетъ, оно этимъ само подпишетъ себѣ отставку и разлетится впрахъ при малѣйшемъ дуновеніи революціоннаго вѣтерка.

Заслуга лѣвыхъ и радикаловъ состоитъ въ томъ, что они поняли эту альтернативу. И тѣ и другіе восклицаютъ вмѣстѣ съ Гейне:

Bedenk'ich die Sache ganz genau, Если взвѣсить хорошенько,
So brauchen wir garkeinen Kaiser Въ королѣ намъ нужды нѣтъ!

А трудность разрѣшенія вопроса о томъ «кому быть королемъ», множество соображеній въ пользу выборнаго короля, не менѣе убѣдительныя соображенія въ пользу короля наслѣдственнаго принудятъ и консервативное большинство собранія разрубить Гордіевъ узелъ и отказаться совершенно отъ выбора короля.

Непонятно, какъ могла такъ называемая радикально-демократическая партія провозгласить желательность того, чтобъ Германія въ конечномъ счетѣ конституировалась, какъ федерація конституціонныхъ монархій, мельчайшихъ княжествъ и микроскопическихъ республикъ, т.-е. какъ состоящее изъ столь разнородныхъ элементовъ союзное государство съ республиканскимъ правительствомъ во главѣ: ничѣмъ другимъ вѣдь не является признанное и лѣвой центральное учрежденіе.

Нѣтъ сомнѣнія, избранное Національнымъ Собраніемъ центральное правительство Германіи сначала должно функціонировать рядомъ съ существующими правительствами. Но вмѣстѣ съ нарожденіемъ центральнаго правительства тотчасъ начинается и борьба его противъ отдѣльныхъ правительствъ, и въ этой борьбѣ погибнетъ либо это центральное правительство вмѣстѣ съ объединеніемъ Германіи, либо отдѣльныя правительства вмѣстѣ съ ихъ конституціонными княжествами или микроскопическими республиками.

Мы не выставляемъ утопическаго требованія провозглашенія одной цѣлостной, недѣлимой Германской республики, но мы требуемъ отъ такъ называемой радикально-

демократической партіи, чтобъ она не смѣшивала исходнаго пункта борьбы и революціоннаго движенія съ ихъ конечнымъ пунктомъ. Объединеніе Германіи, какъ и германская конституція, могутъ явиться только въ результатѣ движенія, въ которомъ такую же роль, какъ внутренніе конфликты, будетъ играть и война съ востокомъ. Окончательное конституированіе не можетъ быть декретировано. Оно совпадаетъ съ движеніемъ, которое мы должны пережить. Рѣчь идетъ поэтому не объ осуществленіи того или другого мнѣнія, той или другой политической идеи; рѣчь идетъ объ уразумѣніи хода развитія. Національное Собраніе должно сдѣлать лишь ближайшіе практическіе шаги.

Нельзя даже вообразить большей путаницы, чѣмъ сдѣлалъ это редакторъ манифеста демократической партіи, хотя онъ увѣряетъ насъ, что всякій человѣкъ радъ отдѣлаться самъ отъ путаницы въ «своей головѣ» *), взявъ масштабомъ для германской конституціи сѣверо-американское федеративное государство.

Соединенные Штаты Сѣверной Америки, не говоря уже о томъ, что въ нихъ во всѣхъ господствуетъ одинаковая конституція, занимаютъ такую площадь, какъ вся цивилизованная Европа. Ихъ можно было бы сравнивать только со всеевропейской федераціей. А Германія для того, чтобъ имѣть возможность федерироваться съ другими странами, должна прежде всего сама стать единой страной. Въ Германіи борьба между централизаціей и федераціей является борьбой между культурой и феодализмомъ. Германія попала во власть окрашенныхъ въ буржуазный цвѣтъ феодальныхъ отношеній въ тотъ самый моментъ, когда на Западѣ сложились крупныя монархіи, но для нея къ тому же еще закрытъ былъ всемірный рынокъ въ тотъ

*) Фраза изъ радикальнаго манифеста.

самый моментъ, когда онъ открылся для Западной Европы. Она бѣднѣла въ то время, какъ западно-европейскія монархіи обогащались.

Если бы Россія не стучалась въ двери Германіи, одни политико-экономическія обстоятельства принудили бы ее къ строжайшей централизаціи. Даже только съ буржуазной точки зрѣнія полное объединеніе Германіи является первымъ условіемъ для того, чтобы спасти ее отъ нынѣшняго жалкаго положенія и создать почву для роста національнаго богатства. А какъ же разрѣшить современныя соціальныя проблемы на территоріи, раздробленной на 39 маленькихъ странъ?

Редакторъ демократической программы не считаетъ нужнымъ входить въ разборъ подчиненныхъ матеріальныхъ экономическихъ отношеній. Онъ въ своей мотивировкѣ оперируетъ только понятіемъ федераціи. Федерація есть союзъ свободныхъ и равныхъ. Поэтому, молъ, Германія должна быть федеративнымъ государствомъ. Но развѣ нѣмцы не могутъ федерироваться въ единое крупное государство, не грѣша нимало противъ принципа союза свободныхъ и равныхъ.

Министерство Кампгаузена.

Кельнъ, 3-го іюня. Tempora mutantur et nos mutamur in illis **). Это—поговорка, относительно значенія которой кое-что могли бы поразсказать и наши господа министры, Кампгаузенъ и Ганземанъ. Нѣкогда, въ ту пору, когда они въ скромной роли простыхъ депутатовъ сидѣли на школьныхъ скамьяхъ ландтага, чего только ни должны были они сносить отъ всякихъ правительственныхъ ко-

**) Времена мѣняются и мы мѣняемся съ ними.

миссаровъ и маршаловъ! Какъ обуздывалъ ихъ его свѣтлость ординаріусъ Зальмсъ-Лиха въ рейнскомъ окружномъ ландтагѣ, когда они еще сидѣли въ низшемъ классѣ! И даже послѣ того, какъ они были переведены въ высшій классъ, въ соединенный ландтагъ, имъ, правда, разрѣшались нѣкоторыя упражненія въ краснорѣчіи, но сколько разъ школьный учитель, господинъ Адольфъ фонъ-Роховъ, грозилъ имъ высочайше довѣренными ему розгами! Какъ покорно должны были они сносить издѣвательства какого-нибудь Бодельшвинга, какъ благоговѣйно должны были они восхищаться коверканымъ нѣмецкимъ языкомъ какого-нибудь Бойя, съ какимъ низкимъ вѣрноподданичествомъ они обязаны были относиться къ невѣжеству какого-нибудь Дюрсберга!

Теперь все пошло по-иному. 18-ое марта положило конецъ всему политическому школярству, и школьники изъ ландтага объявили себя зрѣлыми. Господа Кампгаузенъ и Ганземанъ стали министрами и восхищенно почувствовали все свое величіе «необходимыхъ персонъ».

Сколь «необходимыми» они себя считаютъ, сколь заносчивыми они стали послѣ освобожденія отъ школьныхъ тисковъ, долженъ былъ почувствовать всякій, приходившій съ ними въ соприкосновеніе.

Они тотчасъ начали съ того, что принялись вновь временно возстановлять старую школу, соединенный ландтагъ. Здѣсь долженъ былъ совершиться великій актъ перехода изъ бюрократической гимназіи въ конституціонный университетъ, здѣсь торжественно, съ соблюденіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей, долженъ былъ быть выданъ прусскому народу его аттестатъ зрѣлости.

Народъ въ многочисленныхъ докладныхъ запискахъ и петиціяхъ заявилъ, что онъ ничего знать не хочетъ о соединенномъ ландтагѣ. Господинъ Кампгаузенъ возразилъ (см., напр., засѣданіе конституанты отъ 30-го мая),

что созывъ ландтага есть вопросъ жизни для министерства. Тутъ ужъ, понятно, все было кончено.

Ландтагъ—это отчаявшееся въ Богѣ, во всемъ мірѣ, въ себѣ самомъ унылое, разбитое собраніе—былъ созванъ. Ему назначено было только санкціонировать новый избирательный законъ, но господинъ Кампгаузенъ требуетъ отъ него не только бумажнаго закона и непрямыхъ выборовъ, но и двадцати пяти милліоновъ звонкими. Куріи приходятъ въ замѣшательство, сбиты съ толку насчетъ предѣловъ своей компетенціи и въ отвѣтъ начинаютъ лепетать какія-то безсвязныя возраженія; но тутъ ничѣмъ не поможешь, это дѣло въ кабинетѣ г. Кампгаузена рѣшено, и если деньги не будутъ даны, если будетъ отказано въ „вотумѣ довѣрія“, господинъ Кампгаузенъ отправляется въ Кельнъ и оставляетъ прусскую монархію на произволъ судьбы. Господъ изъ ландтага при мысли объ этомъ отъ страха холодный потъ прошибаетъ, всякое сопротивленіе оставлено, и съ кисло-сладкой улыбкой вотируется довѣріе.

Непрямые выборы провозглашены. Противъ этого подымается буря петицій, адресовъ, депутацій. Господа министры отвѣчаютъ; министерство держится и падаетъ вмѣстѣ съ непрямыми выборами. Этимъ опять все кончено, и обѣ стороны могутъ итти спать.

Собираются «примиренцы». Господинъ Кампгаузенъ рѣшилъ заставить поднести себѣ отвѣтный адресъ на свою же тронную рѣчь. Депутатъ Дункеръ долженъ внести предложеніе объ этомъ. Начинается дискуссія. Противъ адреса слышно довольно много рѣчей. На господина Ганземана нагоняютъ скуку эти вѣчные сбивчивые толки да пересуды безпомощнаго собранія, они начинаютъ претить его парламентскому такту, и онъ коротко заявляетъ: «Собственно незачѣмъ терять столько словъ; либо адресъ будетъ вотированъ, и тогда все будетъ хорошо, либо онъ не будетъ вотированъ, и тогда министерство выходитъ въ отставку».

Дискуссія тѣмъ не менѣе продолжается, и господинъ Кампгаузенъ, наконецъ, самъ всходитъ на трибуну, чтобы подтвердить, что вопросъ объ адресѣ есть вопросъ жизни для министерства. Въ концѣ концовъ, такъ какъ и это все еще не помогаетъ, выступаетъ также господинъ Ауэрсвальдъ и подтверждаетъ въ третій разъ, что министерство держится и падаетъ вмѣстѣ съ адресомъ. Тогда собраніе было окончательно убѣждено и, понятно, вотировало адресъ.

Такимъ образомъ, наши „отвѣтственные“ министры уже въ теченіе двухъ мѣсяцевъ пріобрѣли въ дѣлѣ руководства собраніемъ тотъ опытъ и то умѣніе, которые господинъ Дюшатель *)—а его, конечно, нѣтъ никакихъ основаній презирать—пріобрѣлъ лишь послѣ нѣсколькихъ лѣтъ интимнаго общенія съ предпослѣдней французской палатой депутатовъ. И господинъ Дюшатель также имѣлъ обыкновеніе въ послѣднее время, когда лѣвая надоѣдала ему своими длинными тирадами, заявлять: „палата свободна, она можетъ голосовать за или противъ, но если она будетъ голосовать противъ,—мы уходимъ“; и робкое большинство, для котораго господинъ Дюшатель былъ самымъ „необходимымъ“ человѣкомъ во всемъ мірѣ, начинало жаться къ своему находящемуся въ опасности вождю, какъ стадо овецъ во время грозы къ своему пастуху. Господинъ Дюшатель былъ легкомысленнымъ французомъ и продолжалъ вести эту игру до тѣхъ поръ, пока вывелъ изъ терпѣнія своихъ соотечественниковъ. Господинъ Кампгаузенъ—положительный, спокойный нѣмецъ, и будетъ знать, какъ далеко онъ можетъ заходить.

Конечно, если быть настолько увѣреннымъ въ своихъ человѣчкахъ, какъ увѣренъ господинъ Кампгаузенъ въ своихъ «примиренцахъ», то можно сберечь много времени и возни. Вѣдь такъ удобно лишать оппозицію почти всецѣло слова, если всякій вопросъ рѣшать въ своемъ каби-

*) Министръ внутреннихъ дѣлъ въ министерствѣ Гизо.

нетѣ. Поэтому такой методъ наиболѣе подходитъ для людей рѣшительныхъ, для людей, которые разъ навсегда знаютъ, чего они хотятъ, и которые не выносятъ дальнѣйшей безполезной болтовни, для людей калибра Дюшателя и Ганземана. Для людей же дискуссіи, которые любятъ «въ длинныхъ дебатахъ высказаться и обмѣняться мнѣніями какъ относительно прошлаго и настоящаго, такъ и относительно будущаго» (Кампгаузенъ, засѣданіе 31-го мая), для людей, которые стоятъ на почвѣ принциповъ и смотрятъ на событія дня съ проницательностью философа, для крупныхъ людей въ родѣ Гизо и Кампгаузена, это ничтожное средствице, какъ нашъ президентъ палаты самъ убѣдится на практикѣ, совершенно не можетъ годиться. Онъ предоставитъ это своему Дюшателю—Ганземану, а самъ останется въ высшей сферѣ, въ которой мы съ такимъ удовольствіемъ его наблюдаемъ.

* * *

Кельнъ, 13-го іюня. Собраніе «примиренцевъ», наконецъ, рѣшительно высказалось. Оно отрекается отъ революціи и принимаетъ теорію соглашенія.

Сущность обстоятельствъ, относительно которыхъ оно должно было высказаться, заключалась въ слѣдующемъ: 18-го марта король обѣщалъ конституцію, ввелъ свободу печати съ системой залоговъ и въ рядѣ проектовъ высказался въ томъ смыслѣ, что единство Германіи должно быть проведено въ жизнь путемъ растворенія Германіи въ Пруссіи.

Въ этомъ заключалось дѣйствительное содержаніе уступокъ 18-го марта. То обстоятельство, что берлинцы сочли себя довольными этимъ, что они отправились къ дворцу, чтобы поблагодарить за это короля, яснѣе всего доказываетъ необходимость революціи 18-го марта. Не только го-

сударственный строй долженъ былъ быть революціонизированъ, но и *граждане*. Вѣрноподданничество могло быть искоренено только въ освободительной борьбѣ.

Знаменитое „недоразумѣніе“ вызвало революцію. Недоразумѣніе дѣйствительно произошло. Нападеніе солдатъ, борьба въ теченіе 16-ти часовъ, необходимость для народа силой заставить войско отступить—все это достаточно убѣдительно доказываетъ, что отношеніе народа къ уступкамъ 18-го марта было основано на полномъ недоразумѣніи.

Результаты революціи получились слѣдующіе: съ одной стороны—народное вооруженіе, право союзовъ, фактически завоеванное самодержавіе народа, а съ другой стороны—сохраненіе монархіи и министерство Кампгаузена-Ганземана, т.-е. правительство либеральныхъ представителей крупной буржуазіи.

Революція имѣла, такимъ образомъ, двоякаго рода результаты, которые неизбѣжно должны были прійти къ разрыву. Народъ побѣдилъ; онъ завоевалъ свободы рѣшительно демократическаго характера, но непосредственное господство перешло не въ его руки, а въ руки крупной буржуазіи.

Однимъ словомъ, революція не была доведена до конца. Народъ допустилъ образованіе министерства крупныхъ буржуа, и крупные буржуа тотчасъ выказали свои тенденціи, предложивъ союзъ старо-прусскому дворянству и бюрократіи. Арнгеймъ, Канитцъ и Шверинъ вступили въ министерство.

Крупная буржуазія, антиреволюціонная съ самаго начала, заключила оборонительный и наступательный союзъ съ реакціей изъ страха передъ народомъ, т.-е. передъ рабочими и демократической буржуазіей.

Объединенныя реакціонныя партіи начали свою борьбу противъ демократіи съ того, что поставили революцію подъ сомнѣніе. Онѣ стали отрицать побѣду народа, сфаб-

рикованъ былъ списокъ «семнадцати убитыхъ военныхъ»; баррикадныхъ борцовъ всѣми способами старались очернить. Мало того. Правительство собрало созванный до революціи соединенный ландтагъ, чтобы post festum представить дѣло такъ, будто совершается легальный переходъ отъ абсолютизма къ конституціонализму. Оно этимъ самымъ прямо отрицало революцію. Далѣе, оно изобрѣло теорію соглашенія, стало вновь отрицать революцію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самодержавіе народа.

Революція, такимъ образомъ, дѣйствительно была подъ сомнѣніемъ; она могла оказаться подъ сомнѣніемъ потому, что она была революціей лишь наполовину, что она была лишь началомъ длительнаго революціоннаго движенія.

Мы не можемъ здѣсь подробно останавливаться на томъ, почему и по скольку нынѣшнее господство крупной буржуазіи въ Пруссіи является неизбѣжной переходной ступенью къ господству демократіи, и почему буржуазія тотчасъ по ея восшествіи на престолъ бросилась въ объятія реакціи. Мы тутъ лишь констатируемъ фактъ.

Собраніе „примиренцевъ“ должно было теперь высказаться, признаетъ ли оно революцію или нѣтъ.

Но признать революцію при этихъ обстоятельствахъ значило признать демократическую сторону революціи, въ противовѣсъ буржуазіи, которая имѣла желаніе уничтожить эту ея сторону.

Признать революцію—это въ тотъ моментъ какъ разъ означало признать половинчатость революціи, а тѣмъ самымъ и демократическое движеніе, направленное противъ нѣкоторыхъ результатовъ революціи. Это значило признать, что Германія охвачена революціоннымъ движеніемъ, въ которомъ министерство Кампгаузена, теорія соглашенія, непрямые выборы, господство крупныхъ капиталистовъ и результаты работъ самаго собранія являются хотя и неизбѣжными переходными ступенями, но ни въ коемъ случаѣ не конечными результатами.

Дебаты относительно признанія революціи были въ камерѣ очень длинные, велись они съ большимъ интересомъ, но съ поразительнымъ отсутствіемъ воодушевленія. Трудно найти что-нибудь болѣе безотрадное, чѣмъ эти тягучіе дебаты, ежеминутно прерываемые шумомъ и регламентскими придирками. Вмѣсто горячей страстности партійной борьбы—какое-то холодное спокойствіе духа, каждую минуту грозящее пасть до уровня обыденной бесѣды; вмѣсто рѣзкой и бьющей ясности аргументаціи—длинные сбивчивые разговоры да толки; вмѣсто рѣзкаго и внушительнаго отпора—скучная проповѣдь о сущности и характерѣ нравственности.

Также и лѣвая не особенно отличалась въ этихъ дебатахъ. Большинство ея ораторовъ повторялись; никто не рѣшился поставить вопросъ ребромъ и выступить открыто—революціонно. Если бы борцы 18-го марта выказали въ борьбѣ не больше энергіи и страстности, чѣмъ господа изъ лѣвой, плохо обстояли бы тогда дѣла Германіи.

* * *

Кельнъ, 19-го іюня. „Ничему не научилось и ничего не позабыло“, это можно сказать относительно министерства Кампгаузена въ такой же степени, какъ и относительно Бурбоновъ.

14-го іюня народъ, возмущенный отрицаніемъ революціи со стороны „примиренцевъ“, нападаетъ на цейхгаузъ. Народъ желаетъ имѣть гарантіи противъ собранія и знаетъ, что оружіе—наилучшая гарантія. Цейхгаузъ взятъ приступомъ, народъ самъ вооружается.

Штурмъ цейхгауза, событіе, не давшее непосредственныхъ результатовъ, будучи революціей, остановившейся на полпути, имѣлъ тѣмъ не менѣе слѣдующія послѣдствія: 1) дрожащее собраніе взяло обратно свое вчерашнее рѣ-

шеніе и заявило, что ставитъ себя подъ защиту берлинскаго населенія; 2) оно перестало видѣть въ непремѣнномъ существованіи министерства Кампгаузена-Ганземана вопросъ жизни и провалило Кампгаузеновскій проектъ конституціи большинствомъ 46 голосовъ; 3) министерство тотчасъ совершенно распалось; министры Канитцъ, Шверинъ и Ауэрсвальдъ вышли въ отставку, изъ нихъ до сихъ поръ только Канитцъ окончательно замѣщенъ Шрекенштейномъ, и господинъ Кампгаузенъ 17-го іюня испросилъ у собранія трехдневный срокъ для возстановленія своего распавшагося кабинета.

Все это сдѣлалъ штурмъ цейхгауза.

И въ то самое время, какъ послѣдствія этого самовооруженія народа такъ рѣзко обнаруживаются, правительство осмѣливается само взяться за работу. Въ то самое время, какъ собраніе и министерство признаютъ возстаніе, участниковъ возстанія притягиваютъ къ отвѣтственности, судятъ ихъ на основаніи старопрусскихъ законовъ, издѣваются вадъ ними и третируютъ ихъ, какъ низкихъ воровъ!

Въ тотъ самый день, когда дрожащее Національное Собраніе ставитъ себя подъ защиту народа, штурмовавшаго цейхгаузъ, господа Грисгеймъ (комиссаръ военнаго министерства) и Темме (прокуроръ) въ своихъ постановленіяхъ объявляютъ нападавшихъ на цейхгаузъ „грабителями“ и «кровожадными ворами». «Либеральный» господинъ Темме, которому революція дала возможность вернуться изъ изгнанія, начинаетъ строгое слѣдствіе противъ продолжателей революціи. Корна, Левинсона и Урбана арестуютъ. Во всемъ Берлинѣ обыски слѣдуютъ за обысками. Начальника цейхгауза, Натцмера, у котораго хватило разсудка, чтобъ тотчасъ понять необходимость оставить цейхгаузъ, человѣка, который своимъ мирнымъ отступленіемъ спасъ Пруссію отъ новой революціи, а министровъ отъ величайшихъ

опасностей, этого человѣка привлекаютъ къ военному суду и судятъ на основаніи военнаго устава, который обрекаетъ его на смерть.

„Примиренцы“ тѣмъ временемъ тоже очнулись отъ страха. Въ своемъ собраніи отъ 17-го числа они отрекаются отъ борцовъ при цейхгаузѣ, такъ же какъ они 9-го отрекались отъ борцовъ на баррикадахъ. Въ этомъ собраніи отъ 17-го числа произошло собственно слѣдующее.

Господинъ Кампгаузенъ заявляетъ собранію, что онъ изложитъ теперь передъ нимъ всѣ обстоятельства дѣла, дабы собраніе могло рѣшить, подлежитъ ли министерство обвиненію за происшедшій штурмъ цейхгауза.

Разумѣется, основанія для обвиненія противъ министровъ были и, конечно, не потому, что они допустили осаду цейхгауза, а потому, что они сами ее вызвали, стащивъ у народа одинъ изъ важнѣйшихъ выводовъ революціи—народное вооруженіе.

Послѣ него выступилъ комиссаръ военнаго министерства, господинъ Грисгеймъ. Онъ подробнѣйшимъ образомъ описываетъ находящееся въ цейхгаузѣ оружіе, особенно ружья «новѣйшей системы, спеціальный секретъ Пруссіи», ружья, «имѣющія историческое значеніе» и всѣ остальныя прелести. Онъ описываетъ систему охраненія цейхгауза: наверху 240 человѣкъ солдатъ, внизу гражданская гвардія. Онъ ссылается на то, что полученія и отправки оружія изъ цейхгауза, являющагося центральнымъ депо для всего прусскаго государства, почти совсѣмъ не были прерваны мартовской революціей.

Послѣ всѣхъ этихъ предварительныхъ разсужденій, которыми онъ пытается расположить „примиренцевъ“ въ пользу столь необыкновенно-важнаго института, какъ цейхгаузъ, онъ, наконецъ, доходитъ до событій 14-го іюня.

Всегда, молъ, обращали вниманіе народа на цейхгаузъ

и отправки оружія въ различныя мѣста, народу всегда, молъ, говорили, что оружіе принадлежитъ ему.

Но вѣдь это же вѣрно: оружіе дѣйствительно принадлежало народу, во-первыхъ, какъ національная собственность, а во-вторыхъ, какъ средство завоеваннаго и гарантированнаго народнаго вооруженія.

Господинъ Грисгеймъ „могъ съ увѣренностью утверждать, что первыми выстрѣлами были выстрѣлы изъ среды народа въ гражданскую гвардію". Это утвержденіе относится къ той же области „достовѣрностей", что и басня о „семнадцати убитыхъ военныхъ" въ мартѣ.

Далѣе, господинъ Грисгеймъ описываетъ, какъ народъ ворвался въ цейхгаузъ, какъ городская стража отступила, и затѣмъ „было украдено 1000 ружей новѣйшей системы— „невозградимая потеря" (!). Коменданта цейхгауза, Натцмера, принудили, молъ, къ отступленію и къ „нарушенію обязанностей", войско удалилось.

И здѣсь господину комиссару военнаго министерства приходится въ своемъ докладѣ коснуться факта, при одномъ воспоминаніи о которомъ его старопрусское сердце обливается кровью: народъ осквернилъ святыню старой Пруссіи. Слушайте: „Тутъ въ верхнемъ помѣщеніи началось прямо нѣчто ужасное. Воровали, грабили, опустошали. Новыя ружья сбрасывались внизъ и ломались, древности громадной стоимости, ружья, украшенныя серебромъ и слоновой костью, замѣчательно искусно сдѣланныя рѣдкія артиллерійскія модели, все это уничтожено, купленныя кровью народа трофеи и знамена, честь націи, были разодраны и осквернены!" (Всеобщее негодованіе. Со всѣхъ сторонъ раздаются крики: пфуй, пфуй!)

Это возмущеніе старой сабли фривольностью народа производитъ по истинѣ комическое впечатлѣніе. Народъ, видите ли, совершилъ „положительно нѣчто ужасное" по отношенію къ старымъ шлемамъ, черпакамъ и прочему

хламу! Онъ сбрасывалъ внизъ „новыя ружья!“ Что за ужасъ для посѣдѣвшаго на службѣ лейтенанта, который имѣлъ обыкновеніе только въ цейхгаузѣ благоговѣйно любоваться „новыми ружьями“, межъ тѣмъ какъ его полкъ упражнялся самымъ заржавленнымъ оружіемъ! Народъ разбилъ артиллерійскія модели! Не потребуетъ ли господинъ Грисгеймъ, чтобъ народъ передъ революціей запасся лайковыми перчатками? Но самое ужасное еще впереди— трофеи старой Пруссіи осквернены и разодраны!

Господинъ Грисгеймъ сообщаетъ намъ здѣсь фактъ, изъ котораго вытекаетъ, что берлинское населеніе 14-го іюня выказало вполнѣ правильный революціонный тактъ. Населеніе Берлина, растоптавъ ногами знамена, взятыя при Лейпцигѣ и Ватерлоо, отреклось отъ такъ называемыхъ освободительныхъ войнъ. Первое, что нѣмцы должны дѣлать во время своей революціи, это—рвать со своимъ позорнымъ прошлымъ.

Но старопрусское собраніе „примиренцевъ“, конечно, должно было встрѣтить криками „пфуй, пфуй“ такой актъ, въ которомъ народъ впервые выступилъ революціонно не только противъ своихъ угнетателей, но и противъ блестящихъ иллюзій своего собственнаго прошлаго.

При всемъ негодованіи по поводу святотатства, при одномъ воспоминаніи о которомъ прямо усы становятся дыбомъ, господинъ Грисгеймъ все же не забываетъ замѣтить, что вся эта исторія „будетъ стоить государству 50,000 талеровъ и оружія для нѣсколькихъ баталіоновъ“. Далѣе онъ продолжаетъ: „Причиной нападенія на цейхгаузъ было не стремленіе народа вооружиться. Оружіе продавалось потомъ за гроши“.

Итакъ, по словамъ господина Грисгейма, штурмъ цейхгауза былъ просто дѣломъ кучки воровъ, которые воровали ружья, чтобъ промѣнять ихъ на рюмку водки. Почему эти „грабители“ сдѣлали нападеніе какъ разъ именно

на цейхгаузъ, а, напримѣръ, не на магазины драгоцѣнностей или на мѣняльныя лавки, это господинъ комиссаръ военнаго министерства, надѣемся, намъ еще разъяснитъ.

„По отношенію къ несчастному (!) коменданту замѣчается весьма трогательное участіе по тому лишь поводу, что онъ не исполнилъ своей обязанности для того, чтобы, какъ говорятъ, не пролить крови народа; больше того, его поступокъ изображаютъ, какъ актъ, заслуживающій уваженія и благодарности: сегодня у него была даже депутація, которая желаетъ, чтобы его поступокъ былъ признанъ всей страной заслуживающимъ благодарности. (Негодованіе). Это были депутаты различныхъ клубовъ съ асессоромъ Шраммомъ во главѣ. (Негодованіе на правой и крики „пфуй!“). Фактъ тотъ, что капитанъ нарушилъ первый, высшій долгъ солдата: онъ покинулъ свой постъ вопреки данной ему ясной инструкціи не оставлять поста безъ особыхъ на то приказаній. Въ его защиту приводилось, будто онъ своимъ отступленіемъ спасъ тронъ, будто всѣ войска покинули бы городъ, а король бѣжалъ бы въ Потсдамъ. (Негодованіе). Онъ поступилъ точно такъ же, какъ знаменитый комендантъ крѣпости въ 1806 году, который тоже безъ дальнихъ словъ сдалъ ввѣренную ему крѣпость, вмѣсто того, чтобъ защищать ее. Что же касается тѣхъ расужденій, будто онъ своимъ отступленіемъ помогъ избѣжать кровопролитія, то они падаютъ сами собой; никто буквально не пострадалъ бы, такъ какъ онъ сдался какъ разъ въ тотъ моментъ, когда къ нему на помощь приближалась остальная часть баталіона“. (Браво на правой сторонѣ, шиканье на лѣвой).

Господинъ Грисгеймъ, конечно, опять забылъ, что сдержанность коменданта Натцмера спасла Берлинъ отъ новаго сраженія, министровъ—отъ величайшихъ опасностей,

монархію—отъ гибели. Господинъ Грисгеймъ вновь остается только подполковникомъ, онъ не видитъ въ поступкѣ Натцмера ничего иного, кромѣ неповиновенія властямъ, трусливаго оставленія поста и измѣны на извѣстный старопрусскій манеръ 1806 года. Человѣкъ, которому монархія обязана продолженіемъ своего существованія, оказывается достойнымъ смертной казни. Хорошій примѣръ для всей арміи!

А какъ держало себя собраніе во время этого разсказа господина Грисгейма? Оно было эхомъ его негодованія. Лѣвая, наконецъ, протестуетъ шиканьемъ. Берлинская лѣвая вообще держится все трусливѣе и все двусмысленнѣе. Это господа эксплуатировали народъ при выборахъ, а гдѣ были они въ ночь 14-го іюня, когда народъ исключительно только по безпомощности выпустилъ тотчасъ изъ рукъ свои завоеванія, когда не хватало только вождя, чтобы окончательно завершить побѣду? Гдѣ были всѣ эти господа Берендсы, Юнги, Эйснеры, Штейны, Рейхенбахи? Они либо оставались дома за печкой, либо дѣлали министрамъ несопряженныя ни съ какой опасностью донесенія. Мало того. У нихъ даже не хватило мужества защитить народъ отъ клеветы и издѣвательствъ правительственнаго комиссара. Ни одинъ ораторъ не выступилъ. Никто не рѣшился защитить того акта народа, который доставилъ имъ первую побѣду. У нихъ хватаетъ мужества только на то, чтобы шикать! Что за героизмъ!

* * *

Кельнъ, 22-го іюня.

Scheint die Sonne noch so schön
Einmal muss sie untergehn *).

---

*) Какъ ни прекрасно солнышко, а придетъ ему пора зайти.

Министерство Кампгаузена прикрывало контръ-революцію своимъ либерально-буржуазнымъ плащомъ. Контръ-революція чувствуетъ себя теперь достаточно сильной, чтобы сбросить маску.

Возможно, что на нѣсколько дней преемникомъ министерства 30-го іюня станетъ любое эфемерное министерство лѣваго центра. Но дѣйствительнымъ его преемникомъ является министерство принца прусскаго *). Кампгаузенъ имѣетъ честь дать абсолютитско-феодальной партіи этого ея истиннаго вождя, а себѣ—своего преемника:

Къ чему еще дальше продолжать баловать буржуазныхъ опекуновъ? Развѣ русскія войска не стоятъ у восточной границы, а прусскія войска—у западной?

Развѣ не приняты всѣ мѣры для того, чтобы повторить бомбандировку Праги во всѣхъ почти городахъ Рейнской провинціи. Развѣ армія не успѣла превратиться въ азіатскую орду въ теченіе войны съ Даніей, польской войны **) и многочисленныхъ конфликтовъ между войскомъ и народомъ? Развѣ буржуазія не чувствуетъ себя уставшей отъ революціи? И развѣ посреди моря не виднѣется тотъ утесъ, на которомъ контръ-революція построитъ свой храмъ—Англія?

Министерство Кампгаузена силится еще пріобрѣсть на грошъ популярности и возбудить къ себѣ состраданіе общества увѣреніемъ, что министерство сходитъ со сцены, будучи само обмануто. И, дѣйствительно, оно является обманутымъ обманщикомъ. Находясь на службѣ у крупной буржуазіи, оно должно было стараться лишить революцію ея демократическихъ завоеваній; находясь въ борьбѣ съ демократіей, оно должно было заключить союзъ съ ари-

*) Послѣ революціи принцъ прусскій, какъ завѣдомый врагъ народа, былъ вынужденъ уѣхать изъ Пруссіи. Все время онъ признавался главой реакціонной, непримиримой партіи.

**) Варварское усмиреніе прусской Польши.

стократической партіей и стать орудіемъ ея контръ-революціонныхъ прихотей. Аристократическая партія теперь достаточно сильна, чтобы выбросить за бортъ своего „союзника“. Господинъ Кампгаузенъ посѣялъ реакцію въ духѣ крупной буржуазіи и пожалъ реакцію въ духѣ феодальной партіи. Его добрыя намѣренія сводились къ первой, злой рокъ привелъ ко второй. Подайте на грошъ популярности разочарованному человѣку!

На грошъ популярности!

Scheint die Sonne noch so schön
Einmal muss sie untergehn.

Все же на востокѣ солнце вновь восходитъ *).

* * *

Кельнъ, 24 іюня. Во время засѣданія „примиренцевъ“ отъ 20-го сего мѣсяца, во время того рокового засѣданія, когда солнце Кампгаузена закатилось и наступилъ министерскій хаосъ, господинъ Патовъ прочиталъ докладную записку о тѣхъ основныхъ принципахъ, въ согласіи съ которыми онъ думаетъ устранять феодализмъ въ деревнѣ.

Читая эту докладную записку, удивляешься только тому, что въ старопрусской провинціи давно уже не вспыхнула крестьянская война. Какая масса оброковъ, повинностей, налоговъ, что за смѣсь средневѣковыхъ названій, одно нелѣпѣе другого! Ленные налоги, налоги по случаю смерти, лучшая голова скота, курмеды, кровавая десятина, охранные налоги, вальпурговы налоги, пчелиные налоги, восковыя повинности, луговые оброки, десятина, лаудемій, доплатная рента,—все это попынѣ еще существовало въ „самомъ благоустроенномъ государствѣ всего міра“ и сохранялось бы во вѣки вѣковъ, если бы французы не произвели февральской революціи!

---

*) Въ этомъ Марксъ обманывался. Ночь была долга.

Да большая часть этихъ тяготъ, и какъ разъ наиболѣе тяжелыя изъ нихъ, сохранились бы во вѣки вѣковъ и въ томъ случаѣ, если бы все шло согласно желаніямъ г. Патова. Вѣдь это дѣло для того и отдано въ руки господина Патова, чтобъ онъ возможно больше щадилъ силезскихъ, померанскихъ и пр. Krautjunker'овъ *) и по возможности больше дѣлалъ иллюзорными для крестьянъ завоеванія революціи!

Берлинская революція сдѣлала всѣ эти феодальныя отношенія невозможными въ дальнѣйшемъ. Крестьяне вполнѣ естественно тотчасъ на практикѣ уничтожили феодальныя путы. Правительству ничего больше не оставалось, какъ санкціонировать закономъ фактически уже осуществленное народной волей освобожденіе отъ всѣхъ феодальныхъ тяготъ.

Но для того, чтобъ аристократія рѣшилась сдѣлать то, что она сдѣлала 4-го августа **), для этого ея замки раньше должны быть объяты пламенемъ. Правительство, въ этомъ случаѣ прямо представляемое аристократомъ, выступило въ защиту аристократіи; оно представляетъ собранію докладную записку, которой „примиренцы“ приглашаются предать теперь аристократіи также крестьянскую революцію, которая вспыхнула въ мартѣ по всей Германіи. Правительство отвѣтственно за тѣ послѣдствія, которыя будетъ имѣть примѣненіе принциповъ Патова въ деревнѣ.

Господинъ Патовъ собственно желаетъ, чтобы крестьяне платили выкупъ за уничтоженіе всѣхъ феодальныхъ повинностей, даже за отмѣну лаудемій. Безъ выкупа должны быть уничтожены только тѣ повинности, которыя основаны на наслѣдственномъ подданствѣ, старой податной системѣ и вотчинномъ судѣ, или тѣ повинности, которыя

*) „Сожителей капусты“, т.—е. дикихъ помѣщиковъ.

**) Во время великой революціи во Франціи.

потеряли всякое значеніе для господъ феодаловъ (какая милость!), т.-е. вообще тѣ повинности, которыя составляютъ самую незначительную часть всего феодальнаго бремени.

Напротивъ, всѣ установленные договорами или судебными приговорами выкупы отъ феодальныхъ повинностей считаются окончательными. Это значитъ, что тѣ крестьяне, которые выкупились отъ феодальныхъ повинностей при господствѣ реакціонныхъ законовъ, изданныхъ на руку дворянамъ со времени 1816 и особенно со времени 1840 года, и которые при этомъ были ограблены въ пользу феодаловъ—во-первыхъ, на основаніи закона, а во-вторыхъ, при помощи продажнаго чиновничества,—что эти крестьяне не получатъ никакого денежнаго удовлетворенія.

Зато имѣется въ виду устроить крестьянскіе банки, чтобы отвести глаза крестьянамъ.

Если бы все шло по желанію господина Патова, феодальныя тяготы при его законахъ существовали бы, какъ при старыхъ законахъ 1807 года.

Настоящее названіе для произведенія господина Патова слѣдующее: докладная записка о сохраненіи на вѣчныя времена феодальныхъ повинностей посредствомъ системы выкуповъ.

Правительство провоцируетъ крестьянскую войну.

Министерство Ганземана.

Кельнъ, 23 іюня. Новая полоса открылась въ министерскомъ кризисѣ въ Берлинѣ! Нашему Ганземану поручено образовать новый кабинетъ, и онъ вмѣстѣ съ обломками стараго министерства—съ Патовымъ, Борнеманномъ, Шлейницемъ и Шрекенштейномъ—растроганно упадетъ въ объятія лѣвому центру. Господинъ Родбертусъ *) будто бы при-

*) Извѣстный экономистъ, въ то время вождь умѣренныхъ консерваторовъ.

нимаетъ участіе въ этой новой комбинаціи; онъ является посредникомъ, гарантирующимъ раскаявшимся обломкамъ министерства Кампгаузена милость и прощеніе лѣваго центра.

Благодаря милости господина Родбертуса, прекрасныя мечты нашего прусскаго Дюшателя исполнились: онъ становится премьеромъ. Лавры Кампгаузена не даютъ ему спать; теперь, когда ничто не помѣшаетъ ему развернуть свои силы, онъ, наконецъ, сможетъ показать, на что онъ способенъ. Теперь мы сможемъ увидѣть во всемъ блескѣ его грандіозные финансовые планы, обширные проекты, долженствующіе повести къ уничтоженію всякой нужды и бѣдности,—тѣ планы, которыми онъ такъ великолѣпно обморочилъ своихъ депутатовъ. Онъ теперь только въ состояніи посвятить государству всю сокровищницу своихъ талантовъ, которые онъ раньше такъ блестяще и успѣшно развилъ на желѣзнодорожномъ и другихъ поприщахъ. И ужъ теперь вопросъ о довѣріи начнетъ неограниченно царить.

Господинъ Ганземанъ превзошелъ своего предшественника: благодаря самопожертвованію господина Родбертуса, онъ становится премьеромъ, чѣмъ Дюшатель никогда не былъ. Но мы его предостерегаемъ. Дюшатель не безъ основанія свиду всегда оставался на второмъ планѣ. Дюшатель зналъ, что болѣе или менѣе образованнымъ сословіямъ нуженъ, какъ въ министерствѣ, такъ и внѣ его краснорѣчивый рыцарь „безконечныхъ дебатовъ“,—Гизо или Кампгаузенъ, который въ любомъ случаѣ успокаивалъ бы совѣсть и увлекалъ бы сердца слушателей необходимыми доказательствами, философскими выкладками, государственными теоріями и другими пустыми фразами. Дюшатель охотно предоставлялъ честь предсѣдательства въ министерствѣ своему словоохотливому идеологу; пустому блеску онъ не придавалъ значенія, ему важна была дѣйствительная практическая власть, и онъ зналъ, что гдѣ онъ былъ,

тамъ была дѣйствительная власть. Господинъ Ганземанъ хочетъ попытаться достичь власти инымъ путемъ, онъ, должно-быть, знаетъ какимъ. Но мы повторяемъ, предсѣдательское мѣсто въ министерствѣ не настоящее мѣсто Дюшателя.

Но нами овладѣваетъ чувство боли при воспоминаніи о томъ, какъ скоро господинъ Ганземанъ полетитъ со своей головокружительной высоты. Раньше еще, чѣмъ кабинетъ Ганземана конституировался, раньше еще, чѣмъ хоть на одинъ моментъ удалось вкусить сладость его бытія, этотъ кабинетъ уже обреченъ на гибель.

Палачъ ждетъ!

Реакція и Россія стучатся въ дверь, и не успѣетъ пѣтухъ три раза пропѣть, какъ министерство Ганземана, не взирая на Родбертуса и на лѣвый центръ, падетъ. Тогда прощай предсѣдательство въ министерствѣ, прощайте финансовые планы и гигантскіе проекты уничтоженія всякой нужды; пучина все это поглотитъ, и благо господину Ганземану, если онъ сможетъ спокойно вернуться къ своему скромному очагу и поразмыслить о томъ, что жизнь собственно—сонъ.

* * *

Кельнъ, 2-го іюля. Послѣ трагедіи—идиллія, послѣ грома парижскихъ іюньскихъ дней—болтовня берлинскихъ „примиренцевъ“. Мы этихъ господъ совсѣмъ было потеряли изъ виду, и теперь видимъ, что въ тотъ самый моментъ, когда Кавеньякъ бомбардировалъ Фобургъ Сентъ-Антуанъ, господинъ Кампгаузенъ произносилъ меланхолическую прощальную рѣчь, а господинъ Ганземанъ излагалъ программу новаго министерства.

Мы раньше всего съ удовольствіемъ констатируемъ, что господинъ Ганземанъ послушался нашего совѣта и не сталъ премьеръ-министромъ. Онъ понялъ, что большей

честью является дѣлать премьеръ-министровъ, чѣмъ самому *быть* премьеръ-министромъ.

Новое министерство, несмотря на его официальное названіе—министерство Ауэрсвальда есть и остается министерствомъ Ганземана. Оно выказываетъ себя таковымъ, называя себя министерствомъ „дѣла“, министерствомъ „проведенія въ жизнь“. Господинъ Ауэрсвальдъ въ дѣйствительности и не имѣетъ притязанія быть фактическимъ министромъ.

Программа господина Ганземана извѣстна. Мы не останавливаемся на ея политическихъ пунктахъ; они уже послужили матеріаломъ для болѣе или менѣе мелкихъ нѣмецкихъ газетъ. Одного только пункта эти газеты не посмѣли коснуться, а для того, чтобы господинъ Ганземанъ не остался въ обидѣ, мы хотимъ взять этотъ пунктъ на себя.

Господинъ Ганземанъ заявляетъ: „Для оживленія промышленной жизни, а слѣдовательно, для устраненія нуждъ рабочаго класса, нѣтъ теперь болѣе радикальнаго средства, какъ возстановленіе ослабѣвшихъ надеждъ на сохраненіе законнаго порядка и на скорѣйшее основаніе прочной конституціонной монархіи. Преслѣдуя всѣми силами эту цѣль, мы тѣмъ самымъ, такимъ образомъ, боремся противъ безработицы и нужды“.

Господинъ Ганземанъ сказалъ уже въ приложеніи къ своей программѣ, что онъ для этой цѣли предложитъ новые репрессивные законы, по скольку старое законодательство (государственно-полицейское) недостаточно.

Это достаточно ясно. Старое деспотическое законодательство недостаточно! Не вѣдомству министерства общественныхъ работъ, не вѣдомству министерства финансовъ, а вѣдомству военнаго министра подлежитъ прекращеніе нужды рабочаго класса! Репрессивные законы на первомъ планѣ, картечь и штыки—на второмъ. дѣйствительно,—

„нѣтъ болѣе радикальнаго средства!“ Неужели у господина Шрекенштейна возникнетъ желаніе продолжать свои Тирскіе геройскіе подвиги и стать Кавеньякомъ въ уменьшенномъ прусскомъ масштабѣ?

У господина Ганземана есть еще и другія средства, помимо этихъ „радикальнѣйшихъ“ средствъ. „Но доставленіе занятій при помощи общественныхъ работъ, которыя принесутъ странѣ дѣйствительную пользу, также необходимо при этомъ“.

Господинъ Ганземанъ хочетъ для блага всѣхъ трудящихся классовъ ввести „еще болѣе обширныя работы“, чѣмъ господинъ Патовъ. Но онъ это сдѣлаетъ, „какъ только министерству удастся устранить питаемыя смутами и подстрекательствомъ опасенія низверженія государственнаго строя и возстановить необходимое для добытія нужныхъ денежныхъ средствъ всеобщее довѣріе“.

Господинъ Ганземанъ въ данный моментъ не можетъ предпринять никакихъ работъ, потому что онъ не можетъ достать денегъ. Онъ сможетъ только тогда получить деньги, когда довѣріе будетъ возстановлено. Но какъ только будетъ возстановлено довѣріе, рабочіе, какъ онъ самъ говоритъ, найдутъ работу, и государству не зачѣмъ будетъ заботиться о подысканіи занятій.

Въ этомъ не порочномъ (упаси Боже!), а въ весьма буржуазно-добродѣтельномъ кругѣ вертятся мѣропріятія господина Ганземана къ прекращенію нужды. Въ данный моментъ господинъ Ганземанъ не можетъ предложить рабочимъ ничего, кромѣ сентябрьскихъ законовъ и Кавеньяка въ уменьшенномъ масштабѣ. Да, это министерство, дѣйствительно министерство *дѣйствія!*

* * *

Кельнъ, 4 іюля. (Передавая подробности о нѣсколькихъ возмутительныхъ арестахъ, произведенныхъ новымъ прусскимъ министерствомъ, Марксъ продолжаетъ).

Таковы дѣянія „министерства дѣйствія“, министерства лѣваго центра, министерства перехода къ старо-аристократическому, старо-бюрократическому, старо-прусскому министерству. Какъ только господинъ Ганземанъ выполнитъ свою функцію, „облегчитъ переходъ“, ему дадутъ отставку.

Но берлинская лѣвая должна убѣдиться, что старая власть можетъ спокойно представить ей маленькія парламентскія побѣды и великіе проекты конституціи, если она только тѣмъ временемъ успѣла овладѣть всѣми дѣйствительными и рѣшающими позиціями. Она спокойно можетъ въ палатѣ признавать революцію, если только внѣ палаты революцію обезоруживаютъ.

Лѣвая можетъ въ одно прекрасное утро убѣдиться, что ея парламентская побѣда и ея дѣйствительное пораженіе совпадаютъ. Развитіе Германіи, можетъ-быть, нуждается въ подобныхъ контрастахъ.

Министерство дѣйствія въ принципѣ признаетъ революцію, чтобы на практикѣ предпочесть ей контръ-революцію.

* * *

Кельнъ, 21 іюня. Пара словъ по адресу министерства Ганземанъ-Кильветтеръ-Мильде. Господинъ Кильветтеръ выпустилъ нѣсколько дней тому назадъ окружное посланіе ко всѣмъ регирунгспрезидентамъ противъ дѣянія реакціи. Откуда сіе?

Министерство дѣйствія хочетъ укрѣпить господство буржуазіи, заключивъ одновременно компромиссъ со старымъ полицейскимъ и феодальнымъ государствомъ. Въ этой двойственной задачѣ, полной противорѣчій, оно видитъ, какъ господству буржуазіи и собственному его существованію грозитъ реакція въ абсолютитскомъ въ фео-

дальномъ смыслѣ; и несомнѣнно, оно будетъ раздавлено этой реакціей. Буржуазія не можетъ добиться своего собственнаго господства безъ того, чтобы не имѣть временно народъ своимъ союзникомъ, безъ того, слѣдовательно, чтобы не выступать въ болѣе или менѣе демократическомъ духѣ.

Но желать непосредственно связать эпоху реставраціи съ іюльской эпохой, желать дать возможность буржуазіи, еще во время ея борьбы съ абсолютизмомъ, феодализмомъ, краутъ-юнкерствомъ, солдатчиной и бюрократіей, уже лишить народъ завоеваній революціи, уже подчинить его себѣ и оставить его ни съ чѣмъ,—это квадратура круга, это такая историческая проблема, о которую разобьетъ себѣ голову даже „министерство дѣйствія“, даже тріумвиратъ Ганземанъ-Кильветтеръ-Мильде.

* * *

Кельнъ, 29 іюня. Если бы тотъ или другой житель Рейнской провинціи когда-нибудь забылъ, чѣмъ онъ обязанъ „иноземному владычеству“, „тираніи корсиканскаго тирана“, пусть онъ тогда прочитаетъ проектъ законовъ о безвозмездномъ уничтоженіи различныхъ налоговъ и податей, который господинъ Ганземанъ доставилъ въ 1848 г.—въ годъ милости — своимъ „примиренцамъ“ „для разъясненія“. Ленные налоги, аллодификаціонные налоги, налоги лучшей головой скота, судебные налоги, штемпельныя повинности, кровавая десятина, наличныя повинности и т. д., и т. д., какъ чуждо, какъ варварски звучатъ эти нелѣпыя названія для нашего уха, ставшаго цивилизованнымъ, благодаря французской революціи, разрушившей феодализмъ, и благодаря кодексу Наполеона! Какъ непонятна для насъ вся эта масса средневѣковыхъ повинностей и податей, этотъ естественный кабинетъ гнилой ветоши допотопнаго времени!

И все-таки обнажи голову, нѣмецкій патріотъ,—ты на

священной землѣ! Эти дикости являются остатками христіанско-германскаго [illegible] цѣпи, тянущейся черезъ [illegible] съ величіемъ твоихъ [illegible]! Этотъ затхлый воздухъ [illegible] ты здѣсь находишь въ [illegible], является исключительно [illegible] отечества, и истый нѣмецъ [illegible]:

[illegible] Heimatluft!
[illegible] Wange empfand'es,
[illegible] Ausstrassenkoth, er ist
[illegible] Vaterlandes! *)

[illegible] на первый взглядъ кажется, [illegible] земледѣлія, господинъ Гирке, со[illegible] господина Ганземана, страшно [illegible] онъ однимъ росчеркомъ пера [illegible] средневѣковый періодъ, и все, понятно, [illegible]

[illegible] внимательно всмотрѣвшись въ мотивы [illegible] что они прямо начинаются съ указа[illegible] собственно никакія феодальныя тяготы не [illegible] безвозмездно уничтожены, т.-е. начинаютъ со [illegible] утвержденія, которое прямо противорѣчитъ смѣ[illegible]

Между этими двумя смѣлыми крайностями осторожно и предусмотрительно лавируетъ практически-робкій господинъ министръ. Слѣва—„общественное благополучіе“ и „требованія духа времени“, справа—„благопріобрѣтенныя права вассаловъ“, въ серединѣ—„достохвальная мысль о болѣе свободномъ развитіи отношеній въ деревнѣ“, и все это воплощено въ позорно затруднительномъ положеніи господина Гирке,—что за картина!

*) Это воздухъ моей родины, горящія щеки чувствуютъ его, и грязь, лежащая на дорогахъ,—нашъ отечественный навозъ!

Довольно! Господинъ Гирке окончательно признаетъ, что въ общемъ феодальныя тяготы должны быть уничтожены только съ вознагражденіемъ. Благодаря этому сохраняются или—такъ какъ они въ дѣйствительности уже уничтожены самими крестьянами—снова вводятся самые тяжелые, самые распространенные, самые главные налоги.

Но господинъ Гирке думаетъ, что „если, тѣмъ не менѣе, отдѣльныя повинности, оправданіе которыхъ недостаточно, или продолжительность существованія которыхъ не соотвѣтствуютъ требованіямъ духа времени и общественному благополучію, будутъ уничтожены безъ вознагражденія, —то пострадавшіе отъ этого не должны забывать, что имъ приходится приносить нѣкоторыя жертвы не только ради общаго блага, но и ради своихъ правильно понятыхъ интересовъ, дабы сдѣлать отношенія привилегированныхъ и обязанныхъ мирными и дружелюбными и этимъ сохранить за землевладѣльцами такое положеніе въ государствѣ, какое имъ должно принадлежать во имя блага всего общества".

Революція въ деревнѣ состояла въ дѣйствительномъ уничтоженіи всѣхъ феодальныхъ повинностей. „Министерство дѣйствія", которое въ принципѣ признаетъ революцію, признаетъ ее въ деревнѣ такимъ образомъ, что тутъ же на мѣстѣ ее уничтожаетъ. Вернуть весь старый Status quo невозможно; крестьяне безъ дальнихъ словъ перебили бы феодальныхъ бароновъ,—это ясно самому господину Гирке. Поэтому торжественно уничтожаютъ рядъ незначительныхъ, только кой-гдѣ существующихъ феодальныхъ налоговъ и возстановляютъ снова главныя феодальныя повинности, которыя заключаются въ одномъ простомъ словѣ—*барщина*.

Аристократія, уничтоженіемъ всѣхъ этихъ ея правъ, не теряетъ и 50,000 талеровъ ежегодно, а спасаетъ этимъ много милліоновъ. Да, и министръ, какъ онъ надѣется, помирится такимъ образомъ съ крестьянами, въ будущемъ

при выборахъ въ парламентъ пріобрѣтетъ даже ихъ голоса. Дѣйствительно, дѣльце было бы выгодное, если бы господинъ Гирке только не ошибся въ расчетахъ!

Недовольство крестьянъ, такимъ образомъ, будетъ устранено, а также недовольство аристократіи, по скольку она правильно пойметъ свое положеніе! Остаются только парламентъ и сомнѣнія юристовъ и радикаловъ, играющихъ въ послѣдовательность. Разница между повинностями, подлежащими уничтоженію и не подлежащими уничтоженію,— разница, являющаяся не чѣмъ инымъ, какъ разницей между повинностями незначительными и повинностями, очень значительными, должна по желанію парламента получить кажущееся юридическое и экономическое оправданіе. Господинъ Гирке долженъ доказать, что повинности, подлежащія уничтоженію: 1) имѣютъ недостаточное оправданіе, 2) противорѣчатъ общественному благу, 3) противорѣчатъ требованіямъ духа времени, 4) что уничтоженіе ихъ въ сущности не является нарушеніемъ правъ частной собственности, что оно не является безвозмездной экспропріаціей.

Чтобы доказать недостаточное оправданіе существованія этихъ податей и повинностей, господинъ Гирке углубляется въ самую мрачную область леннаго права. Господинъ Гирке призываетъ въ свидѣтели „первоначально страшно медленное развитіе германскихъ государствъ въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія“. Но какой толкъ изъ этого господину Гирке? Чѣмъ больше онъ углубляется, чѣмъ болѣе онъ копается въ стоячемъ болотѣ феодальнаго права, тѣмъ болѣе убѣждается онъ не въ недостаточномъ, а наоборотъ, въ очень даже солидномъ оправданіи, съ точки зрѣнія феодализма, спорныхъ повинностей; и несчастный министръ становится всеобщимъ посмѣшищемъ, когда онъ изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы заставить феодализмъ произносить изреченія современнаго гражданскаго права, когда онъ хочетъ заставить барона феодала XII вѣка мыслить и судить, подобно буржуа XIX вѣка.

Къ счастью, господинъ Гирке унаслѣдовалъ основное положеніе господина фонъ-Патова: все, что основано на ленномъ правѣ и наслѣдственномъ подданствѣ, должно быть безвозмездно отмѣнено, все же остальное должно быть временно оставлено. Но неужели господинъ Гирке думаетъ, что нужно очень много остроумія для того, чтобы доказать ему, что повинности, не подлежащія безвозмездной отмѣнѣ, въ общемъ также основаны на ленномъ правѣ?

Намъ, разумѣется, не приходится добавлять, что господинъ Гирке въ интересахъ послѣдовательности подъ сурдинку подмѣнивалъ феодальныя понятія о правѣ современнымъ понятіемъ о правѣ и въ крайней нуждѣ всегда апеллировалъ къ послѣднему. Но если господинъ Гирке нѣкоторыя изъ этихъ повинностей разсматриваетъ съ точки зрѣнія современнаго права, то совершенно непонятно, почему бы ему не сдѣлать того же и относительно всѣхъ остальныхъ повинностей. Но понятно, что тогда барщинѣ не уцѣлѣть бы передъ свободою личности и имущества.

Но еще хуже обстоятъ дѣла господина Гирке съ его дѣленіемъ повинностей на подлежащія отмѣнѣ и неподлежащія отмѣнѣ, когда онъ приводитъ, какъ аргументъ, общественное благо и требованія духа времени. Вѣдь это само собою понятно: если эти незначительныя повинности противорѣчатъ общественному благу и противорѣчатъ требованіямъ духа времени, то къ барщинѣ, отработкамъ, лаудеміямъ и т. д. это относится въ еще большей степени. Или, можетъ быть, господинъ Гирке находитъ, что право ощипывать крестьянскихъ гусей не соотвѣтствуетъ духу времени (§ 1, № 14), а право ощипывать самихъ крестьянъ вполнѣ соотвѣтствуетъ духу времени?

Далѣе слѣдуетъ доказательство того, что уничтоженіе упомянутыхъ повинностей ничьихъ правъ собственности не нарушаетъ. Доказательство этой вопіющей лжи, естественно, можетъ быть только призрачнымъ и провести его

можно, только доказавъ рыцарскому сословію, будто эти повинности для него не имѣютъ никакого значенія, а что онѣ не имѣютъ никакого значенія,—это можно, разумѣется, доказать только приблизительно. Господинъ Гирке старательно разбираетъ всѣ 18 пунктовъ перваго параграфа и не замѣчаетъ, что по скольку ему удается доказать, что спорныя повинности все равно не имѣютъ уже никакого значенія, по стольку же онъ доказываетъ и то, что самый его законопроектъ никакого значенія не имѣетъ. Добрѣйшій господинъ Гирке! Какъ намъ тяжело разрушать его сладкія мечты и разстраивать его феодальный архимедовъ кругъ!

Но вотъ еще одно затрудненіе! При прежнихъ выкупахъ отъ нынѣ подлежащихъ уничтоженію повинностей, какъ и при всякихъ выкупахъ, подкупленныя комиссіи ужасно грабили крестьянъ въ пользу аристократіи. Теперь крестьяне требуютъ пересмотра всѣхъ выкупныхъ договоровъ, заключенныхъ при старомъ правительствѣ, и они совершенно правы.

Но господинъ Гирке ничего не можетъ подѣлать. „Этому противорѣчитъ формальное право и законъ“, которые въ такомъ случаѣ вообще противорѣчатъ всякому прогрессу, такъ какъ всякій новый законъ уничтожаетъ формальное право и старый законъ; „можно съ увѣренностью предсказать, что отъ того, что въ пользу обязанныхъ будутъ приняты мѣры путемъ, противорѣчащимъ основнымъ законамъ всѣхъ временъ (революціи также противорѣчатъ основнымъ законамъ всѣхъ временъ), послѣдствіемъ будетъ неисчислимое зло для очень большой части землевладѣльцевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ (!) и для государства“. И вотъ господинъ Гирке съ удивительной основательностью доказываетъ, что подобный образъ дѣйствія сдѣлаетъ сомнительнымъ и потрясетъ самое правовое положеніе землевладѣнія, и этимъ, въ связи съ многочисленными процессами и расходами, нанесетъ землевладѣнію, этой главной основѣ національнаго благостоянія, неизлѣчимую рану“;

что „вмѣшательство въ область основного законодательства есть нарушеніе дѣйствительности договоровъ, есть покушеніе на неоспоримыя договорныя отношенія, что должно имѣть послѣдствіемъ потерю всякаго довѣрія къ устойчивости гражданскаго права, и что все это принесло бы самый существенный, угрожающій ущербъ всей общественной жизни".

Здѣсь, слѣдовательно, господинъ Гирке усматриваетъ покушеніе на частную собственность, которое уничтожило бы всѣ основные законы. А почему безвозмездное уничтоженіе спорныхъ повинностей не является такимъ покушеніемъ? Тутъ имѣютъ мѣсто не только неоспоримыя договорныя отношенія, здѣсь рѣчь идетъ о правахъ, съ незапамятныхъ временъ признанныхъ и никѣмъ не оспоренныхъ, межъ тѣмъ какъ тѣ договоры, ревизіи которыхъ крестьяне добиваются, ни въ коемъ случаѣ не могутъ считаться неоспоримыми, такъ какъ подкупъ и надувательство при ихъ составленіи завѣдомо извѣстны и во многихъ случаяхъ доказуемы.

Мы не можемъ отрицать, что, какъ ни незначительны уничтожаемыя повинности, господинъ Гирке, уничтожая и ихъ, „принимаетъ мѣры въ пользу обязанныхъ путемъ, противорѣчащимъ основнымъ законамъ всѣхъ временъ", путемъ, которому „прямо противорѣчитъ формальное право и законъ"; онъ „колеблетъ всѣ правовыя основы землевладѣнія", онъ подкапывается подъ самыя неоспоримыя права.

Въ самомъ дѣлѣ, господинъ Гирке, стоило ли такъ тяжко согрѣшить, для того, чтобы достигнуть такихъ жалкихъ результатовъ?

Господинъ Гирке во всякомъ случаѣ нарушаетъ права собственности, это безспорно. Но не современной буржуазной собственности, а собственности феодальной. Буржуазную собственность, которая вырастаетъ на развалинахъ феодальной, онъ усиливаетъ этимъ уничтоженіемъ собственности феодальной. И онъ только потому не хо-

четъ ревизовать выкупныхъ договоровъ, что этими договорами феодальныя отношенія собственности были превращены въ буржуазныя, только потому, что онъ не можетъ ихъ ревизовать, безъ того, чтобы одновременно не нарушить права буржуазной собственности. А буржуазная собственность, понятно, настолько же священна и неприкосновенна, насколько нарушеніе феодальной собственности допускается, и насколько эта феодальная собственность, по мѣрѣ необходимости и степени куража господина министра, прикосновенна.

Какова же дѣйствительная сущность этого закона? Самое ясное доказательство, что „нѣмецкая революція" 1848 года есть лишь пародія французской революціи 1789 года.

4-го августа 1879 года, три недѣли спустя послѣ взятія Бастиліи, французскій народъ въ одинъ день осилилъ всѣ феодальныя повинности.

11-го іюля 1848 года, четыре мѣсяца спустя послѣ мартовскихъ баррикадъ, феодальныя повинности осилили нѣмецкій народъ, teste Gierke cum Hansemanno *).

Французская буржуазія 1789 года ни на минуту не покидала своихъ союзниковъ, крестьянъ. Она знала, что основой ея господства было уничтоженіе феодализма въ деревнѣ, сознаніе свободнаго землевладѣльческаго крестьянскаго класса.

Нѣмецкая буржуазія 1848 года безъ всякаго зазрѣнія совѣсти предаетъ крестьянъ, своихъ самыхъ естественныхъ союзниковъ, которые представляютъ изъ себя плоть отъ ея плоти, и безъ которыхъ она безсильна противъ дворянства.

Сохраненіе феодальныхъ повинностей, санкціонированіе ихъ подъ видомъ (иллюзорнаго) выкупа—таковъ результатъ нѣмецкой революціи 1848 года. Гора родила мышь.

*) Свидѣтели Гирке съ Ганземаномъ.

СКУКИ РАДИ.

...Извергая клубы тяжелаго сѣраго дыма, пассажирскій поѣздъ, какъ огромное пресмыкающееся, исчезалъ въ степной дали, въ желтомъ морѣ хлѣбовъ. Вмѣстѣ съ дымомъ поѣзда въ знойномъ воздухѣ таялъ сердитый шумъ, нарушавшій въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ равнодушное молчаніе широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая желѣзнодорожная станція возбуждала своимъ одиночествомъ чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шумъ поѣзда разсѣялся и замеръ подъ яснымъ куполомъ безоблачнаго неба, вокругъ станціи снова воцарилась угнетающая тишина, и съ нею унылое однообразіе степи увеличилось.

Степь была золотисто-желтая, небо—ярко-голубое. И та, и другое были необъятно велики; коричневыя постройки станціи, брошенной среди нихъ, производили впечатлѣніе случайнаго мазка, портившаго центръ меланхолической картины, трудолюбиво написанной художникомъ, лишеннымъ фантазіи и вдохновенія.

Ежедневно въ 12 дня и въ 4 пополудни къ станціи приходятъ изъ степи поѣзда и стоятъ по двѣ минуты. Эти четыре минуты—главное и единственное развлеченіе станціи: онѣ приносятъ съ собой впечатлѣнія ея служащимъ.

Въ каждомъ поѣздѣ толпа разнообразныхъ людей,

разнообразно одѣтыхъ. Они являются на мигъ; въ окнахъ вагоновъ мелькнутъ ихъ утомленныя, нетерпѣливыя, равнодушныя лица—звонокъ, свистки—и съ грохотомъ, возбуждающимъ нервы, они уносятся въ степь, вдаль, въ города, гдѣ кипитъ шумная жизнь.

Служащимъ станціи, скучающимъ въ своемъ одиночествѣ, любопытно видѣть эти лица и, проводивъ поѣздъ, они дѣлятся другъ съ другомъ наблюденіями, схваченными на-лету. Вокругъ нихъ лежитъ молчаливая степь и надъ ними равнодушное небо, а въ ихъ сердцахъ смутная зависть къ тѣмъ людямъ, которые ежедневно куда-то стремятся мимо нихъ, тогда какъ они остаются, заключенные въ пустынѣ, живя какъ бы внѣ жизни и имѣя возможность видѣть людей только въ продолженіе четырехъ минутъ.

И вотъ, проводивъ поѣздъ, они стоятъ на перронѣ станціи, провожая глазами черную ленту, исчезающую въ золотомъ морѣ хлѣба, и молчатъ подъ впечатлѣніемъ жизни, пролетѣвшей мимо нихъ.

Они почти всѣ тутъ: начальникъ станціи—добродушный и полный блондинъ съ большими казацкими усами; его помощникъ—рыжеватый молодой человѣкъ съ острой бородкой; станціонный сторожъ Лука—маленькій, юркій и хитрый, и одинъ изъ стрѣлочниковъ—Гомозовъ, плотный, широкобородый, молчаливый мужикъ съ лицомъ серьезнымъ и сытымъ.

На скамьѣ у двери станціи сидитъ жена начальника, маленькая и толстая женщина, сильно страдающая отъ жары. На колѣняхъ у нея спитъ ребенокъ, и лицо у него такое же пухлое и красное, какъ у матери.

Поѣздъ скрывается подъ уклономъ, и кажется, что онъ зарылся въ землю.

Тогда начальникъ станціи говоритъ, обращаясь къ женѣ:

— А что, Соня, самоваръ готовъ?

— Конечно,—лѣниво и тихо отвѣчаетъ она.

— Лука! Ты тутъ, тово... подмети полотно и перронъ... видишь—сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвѣй Егоровичъ...

— Да... ну что же? Будемъ чай пить, Николай Петровичъ?

— По обыкновенію...—говоритъ помощникъ.

А послѣ провода дневного поѣзда Матвѣй Егоровичъ спрашиваетъ жену:

— А что, Соня, обѣдъ готовъ?

Потомъ онъ отдаетъ приказаніе Лукѣ, всегда одно и то же; приглашаетъ помощника, который столуется у нихъ:

— Ну, что же? Будемъ обѣдать?

А помощникъ резонно отвѣчаетъ ему:

— Какъ всегда...

Уходятъ съ перрона въ комнату, гдѣ много цвѣтовъ и мало мебели, гдѣ пахнетъ кухней и пеленками, и тамъ, вокругъ стола, разговариваютъ о томъ, что промелькнуло мимо нихъ.

— Замѣтили, Николай Петровичъ, во второмъ классѣ брюнеточку въ желтомъ? Ядовитая штукенція!..

— Не дурна, но одѣта безвкусно... — отвѣчаетъ помощникъ.

Онъ всегда говоритъ кратко и увѣренно, потому что считаетъ себя человѣкомъ, знающимъ жизнь и образованнымъ. Онъ кончилъ гимназію. У него есть тетрадка въ черномъ коленкорѣ; онъ записываетъ въ нее разныя изреченія знаменитостей, вылавливая ихъ изъ фельетоновъ газетъ и книгъ, случайно попадающихъ въ его руки. Начальникъ безспорно признаетъ его авторитетъ во всемъ, что не касается службы, и слушаетъ его внимательно. Особенно ему нравятся премудрости изъ тетрадки Николая Петровича, и онъ всегда простодушно восхищается ими. Замѣчаніе помощника о костюмѣ брюнетки вызываетъ у Матвѣя Егоровича вопросъ:

— Развѣ желтое не къ лицу брюнеткамъ?

— Я говорю о фасонѣ, а не о цвѣтѣ, — объясняетъ Николай Петровичъ, аккуратно накладывая варенье изъ стеклянной вазы себѣ на блюдечко.

— Фасонъ—это другое дѣло...—соглашается начальникъ.

Въ разговоръ вступаетъ его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но, такъ какъ умы этихъ людей мало изощрены, разговоръ тянется медленно и рѣдко волнуетъ ихъ чувства.

А въ окно смотритъ степь, очарованная молчаніемъ, и небо, важное въ своемъ великолѣпномъ спокойствіи.

Почти каждый часъ являются товарные поѣзда, но прислуга, сопровождающая ихъ, давно знакома. Всѣ эти кондуктора—люди полусонные, подавленные скучной ѣздой по степи. Впрочемъ, иногда они разсказываютъ о происшествіяхъ на линіи: на такой-то верстѣ раздавили человѣка; или говорятъ о новостяхъ по службѣ: тотъ оштрафованъ, этотъ переведенъ. Эти новости не обсуждаются—ихъ пожираютъ, какъ лакомки пожираютъ вкусное и рѣдкое блюдо.

А солнце медленно сползаетъ съ неба на край степи, и когда оно тамъ почти коснется земли, то становится багровымъ. На степь ложится красноватое освѣщеніе, возбуждающее тоскливое чувство неудовлетворенности, смутное влеченіе куда-то вдаль, вонъ изъ этой пустоты. Потомъ солнце прикасается краемъ къ землѣ и лѣниво уходитъ въ нее или за нее. Въ небѣ еще долго послѣ него тихо играетъ музыка яркихъ цвѣтовъ вечерней зари, но она все блѣднѣетъ, и наступаютъ сумерки, теплыя и молчаливыя. Вспыхиваютъ звѣзды и трепещутъ въ небѣ, точно испуганныя скукой на землѣ.

Въ сумеркахъ степь суживается; на станцію со всѣхъ сторонъ безшумно ползетъ тьма ночи. И вотъ приходитъ ночь, черная и угрюмая.

На станціи зажигаютъ огни; ярче и выше всѣхъ

ихъ зеленоватый огонь семафора. Вокругъ него тьма и молчаніе.

Порой раздается звонокъ,—повѣстка къ поѣзду; торопливый звукъ колокола несется въ степь и быстро тонетъ въ ней.

Вскорѣ послѣ звонка изъ темной дали выбѣгаетъ красный сверкающій огонь, и тишина въ степи содрогается отъ глухого грохота поѣзда, идущаго къ одинокой станціи, окруженной тьмой.

Низшій слой маленькаго общества на станціи живетъ нѣсколько иначе, чѣмъ аристократія. Сторожъ Лука вѣчно борется съ желаніемъ сбѣгать къ женѣ и брату въ деревню, за семь верстъ отъ станціи. Тамъ у него хозяйство, какъ онъ говоритъ Гомозову, когда проситъ этого молчаливаго и степеннаго стрѣлочника „подежурить“ на станціи.

При словѣ „хозяйство“ Гомозовъ всегда тяжело вздыхаетъ и говоритъ Лукѣ:

— Что-жъ, поди. Хозяйство требуетъ присмотра, это вѣрно...

А другой стрѣлочникъ, Аѳанасій Ягодка, старый солдатъ съ круглымъ, краснымъ лицомъ въ сѣдой щетинѣ, человѣкъ насмѣшливый и злобный, не вѣритъ Лукѣ.

— Хозяйство! — восклицаетъ онъ, усмѣхаясь. — Жена! Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ахъ ты, птичій губернаторъ!—презрительно откликается Лука.

Онъ зоветъ Ягодку птичьимъ губернаторомъ за то, что старый солдатъ страстно любитъ птицъ. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увѣшана клѣтками и садками; въ ней, какъ и вокругъ нея, цѣлый день, не смолкая, раздается птичій гамъ. Плѣнепные солдатомъ перепела неустанно кричатъ свое однообразное „подь-

полоть", скворцы бормочутъ длинныя рѣчи, разноцвѣтныя маленькія птички неустанно щебечутъ, свистятъ и поютъ, услаждая одинокую жизнь солдата. Онъ возится съ ними все свое свободное время и, относясь къ нимъ ласково и заботливо, не обнаруживаетъ никакого интереса къ товарищамъ. Луку онъ зоветъ ужомъ, Гомозова—кацапомъ и, не стѣсняясь, говоритъ имъ въ глаза, что оба они „бабьи прихвостни" и что слѣдовало бы за это бить ихъ.

Лука на его слова мало обращаетъ вниманія, но если солдату удастся раздражить его, Лука долго и ѣдко ругаетъ его:

— Гарниза ты сѣрая, крысиный объѣдокъ! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщикъ? Гонялъ ты всю свою жизнь лягушекъ изъ-подъ пушекъ, да полковую капусту караулилъ... твое ли дѣло разсуждать? Пошелъ къ перепеламъ, ими и командуй, птичій командиръ!

Ягодка, спокойно выслушавъ ругательства сторожа, шелъ жаловаться на него начальнику станціи, а тотъ кричалъ, чтобы къ нему не лѣзли съ пустяками, и гналъ солдата прочь. Тогда Ягодка находилъ Луку и уже самъ начиналъ ругать его—не горячась, спокойно, тяжеловѣсными и сквернымъ словами, отъ которыхъ Лука скоро убѣгалъ, отплевываясь.

Гомозовъ на обличенія солдата отвѣчалъ вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь съ этимъ... Конечно... баловство это... но, между прочимъ, не суди, да не осужденъ будешь...

Однажды солдатъ отвѣтилъ ему, усмѣхаясь:

— Заладила сорока Якова—одно про всякаго! Не суди, не суди... а коли не судить другихъ, такъ людямъ не о чемъ и разговаривать...

Кромѣ жены начальника, на станціи была еще одна женщина—это кухарка. Звали ее Арина, ей было лѣтъ подъ сорокъ и была она очень некрасива: коренастая, съ отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь съ ноги на ногу, и на ея рябомъ лицѣ блестѣли узкіе испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое въ ея нескладной фигурѣ, и толстыя губы ея постоянно складывались такъ, точно она хотѣла просить прощенія у всѣхъ людей, валяться въ ногахъ у нихъ и не смѣла плакать. Гомозовъ прожилъ на станціи восемь мѣсяцевъ, не обращая особеннаго вниманія на Арину; встрѣчаясь съ нею, онъ говорилъ ей „здорово“, она отвѣчала ему тѣмъ же, перекидывались двумя-тремя фразами и затѣмъ расходились, каждый въ свою сторону. Но однажды Гомозовъ пришелъ въ кухню начальника станціи и предложилъ Аринѣ сшить ему рубахъ. Она согласилась и, сшивъ рубахи, зачѣмъ-то сама понесла ихъ къ нему.

— Вотъ и спасибо!—сказалъ Гомозовъ.—Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть—тридцать копеекъ слѣдуетъ тебѣ... Вѣрно?

— Да ужъ такъ...—отвѣтила Арина.

Гомозовъ задумался и долго молчалъ.

— А ты какой губерніи?—спросилъ онъ, наконецъ, женщину, все время смотрѣвшую на его бороду.

— Рязанской...—сказала она.

— Издалека! А сюда какъ же попала?

— А такъ... одна я... одинокая...

— Отъ этого и дальше можно зайти... — вздохнулъ Гомозовъ.

И снова они долго молчали.

— Вотъ и я тоже. Нижегородскій я, Сергачевскаго уѣзда...—заговорилъ Гомозовъ.—Вотъ и я тоже одинъ, весь тутъ. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дѣти — двое. Жена умерла въ холеру, а дѣти просто

такъ... А я того... замотался съ горя. Да-а... Потомъ пробовалъ опять устроиться—анъ нѣтъ, развинтилась машина, не работаетъ. Ну и пошелъ... на сторону, стало быть, со своей дороги... вотъ и бьюсь третій годъ ужъ...

— Плохо, когда нѣтъ своего гнѣзда,—тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Дѣвка...

— Гдѣ ужъ, чай!—откровенно усомнился Гомозовъ.

— Ей-Богу, дѣвка,—увѣрила его Арина.

— Что же замужъ не вышла?

— Кто возьметъ меня? Безо всего я... кому корысть... да и съ лица некрасивая...

— Да-а...—задумчиво протянулъ Гомозовъ и, поглаживая бороду, сталъ пытливо смотрѣть на нее. Потомъ справился, сколько она получаетъ жалованья.

— Два съ полтиной...

— Такъ. Ну... значитъ, тридцать копеекъ тебѣ съ меня? Вотъ что... ты приди-ка вечеромъ за ними... часовъ этакъ въ десять, а? Я тебѣ и отдамъ... чаю попьемъ, поговоримъ скуки ради... Оба мы одинокіе... приходи!

— Приду...—просто сказала она и ушла.

Потомъ, придя къ нему аккуратно въ десять часовъ вечера, ушла отъ него уже на разсвѣтѣ.

Гомозовъ больше не звалъ ее къ себѣ и тридцати копеекъ ей не отдавалъ. Она сама явилась къ нему, тупая и покорная, пришла и молча стала передъ нимъ. Онъ, лежа на койкѣ, посмотрѣлъ на нее и, подвинувшись къ стѣнѣ, сказалъ:

— Садись.

А когда она сѣла, объявилъ ей:

— Ты вотъ что—храни это въ секретѣ. Чтобы никто ни-ни! А то мнѣ будетъ нехорошо... я не молоденькій, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, онъ далъ ей свою одежду для починки и опять напомнилъ ей:

— Чтобы ни одна душа—ни-ни!

Такъ они и зажили, пряча отъ всѣхъ свою связь.

Арина прокрадывалась къ нему по ночамъ чуть не ползкомъ. Онъ принималъ ее снисходительно, съ видомъ властелина, и порой откровенно говорилъ ей:

— А и дурна же ты съ лица!

Она молча улыбалась ему блѣдной и виноватой улыбкой и, уходя отъ него, почти всегда уносила съ собой какую-нибудь работу, данную имъ.

Видѣлись они не часто. Но иногда Гомозовъ, встрѣчая ее гдѣ-нибудь на станціи, вполголоса говорилъ ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась къ нему, съ такимъ серьезнымъ выраженіемъ на своемъ рябомъ лицѣ, какъ будто пришла затѣмъ, чтобы выполнить долгъ, важность котораго стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лицѣ ея уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь гдѣ-нибудь въ уголкѣ или за деревомъ, подолгу смотрѣла въ степь. Тамъ царила ночь, и отъ суроваго молчанія ея на сердцѣ становилось жутко.

Однажды, проводивъ вечерній поѣздъ, станціонное начальство устроило чаепитіе въ саду, передъ окнами квартиры Матвѣя Егоровича, въ густой тѣни тополей.

Въ жаркіе дни они часто дѣлали такъ,—это все-таки вносило нѣкоторое разнообразіе въ монотонность ихъ жизни.

Пили чай и молчали, уже исчерпавъ всѣ впечатлѣнія, данныя поѣздомъ.

— А сегодня жарче вчерашняго,—сказалъ Матвѣй Егоровичъ, одной рукой передавая пустой стаканъ женѣ, а другой отирая потъ съ лица.

Жена, принимая стаканъ, объявила:

— Это отъ скуки кажется, что жарче...

— Гмъ! Пожалуй... дѣйствительно... скучно жить! Вотъ карты хороши въ этомъ случаѣ... но насъ только трое...

Николай Петровичъ повелъ плечами и, прищуривъ глаза, отчетливо произнесъ:

— Карточная игра, по выраженію Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко!—умилился Матвѣй Егоровичъ.—Какъ это? банкротство мысли... да-а! А кто сказалъ?

— Шопенгауэръ, нѣмецъ, философъ...

— Фи-илософъ? Мм...

— А что эти философы—въ университетахъ служатъ?—полюбопытствовала Софья Ивановна.

— Т.-е. какъ вамъ сказать? Это не чинъ, а... такъ сказать, природная способность... Философомъ можетъ быть всякій... кто родится съ привычкой думать и во всемъ искать начало и конецъ. Конечно, и въ университетахъ бываютъ философы... но они могутъ быть и просто такъ... даже служить на желѣзной дорогѣ.

— И много получаютъ тѣ, которые при университетахъ?

— Глядя по... уму...

— Но, если бы былъ четвертый—премило бы мы повинтили!—со вздохомъ сказалъ Матвѣй Егоровичъ.

И разговоръ оборвался.

Въ синемъ небѣ поютъ жаворонки, по тополямъ прыгаютъ съ вѣтки на вѣтку малиновки и тихо свистятъ. Въ комнатѣ плачетъ ребенокъ.

— Арина тамъ?—спрашиваетъ Матвѣй Егоровичъ.

— Конечно...—кратко отвѣчаетъ ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы замѣтьте, Николай Петровичъ...

— Оригинальность—первый оттискъ банальности,—какъ бы про-себя говоритъ Николай Петровичъ, имѣя видъ задумчивый и мыслящій.

— Какъ?—оживляется начальникъ.

И когда Николай Петровичъ вразумительно повторяетъ изреченіе, онъ сладко щуритъ глаза, а Софья Ивановна томнымъ голоскомъ говоритъ:

— Какъ вы хорошо помните то, что читали... а я вотъ прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вотъ недавно въ книжкѣ „Нива“ прочитала что-то такое интересное, такое забавное, а что—ни слова не помню!

— Привычка... — кратко объясняетъ Николай Петровичъ.

— Нѣтъ, это лучше этого... Какъ его? Шопенгауэра...— улыбаясь, говоритъ Матвѣй Егоровичъ.—Выходитъ, что все новое будетъ старымъ!

— И наоборотъ, ибо одинъ поэтъ сказалъ: „да, экономна мудрость бытія — все новое въ ней шьется изъ старья“.

— Фу, ты, чортъ! Какъ это у васъ... точно изъ рѣшета сыплется!

Матвѣй Егоровичъ довольно смѣется, его жена мило улыбается, а Николай Петровичъ польщенъ и безуспѣшно хочетъ скрыть это.

— Кто это сказалъ насчетъ банальности-то?

— Барятинскій, поэтъ.

— А другое?

— Тоже поэтъ—Фофановъ.

— Ловкачи!—одобряетъ поэтовъ Матвѣй Егоровичъ и нараспѣвъ, съ улыбкой удовольствія на лицѣ, повторяетъ двустишье.

Скука какъ бы играетъ съ ними—на минуту освободитъ ихъ отъ своихъ тѣсныхъ объятій и снова обниметъ. Тогда опять они молчатъ, отдуваясь отъ жары, увеличиваемой чаемъ.

Въ степи—только солнце.

— Да, такъ я заговорилъ объ Аринѣ...—вспоминаетъ Матвѣй Егоровичъ. — Странная эта баба, смотрю я на

нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чѣмъ-то,—не смѣется она, не поетъ, говоритъ мало... пень какой-то! Но между тѣмъ она очень хорошо работаетъ и такъ, знаете, возится съ Лелей, такъ внимательна къ ребенку...

Онъ говоритъ тихо, не желая, чтобы Арина черезъ окно услыхала его слова. Онъ знаетъ, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебиваетъ его, многозначительно хмурясь:

— Ну, ужъ ты оставь... ты не все знаешь о ней.

„Любви раба,
„Я такъ слаба
„Въ борьбѣ съ тобой,
„О, демонъ мой!—“

тихонько и речитативомъ напѣваетъ Николай Петровичъ, отбивая тактъ по столу ложкой. Онъ улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну, это вы ужъ врете оба!

И Матвѣй Егоровичъ громко хохочетъ. Щеки у него трясутся, и со лба быстро стекаютъ капельки пота.

— Это совсѣмъ даже не смѣшно! — останавливаетъ его жена.—Во-первыхъ, у нея на рукахъ ребенокъ; во-вторыхъ, видишь—хлѣбъ какой? Перекисъ, подгорѣлъ... А почему?

— Да-а, хлѣбъ, дѣйствительно, не того... нужно ей сдѣлать внушеніе! Но, ей-Богу! это... этого я не ожидалъ! Она вѣдь—тѣсто! Ахъ, ты, чортъ возьми! Но онъ, кто онъ? Лукашка? Я-жъ его высмѣю, стараго чорта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозовъ...—кратко говоритъ Николай Петровичъ.

— Ну-у? Такой степенный мужикъ? О-о? Да вы не того... не сочиняете, а?

Матвѣя Егоровича очень занимаетъ эта уморительная исторія. Онъ то хохочетъ съ увлаженными глазами, то серьезно говоритъ о необходимости сдѣлать влюбленнымъ строгое внушеніе, потомъ представляетъ себѣ нѣжные разговоры между ними и снова оглушительно хохочетъ.

Наконецъ, онъ увлекается. Тогда Николай Петровичъ дѣлаетъ строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрываетъ мужа.

— Ахъ, черти! Ну и посмѣюсь же я надъ ними! Это интересно...—не унимается Матвѣй Егоровичъ.

Является Лука и докладываетъ:

— Телеграпъ стучитъ...

— Иду. Давай повѣстку 42-му.

Скоро онъ съ помощникомъ уходитъ на станцію, гдѣ Лука дробно отбиваетъ въ колоколъ повѣстку. Николай Петровичъ садится къ аппарату, запрашивая сосѣднюю станцію: „могу ли отправить поѣздъ № 42“, а его начальникъ ходитъ по конторѣ, улыбается и говоритъ:

— А мы съ вами вышутимъ ихъ, чертей... все-таки, скуки ради, посмѣемся хоть немного...

Это позволительно... — соглашается Николай Петровичъ, дѣйствуя ключомъ аппарата.

Онъ знаетъ, что философъ долженъ выражаться лаконически.

Имъ очень скоро представилась возможность посмѣяться.

Какъ-то разъ, ночью, Гомозовъ пришелъ къ Аринѣ на погребъ, гдѣ она, по его приказанію и съ разрѣшенія начальницы, устроила себѣ постель среди различнаго хозяйственнаго хлама. Тутъ было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали въ темнотѣ пугающія очертанія; и когда Арина была одна среди нихъ—ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопахъ соломы съ открытыми глазами, все шептала про-себя молитвы, извѣстныя ей.

Гомозовъ пришелъ, долго и молча мялъ и тискалъ ее, а когда усталъ, то заснулъ. Но скоро Арина разбудила его тревожнымъ шопотомъ:

— Тимоѳей Петровичъ! Тимоѳей Петровичъ!

— Ну?—сквозь сонъ спросилъ Гомозовъ.

— Заперли насъ...

— Какъ такъ?—спросилъ онъ, вскакивая.

— Подошли и.. замкомъ...

— Врешь ты!..—испуганно и гнѣвно шепнулъ онъ, отталкивая ее отъ себя.

— Погляди самъ,—покорно сказала она.

Онъ всталъ и, задѣвая за все, что встрѣчалось на пути, подошелъ къ двери, толкнулъ ее и, помолчавъ, угрюмо сказалъ:

— Это солдатъ...

За дверью раздался ликующій хохотъ.

— Выпусти!—громко попросилъ Гомозовъ.

— Что?—раздался голосъ солдата.

— Выпусти, молъ...

— Утромъ выпустимъ,—сказалъ солдатъ и пошелъ прочь.

— Дежурство у меня, чортъ!—сердито и умоляюще крикнулъ Гомозовъ.

— Я подежурю... сиди, знай...

И солдатъ ушелъ.

— Ахъ, собака! — съ тоской прошепталъ стрѣлочникъ. — Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальникъ... что ты ему скажешь? Онъ спроситъ—гдѣ Гомозовъ — а? Вотъ ты и отвѣчай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальникъ самъ и велѣлъ ему,— тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальникъ? — испуганно переспросилъ Гомозовъ. — Зачѣмъ же это ему? И, помолчавъ, онъ крикнулъ ей: — Врешь ты!

Она отвѣтила тяжелымъ вздохомъ.

— Что же это будетъ?—спросилъ стрѣлочникъ, усаживаясь на кадку около двери.—Срамъ-то мнѣ какой! А все ты, уродина чортова, все ты это... у-у!

Сжавъ кулакъ, онъ погрозилъ въ сторону, откуда доносился звукъ ея дыханія. Она же молчала.

Сырая тьма окружала ихъ, тьма, пропитанная запахомъ кислой капусты, плѣсени и еще чего-то остраго, щекотавшаго носъ. Въ дверь сквозь щели пробивались ленты луннаго свѣта. За дверьми грохоталъ товарный поѣздъ, уходившій со станціи.

— Что молчишь, кикимора?—заговорилъ Гомозовъ со злобой и презрѣніемъ.—Какъ теперь я буду? Надѣлала дѣловъ и молчишь? Думай, чортъ, что будемъ дѣлать? Куда отъ сраму мнѣ дѣваться? Ахъ, ты, Господи, Боже мой! На что я связался съ этакой!..

— Я прощенія попрошу,—тихо объявила Арина.

— Ну?

— Можетъ, простятъ...

— Да мнѣ что изъ того? Ну простятъ тебя, ну? Вѣдь срамъ-то на мнѣ останется или нѣтъ? Надо мной смѣяться-то будутъ?

Помолчавъ, онъ снова начиналъ укорять и ругать ее. А время шло жестоко-медленно. Наконецъ, женщина съ дрожью въ голосѣ попросила его:

— Прости ты меня, Тимоѳей Петровичъ!

— Коломъ бы тебя по башкѣ простить!—зарычалъ онъ.

И опять наступило молчаніе, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли и злобы для двухъ людей, заключенныхъ во тьмѣ.

— Господи! хоть бы свѣтало скорѣе,—тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты... я те вотъ засвѣчу!—пригрозилъ ей Гомозовъ и снова началъ бросать въ нее тяжелыми укорами. Потомъ наступила пытка тишиной и молчаніемъ. А жестокость времени все увеличивалась съ приближеніемъ разсвѣта, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смѣшнымъ, позорнымъ и тяжелымъ положеніемъ этихъ людей.

Гомозовъ задремалъ, наконецъ, и проснулся отъ крика пѣтуха, раздавшагося рядомъ съ погребомъ.

— Эй, ты... вѣдьма! Спишь?—глухо спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—тяжелымъ вздохомъ отвѣтила Арина.

— А то бы заснула!—съ ироніей предложилъ стрѣлочникъ.—Эхъ, ты...

— Тимоѳей Петровичъ,—почти взвизгнувъ, воскликнула Арина,—не сердись ты на меня! Пожалѣй ты меня! Христомъ Богомъ прошу—пожалѣй! Одна вѣдь я, одна-то одинешенька! И ты мнѣ... родной ты мой—вѣдь ты мнѣ...

— Не вой, не смѣши людей-то!—строго остановилъ Гомозовъ истерическій шопотъ женщины, нѣсколько смягчавшій его.—Молчи ужъ... коли Богъ убилъ...

И снова они молча ждали каждой слѣдующей минуты. Но минуты шли, не принося имъ ничего. Вотъ, наконецъ, въ щеляхъ двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорѣзали тьму на погребѣ. Вскорѣ около погреба раздались шаги. Кто-то подошелъ къ двери, постоялъ и удалился.

— Мм-учители!—замычалъ Гомозовъ и плюнулъ. Снова ожиданіе, молчаливое и напряженное.

— Господи!.. помилуй...—прошептала Арина.

Какъ будто тихо подкрадываются къ погребу... Гремитъ замокъ, и раздается строгій голосъ начальника:

— Гомозовъ! Бери Арину за руку и выходи, ну, живо!..

— Иди ты!—вполголоса сказалъ Гомозовъ. Арина подошла и, опустивъ голову, стала рядомъ съ нимъ.

Двери отворились, передъ ними стоялъ начальникъ станціи. Онъ кланялся и говорилъ:

— Съ законнымъ бракомъ поздравляю! Пожалуйте! Музыка—играй!

Гомозовъ шагнулъ черезъ порогъ и остановился, оглушенный взрывомъ глупаго и нелѣпаго шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петровичъ.

Лука билъ кулакомъ по ведру и козлинымъ тено-

ромъ оралъ что-то; солдатъ игралъ на своемъ рожкѣ, а Николай Петровичъ махалъ въ воздухѣ рукой и, надувъ щеки, дѣлалъ губами, какъ труба:

— Пумъ! Пумъ! Пумъ-пумъ-пумъ!

Ведро дребезжало, рожокъ вылъ и ревѣлъ. Матвѣй Егоровичъ хохоталъ, взявшись за бока. Хохоталъ и его помощникъ при видѣ Гомозова, растерянно стоявшаго передъ ними, съ сѣрымъ лицомъ и сконфуженной улыбкой на дрожащихъ губахъ. За нимъ неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустивъ голову низко на грудь.

„Тимоѳею да Орина
Сладки рѣчи говорила...“

пѣлъ Лука какую-то ерунду и строилъ Гомозову отвратительныя рожи. А солдатъ придвинулся къ Гомозову и, подставивъ рожокъ къ его уху, игралъ, игралъ...

— Ну, идите... ну... подъ руку бери ее!.. — кричалъ начальникъ станціи, надрываясь отъ хохота. На крыльцѣ сидѣла жена и качалась изъ стороны въ сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будетъ... ахъ! умру!

„За мигъ свиданья
Терплю страданья!“

— пѣлъ Николай Петровичъ подъ самымъ носомъ Гомозова.

— Ур-ра новобрачнымъ!—скомандовалъ Матвѣй Егоровичъ, когда Гомозовъ шагнулъ впередъ. И всѣ четверо дружно гаркнули „ура“, причемъ солдатъ кричалъ ревущимъ басомъ.

Арина шла за Гомозовымъ, поднявъ голову, раскрывъ ротъ и свѣсивъ руки вдоль корпуса. Глаза у нея тупо смотрѣли впередъ, но едва ли видѣли что-нибудь.

— Мотя, вели имъ... поцѣловаться!.. ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричалъ Николай Петровичъ, а Матвѣй Егоровичъ даже прислонился къ

дереву, ибо отъ смѣха не могъ держаться на ногахъ. А ведро все грохотало, рожокъ былъ, ревѣлъ, дразнилъ, и Лука, приплясывая, пѣлъ:

„А и густо ты, Орина,
Да намъ кашу наварила!“

И Николай Петровичъ снова дѣлалъ губами:

— Пум-пум-пумъ! Тра-та-та! Пумъ! пумъ! Тра-ра-ра!

Гомозовъ дошелъ до двери въ казарму и скрылся въ ней. Арина осталась на дворѣ, окруженная бѣснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей въ уши и прыгали вокругъ нея въ припадкѣ безумнаго веселья. Она стояла передъ ними съ неподвижнымъ лицомъ, растрепанная, грязная, и жалкая, и смѣшная.

— Новобрачный удралъ, а... она осталась,—кричалъ Матвѣй Егоровичъ женѣ, указывая на Арину, и снова корчился отъ хохота.

Арина повернула къ нему голову и пошла мимо казармы — въ степь. Свистъ, крикъ, хохотъ провожали ее.

— Будетъ! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей... очухаться! Скоро обѣдъ нужно готовить.

Арина уходила въ степь, туда, гдѣ за линіей отчужденія стояла щетинистая полоса хлѣба. Она шла медленно, какъ человѣкъ, глубоко задумавшійся.

— Какъ? какъ?—переспрашивалъ Матвѣй Егоровичъ участниковъ этой шутки, разсказывавшихъ другъ другу разныя мелкія подробности поведенія новобрачныхъ. И всѣ хохотали. А Николай Петровичъ даже тутъ нашелъ время и мѣсто вставить маленькую мудрость.

„Смѣяться право не грѣшно
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно!“—

сказалъ онъ Софьѣ Ивановнѣ и внушительно добавилъ:

— Но много смѣяться—вредно.

Смѣялись на станціи въ тотъ день много, но обѣдали плохо, потому что Арина не явилась стряпать, и обѣдъ готовила сама начальница станціи. Но и дурной обѣдъ не убилъ хорошаго настроенія. Гомозовъ не выходилъ изъ казармы до времени своего дежурства, а когда вышелъ, то его позвали въ контору начальника, и тамъ Николай Петровичъ, при хохотѣ Матвѣя Егоровича и Луки, сталъ разспрашивать Гомозова, какъ онъ „увлекалъ“ свою красавицу.

— По оригинальности — это грѣхопаденіе № 1-й, — сказалъ Николай Петровичъ начальнику.

— Грѣхопаденіе и есть,—хмуро улыбаясь, говорилъ степенный стрѣлочникъ. Онъ понялъ, что, если сумѣетъ разсказать объ Аринѣ, подтрунивая надъ нею, то надъ нимъ будутъ меньше смѣяться. И онъ разсказывалъ:

— Вначалѣ она мнѣ все подмаргивала...

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петровичъ, вы только вообразите, какъ это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значитъ, подмаргиваетъ, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потомъ, стало-быть, говоритъ,—хочешь, говоритъ, я тебѣ рубахи сошью!

— Но „не въ шитьѣ была тутъ сила“... — замѣтилъ Николай Петровичъ и пояснилъ начальнику: — это, знаете, изъ Некрасова—изъ стихотворенія „Нарядная и убогая“... Продолжай, Тимоѳей!

И Тимоѳей продолжалъ говорить, сначала насилуя себя, затѣмъ постепенно возбуждаясь ложью, ибо видѣлъ, что ложь полезна ему.

А та, о которой онъ говорилъ, лежала въ это время въ степи. Она вошла глубоко въ море хлѣба, тяжело опустилась тамъ на землю и долго неподвижно лежала на землѣ. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпѣть жгучихъ лучей его, она перевернулась вверхъ грудью и закрыла лицо

руками, чтобы не видѣть неба, слишкомъ яснаго, и чрезмѣрно яркаго солнца въ глубинѣ его.

Сухо шуршали колосья хлѣба вокругъ этой женщины, раздавленной позоромъ, и неугомонно, озабоченно трещали безчисленные кузнечики. И было жарко. Попробовала она вспомнить свои молитвы и не могла— передъ глазами у нея вертѣлись въ дикой пляскѣ смѣющіяся рожи, а въ ушахъ нылъ теноръ Луки, раздавался насмѣшливо-жалобный вой рожка и хохотъ. Отъ этого или отъ жары ей тѣснило грудь, и вотъ она, разстегнувъ кофту, подставила свое тѣло лучамъ солнца, можетъ быть, ожидая, что такъ ей будетъ легче дышать. И въ то время, какъ солнце жгло ея кожу, изнутри ея грудь сверлило ощущеніе, близкое къ боли и похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изрѣдка:

— Господи!.. помилуй...

Но въ отвѣтъ ей раздавался только сухой шелестъ колосьевъ хлѣба, да озабоченный стрекотъ кузнечиковъ. Приподнимая голову надъ волнами хлѣба, она видѣла ихъ золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко отъ станціи, въ балкѣ, и крыши станціонныхъ построекъ. Больше ничего не было въ необъятной желтой равнинѣ, покрытой голубымъ куполомъ неба, и Аринѣ казалось, что она одна на землѣ, лежитъ въ самой серединѣ ея, и ужъ никто никогда не придетъ раздѣлить тяжесть одиночества,— никто, никогда...

Къ вечеру она услыхала крики:

— Арина-а! Аришка, чо-ортъ!..

Одинъ голосъ былъ голосомъ Луки, другой—солдата. Ей хотѣлось услышать третій, но онъ не позвалъ ея, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбѣгавшими съ ея рябыхъ щекъ на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую, теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнѣе терзавшую ее. Пла-

кала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышитъ и запретитъ ей плакать.

Потомъ, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцію.

Дойдя до станціонныхъ построекъ, она прислонилась спиной къ стѣнѣ погреба и долго стояла тутъ, глядя въ степь. Являлись и исчезали товарные поѣзда;—она слышала, какъ солдатъ разсказывалъ кондукторамъ о ея позорѣ и кондуктора хохотали. Ночь была тихая, лунная... хохотъ далеко разносился по пустынной степи, гдѣ чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй...—вздыхала женщина, плотно прижимаясь къ стѣнѣ. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Подъ утро она осторожно пробралась на чердакъ станціи и тамъ повѣсилась, устроивъ петлю изъ веревки, на которой, бывало, сушила выстиранное ею бѣлье.

Черезъ два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала всѣ испугались, потомъ стали разсуждать, кто виноватъ въ этомъ дѣлѣ? Николай Петровичъ неопровержимо доказалъ, что виноватъ—Гомозовъ. Тогда начальникъ станціи далъ стрѣлочнику въ зубы и грозно велѣлъ ему молчать.

Явились власти, произвели слѣдствіе. Выяснилось, что Арина страдала меланхоліей... Рабочимъ дорожнаго мастера было поручено свезти ее въ степь и тамъ закопать. Когда же это было исполнено—на станціи снова воцарились порядокъ и спокойствіе.

И снова ея обитатели начали жить по четыре минуты въ сутки, изнывая отъ скуки и безлюдья, отъ бездѣлья и жары, съ завистью слѣдя за поѣздами, пролетавшими мимо нихъ.

...А зимой, когда по степи съ воемъ и ревомъ носятся вьюги, осыпая маленькую станцію снѣгомъ и дикими звуками,—обитателямъ станціи живется еще скучнѣе.

Дозв. ценз. Спб. 20 Іюля 1905 г. Типографія Спб. Т-ва „Трудъ“. Фонтанка, 86.

ЗА ТЮРЕМНОЙ СТѢНОЙ.

Ослѣпительно-свѣтлый майскій день. Теплый, свѣжій воздухъ отрадно вливается въ грудь. Голубое небо какъ-то особенно прозрачно, и по нему медленно плывутъ чистенькія облака, похожія на груды свѣжаго снѣга. Птичье царство ликуетъ подъ хрустальнымъ куполомъ неба: радостно вьются ласточки, пролетаютъ стаями голуби и галки, высоко-высоко, чуть-чуть пошевеливая длинными крыльями, плыветъ коршунъ, и его клекотъ, какъ звукъ струны, раздается въ звонкой пустотѣ неба...

Вотъ все изъ внѣшняго міра, что можно видѣть и слышать, находясь за тюремной стѣной. Высокая и бѣлая, она образуетъ продолговатый четырехугольникъ, въ срединѣ котораго стоитъ двухъэтажный бѣлый домъ съ домовой церковью и четырмя круглыми башнями по угламъ. Эти башни съ зубчатыми краями и круглыми отверстіями для пушекъ придаютъ ему видъ стариннаго замка. Онъ въ самомъ дѣлѣ выстроенъ лѣтъ двѣсти тому назадъ, и подвальный этажъ его, съ таинственными темными казематами, почти весь ушелъ въ землю.

Преддверіемъ къ нему служитъ неуклюжее высокое зданіе, гдѣ помѣщается канцелярія и квартиры тюремнаго начальства. Подъ этимъ зданіемъ устроенъ полукруглый туннель и двое полукруглыхъ желѣзныхъ воротъ, выкрашенныхъ коричневой краской. По бокамъ

воротъ, загораживающихъ туннель со двора,—двѣ неглубокія ниши, и въ каждой изъ нихъ—окно. Одно изъ нихъ съ желѣзной рѣшеткой, а въ другомъ видны занавѣски и желтая клѣтка съ канарейкой. Фундаментъ здѣсь тоже значительно ушелъ въ землю, а отъ одного угла отвалился бѣлый камень величиной съ пол—аршина, кубической формы, на которомъ и сидитъ всегда надзиратель Быковъ.

Быковъ похожъ на чугунную тумбу или „бабу", которою утрамбовываютъ мостовыя. Онъ небольшого роста, руки и ноги у него короткія и толстыя, туловище плотное и увѣсистое, словно вылитое изъ чугуна, лицо безусое, добродушное и глубокомысленное.

Сидя на камнѣ, онъ цѣлый день развлекается тѣмъ, что кормитъ бѣлымъ хлѣбомъ голубей. Ружье со штыкомъ и ключами на штыкѣ стоитъ у него между ногъ, прислоненное къ плечу, огромная стая голубей окружаетъ Быкова, пожираетъ крошки хлѣба и воркуетъ. Быковъ любитъ этихъ мѣщанъ птичьяго царства: его круглое и простое лицо, лицо деревенскаго парня, осклабляется при видѣ голубинаго счастья. Быть сытымъ и ворковать—это его собственный идеалъ. Въ его довольномъ лицѣ съ большимъ и крѣпкимъ лбомъ и во всей его неповоротливой фигурѣ есть что-то неприхотливо-положительное и неподвижно-устойчивое. Быковъ ни въ чемъ не сомнѣвается, ничему не удивляется и все въ мірѣ считаетъ цѣлесообразнымъ. Это твердое и ясное міросозерцаніе находитъ въ немъ крѣпкую опору, и Быковъ непоколебимъ, какъ чугунная, неподвижная свая.

А по двору ходятъ арестанты... Они одѣты въ бѣлыя холщевыя рубахи, такіе же шаровары и „коты". Тесемка, которою завязывается воротъ, у многихъ оборвана, и рубаха не закрываетъ загорѣлую коричневую грудь.

Большею частью, это все живой и веселый народъ. Исключеніе составляютъ только каторжане съ кандалами на ногахъ: они не разговорчивы, задумчивы, угрюмы и важны.

Особенной походкой, широко разставляя ноги, неизмѣнно и вѣчно бродятъ они по широкому двору отъ стѣны до стѣны, и своеобразный звонъ желѣзныхъ цѣпей, похожій на пѣніе птицъ, съ утра до ночи не смолкаетъ на дворѣ и въ острогѣ.

Съ головой, наполовину обритой въ профиль, мрачные и важные, въ своихъ звонкихъ цѣпяхъ, они картинно-трагичны...

Зато остальные арестанты, свободные отъ цѣпей, и малолѣтніе преступники смотрятъ жизнерадостно: одни устраиваютъ борьбу, другіе просто лежатъ на травѣ, которою заросли углы двора, и нѣжатся на солнышкѣ. Кое-гдѣ собрались въ кучки, играютъ въ карты и орлянку.

Біографіи этихъ людей почти одинаковы: жизнь ихъ съ дѣтства проходитъ въ тюрьмѣ; за стѣнами ея все имъ чуждо и враждебно, едва выйдутъ они на свободу, какъ уже опять попадаютъ въ острогъ, въ свой міръ, гдѣ они выросли и сжились. Они не приспособлены къ иной жизни, кромѣ тюремной.

Надзиратель кормитъ голубей по одну сторону воротъ, а по другую, около ниши, собрался кружокъ игроковъ: это все молодыя, здоровыя лица, виднѣется двѣ—три наполовину обритыхъ головы, позвякиваютъ цѣпи. Всѣ серьезны и сидятъ на землѣ, поджавъ подъ себя ноги...

Быкову наскучили голуби. Онъ встаетъ съ камня: стая птицъ взвивается кверху и, звеня крыльями, улетаетъ...

Онъ подходитъ къ арестантамъ и, опершись на ружье, слѣдитъ за игрой.

Ставкой, вмѣстѣ съ мѣдными грошами, служитъ еще—книга, разодранная на четыре части.

Картежники играютъ молча, изрѣдка обмѣниваясь короткими фразами.

— „Іоанна“ взяли!

— Ставлю „отъ Матвѣя“!

— Четверку, значитъ?

— Четверку.

— Ходить! А я ужо половинкой-то подъ тебя!..

— Батюшки!—вскрикиваетъ Быковъ:—никакъ это евангеліе? Кто это поставилъ?

— Эйко!..—разсѣянно отвѣчаютъ ему.

Эйко, арестантъ важнаго вида, съ рыжими бакенбардами и дерзкими глазами, полулежа, бьетъ карту.

— А тебѣ что?—огрызается онъ на Быкова.

— Да какъ же,—возмущается Быковъ:—евангеліе—и на конъ! Что ты, не русскій, что ли? То-то у тебя фамиліе-то чудное: Эйка!

— Я англичанинъ!—серьезно говоритъ Эйко, поглаживая бакенбарды: лицо у него овальное, исполненное достоинства, усовъ нѣтъ, бакенбарды котлетами—онъ дѣйствительно похожъ на англичанина.

Быковъ добродушно, хотя и укоризненно, качаетъ головой.

— Только-что вчера вамъ въ церкви крещеный жидъ евангеліе раздавалъ для вразумленія, а вы—въ карты...

— Молчи ты, тумба!—презрительно отвѣчаютъ ему:—что смыслишь, штыкъ?

Быковъ, ухмыляясь, беретъ евангеліе на русскомъ языкѣ, развертываетъ его своими короткими и толстыми пальцами и медленно читаетъ вслухъ:

— „Богъ есть любовь“...

И задумывается.

— То-то и есть! — снисходительно говоритъ ему Эйко,—вѣдь не понимаешь, что оно и къ чему сказано?

— „Кто имѣетъ двѣ одежды“,—продолжаетъ надзиратель,—„отдай одну неимущему и, если кто ударитъ тебя въ лѣвую щеку, подставь ему и другую!“

Тутъ Быковъ торжествующе смотритъ на Эйко.

— Вотъ какъ надо-то—говоритъ онъ, ткнувъ корявымъ пальцемъ въ книгу.

— Дуракъ ты!— спокойно отвѣчаетъ ему Эйко:—надо, да не намъ! Книга эта священная, ну, только что намъ она не подходитъ: кому можетъ арестантъ оставить одежду, какому неимущему, когда она у него казенная, а неимущій-то—онъ самъ? И на счетъ щеки—тоже меня, можетъ, всю мою жизнь только и дѣлали, что въ морду били? Хоть подставляй, хоть нѣтъ—все равно, лупятъ!

Сочувственный смѣхъ арестантовъ покрылъ послѣднюю фразу Эйко. Засмѣялся и Быковъ.

— Было за что, вотъ и били!—возразилъ онъ:—зря не станутъ бить... Всякій, значитъ, будь на своей точкѣ и дѣлай свое дѣло въ исправности.

— Противно тебя слушать. Ты доволенъ тѣмъ, что ты—надзиратель?

— Доволенъ.

— И дѣти твои и внуки тоже будутъ надзирателями, либо лакеями. Ты представь себѣ: ѣдутъ на пароходѣ мои дѣти во второмъ классѣ и обѣдаютъ,—а твои имъ кушанье подаютъ—и такъ до скончанія вѣка! Справедливо это?

— Справедливо!— отвѣчаетъ Быковъ, наклонивъ голову и опираясь на ружье. Онъ крѣпко стоитъ на своихъ короткихъ ногахъ и въ эту минуту похожъ на подводную скалу, о которую разбиваются мечтанія. Эйко смотритъ на него съ ненавистью.

— Тумба!—ворчитъ онъ, злобно убивая карту.

— Бойкій ты!—съ неизмѣннымъ добродушіемъ замѣчаетъ Быковъ:—башка у тебя мозговита, а все толку нѣтъ! И столяръ ты, и рѣзчикъ, и переплетчикъ, а работать не хочешь, балуешься...

Глаза Эйко, острые, какъ гвозди, сверкнули, овальное „англійское“ лицо на минуту приняло злое и гордое выраженіе.

— Голодный прохожу, а работать не стану!—упрямо произнесъ онъ, смотря куда-то въ пространство, словно говорилъ не Быкову, а кому-то невидимкѣ. Задѣтый за больную струну сердца, онъ какъ будто хотѣлъ досадить „кому-то“ тѣмъ, что вотъ онъ, Эйко, прекрасный столяръ, рѣзчикъ и переплетчикъ, „не хочетъ“ работать.

А кругомъ по прежнему важно и мрачно бродили скованные каторжане, и по всему двору, неумолкая, пѣли цѣпи...

Черезъ весь дворъ бѣжалъ низенькій мужиченко-арестантъ, громыхая кожаными сапогами. Онъ подбѣжалъ къ Быкову.

— Огурцовъ не надо ли? Жена пришла!—вскричалъ онъ, улыбаясь заискивающей улыбкой. Арестанты засмѣялись.

— Хорошо ли торгуешь, Клемашевъ?—Клемашевъ засмѣялся дѣтскимъ смѣхомъ.

— Какая моя торговля? Жена орудуетъ. А мнѣ еще двадцать мѣсяцевъ сидѣть! Изъ-за восьми рублей! Страсть какъ досадно! Думалъ воровствомъ хозяйство поправить, а оно только хуже вышло! Баста теперича! Не буду воровать!

— Хо-хо-хо! Невыгодно?—заржали арестанты.

Клемашевъ поглядывалъ на всѣхъ добрыми дѣтскими глазами и тоже смѣялся, а Быковъ наставительно сказалъ ему:

— Конечно! Скажи самъ себѣ: не буду! И не будешь. Все равно, какъ вино пить которые бросаютъ.

— Да вѣдь, милый ты человѣкъ!—любовно заглядывая ему въ глаза, возразилъ Клемашевъ:—вѣдь, все думаешь, хозяйству какъ ни на есть подсобить, а оно только хуже! Я еще въ прошломъ году чуть было не попалъ въ острогъ—изъ-за мѣшковъ. Работали мы у купца Башкина; муку возили. Ну, а когда со двора уходили, и замотали мы двое за онучи по два мѣшка, все годится для хозяйства! А приказчикъ и догадался! Такъ что было! Либо, говоритъ, пашпорта назадъ берите, либо сейчасъ въ острогъ! Взяли пашпорта!

— А не воруй! — сказалъ Быковъ.

Огромный великанъ-арестантъ съ широкой бородой улыбнулся добродушнѣйшей улыбкой и пѣвуче произнесъ:

— Не обкрадывай купцовъ: мать—тюрьма есть для нашего брата! Ты гдѣ служилъ въ солдатахъ-то?—спросилъ онъ Быкова.

— Въ Ромнахъ я служилъ.

— А еще гдѣ былъ? Въ Одессѣ былъ?

— Нѣтъ.

— Эхъ, что за городъ!.. Пристань кака! Набережная! Море шумитъ! Жизнь!

Широкая русская улыбка озарила огромное лицо великана.

— А въ Москвѣ ты былъ? Нѣтъ? Эхъ, въ Сокольникахъ тамъ хорошо! Въ Петербургѣ тоже не былъ? А въ Тифлисѣ? не былъ? Ну, въ Астрахани, по крайности? Нѣтъ? Да гдѣ же ты былъ?

Нигдѣ я не былъ! — отвѣчалъ Быковъ: — а тебя, видно, вездѣ носило?

— Я-то весь свѣтъ прошелъ! Я и по Байкалу плавалъ, и въ Татарскомъ проливѣ былъ! Во всѣхъ тюрьмахъ сидѣлъ, всѣ искусства и науки произошелъ...

Онъ улыбнулся опять очаровательно-добродушной, свѣтлой, какъ солнце, плутоватой улыбкой и добавилъ на-распѣвъ:

— Тюрьма-матушка всему научитъ! А вотъ ты—неожиданно набросился онъ на Быкова:—ничего не можешь понимать, что есть такое—жизнь! Съ тобой говорить—что горохомъ объ стѣну бить!..

— Брось!—загудѣли арестанты:—съ кѣмъ ты связался? Лучше ужъ пусть сочинитель стишокъ читаетъ, чѣмъ это... А? Эй! сочинитель кислыхъ щей! Вальни-ка!

Такія насмѣшливыя слова относились къ молодому угрюмому арестанту: это былъ парень сутуловатый, неуклюжій, медвѣжьяго тѣлосложенія, съ широкимъ лбомъ и голубыми глазами, смотрѣвшими мрачно и застѣнчиво.

Сочинитель ухмыльнулся и прогудѣлъ глухимъ и густымъ, медвѣжьимъ голосомъ.

— Смѣетесь надо мной, а сами просите!..

— Ну, ну, не ломайся! Отхватывай!..

„Сочинитель“ сидѣлъ, подобравъ подъ себя ноги, сгорбился и, не поднимая глазъ, началъ декламировать своимъ угрюмымъ и грубымъ голосомъ:

Очи черныя, очи жгучія,
Вы плѣнили мою молодость,
Вы зажгли во мнѣ лучъ-огонь.
Не могу теперь слово вымолвить:
Мнѣ не спятся ночи темныя,
Крушитъ молодца любовь къ дѣвицѣ,
А еще крушитъ участь горькая,
Доля бѣдная, безотрадная,
Узы тяжкія, тюрьма лютая...

Неказистъ былъ поэтъ: лицо скуластое, рубаха на груди разстегнулась и обнаружила широкую звѣриную грудь, заросшую лохматой шерстью.

Трудно было допустить, чтобы „красна-дѣвица“ могла плѣниться такой фигурой, но онъ продолжалъ съ какой-то грубой и настойчивой силой:

Н-но—л-люблю я тебя, раскрасавица,
Пуще жизни, пуще солнышка,
Пуще свѣта всего бѣлаго!..
Ужъ вы узы мои, узы мрачныя,
Узы мрачныя тюремныя!
Вы сосете кровь изъ моей груди,
Душу мучите, сердце гложете...
Ой, судьба ли моя, судьбинушка,
Горемычная, злоковарная!
Не съ тобой ли мнѣ во тюрьмѣ сидѣть,
Въ кандалахъ терпѣть гореваньице,
Отъ начальниковъ измываньице?
Какъ одинъ изъ нихъ—кровожадный звѣрь...

— Вѣрно!—вырвалось у арестантовъ, а поэтъ гудѣлъ, не останавливаясь:

Онъ питаетъ злобу къ каждому,
Не имѣетъ онъ человѣчества...

— Сволочь!—пояснили слушатели.

Онъ лютѣе звѣря лютаго,
Тигра хитраго, кровожаднаго...

— Ишь, какъ хлещетъ!—восхитился и Быковъ:—не за это ли онъ тебя въ карцеръ сажалъ?

— Что ему карцеръ?—возразили арестанты:—у него ружейный зарядъ въ боку сидитъ! Что ему карцеръ?..

— Ку-ка-и-ку-у—раздалось вдругъ по всему двору громогласное пѣніе пѣтуха.

Это кричалъ арестантъ съ веселымъ и лукавымъ лицомъ: онъ стоялъ посрединѣ двора, разстегнутый, съ шапкой на затылкѣ и пѣлъ пѣтухомъ такъ натурально, что гдѣ-то далеко за тюрьмой откликнулись настоящіе пѣтухи. Въ рукахъ у него были три деревянныхъ ложки, и онъ артистически заигралъ на нихъ, припѣвая сипо-

ватымъ, но игривымъ и складнымъ голосомъ на мотивъ цыганскихъ пѣсенъ:

По горамъ—доламъ катался,
Тарантасъ мой изломался!
Тарантасъ мой, тарантасъ,
Прокати въ послѣдній разъ!..

Ложки отчетливо и плавно прищелкивали не хуже кастаньетъ, словно выговаривали каждое слово. Въ ту же минуту откуда-то взялись два цыгана, смуглые, ловкіе, съ курчавыми, словно осмоленными бородами, похожіе другъ на друга, какъ два родные брата. Они пустились въ дикій цыганскій танецъ, извиваясь вокругъ музыканта, какъ обезьяны, а онъ медленно шелъ черезъ дворъ, туда, гдѣ происходила декламація, и пѣлъ, аккомпанируя на ложкахъ:

Ай, батюшки, караулъ:
Цыганъ въ морѣ утонулъ!
Не въ рѣкѣ, не въ озерѣ,
На дворѣ въ колодезѣ!..

— Гей! гей!—выкрикивали и скакали цыгане, ударяя въ ладони и притопывая арестантскими „котами".

Ой, валенки—валенки,
Не подшиты, стареньки...

припѣвалъ артистъ, приближаясь къ группѣ.

— Споемъ?—крикнулъ онъ.

Арестанты встрѣтили его одобрительнымъ смѣхомъ. Только окованные каторжане съ прежней тоскливой серьезностью бродили вдоль длиннаго двора, и желѣзныя звенья цѣпей, не умолкая, пѣли свою грустную пѣсню.

Около ниши, у высокой, бѣлой стѣны собрался арестантскій хоръ: кто сидѣлъ на каменной ступени, кто прямо на асфальтѣ, вытянувъ скованныя ноги или по-

ложивъ себѣ на колѣни обезображенную, бритую голову; большинство стояли полукругомъ, нѣкоторые полулежали... Живописенъ и страненъ былъ этотъ окованный хоръ, въ рубашкахъ изъ грубаго холста, съ голыми шеями, открытой грудью и характерными лицами коричневаго цвѣта отъ загара. Это всѣ были рѣзкія, энергичныя черты. Не было замѣтно лицъ глуповатыхъ или забитыхъ... Нѣкоторыя молодыя и почти интеллигентныя лица сразу бросались въ глаза и навсегда запечатлѣвались въ памяти своей особенной красотой. Нѣкоторыя были мрачны и грозны, и всѣмъ лицамъ было свойственно одно неуловимое выраженіе, которое бываетъ только у арестантовъ: его трудно опредѣлить какимъ-либо словомъ, оно — печать долголѣтняго озлобленія непокорной натуры, въ немъ есть что-то протестующее противъ всего на свѣтѣ.

Арестантъ съ ложками оказался „регентомъ“. Онъ всталъ лицомъ къ хору, величественно поднялъ руку съ ложкой и обвелъ весь хоръ строгимъ взглядомъ. Шапка у него совсѣмъ съѣхала на затылокъ, обнаруживая черную густую щетину стриженой головы и большой мефистофелевскій лобъ съ заливами.

Въ его серьезномъ теперь лицѣ чуть-чуть сквозилъ ядовитый юморъ.

Хоръ густо и широко загудѣлъ. Регентъ помахивалъ ложкой со всѣми пріемами „маэстро“. Казалось, что самъ Мефистофель дирижируетъ хоромъ убійцъ, воровъ и бродягъ. Солнце заливало всю эту группу ослѣпительно яркимъ свѣтомъ. Они пѣли:

По дикимъ степямъ Забайкала,
Гдѣ золото роютъ въ горахъ,
Бродяга судьбу проклинаетъ,
Тащится съ сумой на плечахъ.
Котелъ его съ боку тревожитъ,
Сухарики съ ложкой гремятъ.

Идетъ онъ густою тайгою,
Гдѣ звѣри его сторожатъ.
Худая на немъ рубашенка,
Премножество разныхъ заплатъ,
Худая на немъ и шапченка,
И сѣрый тюремный халатъ.
Лишь только къ Байкалу подходитъ,
Рабочую лодку беретъ.
Унылую пѣсню заводитъ,
Про родину что-то поетъ...

Пѣсня густо катилась. Отъ нея вѣяло романтической жизнью, полной приключеній, она говорила о вѣчномъ скитальчествѣ и бродяжествѣ и какъ бы поднимала завѣсу надъ темною жизнью этихъ людей, и за этой завѣсой чудились грустные и мрачные разсказы и печальныя драмы съ неизмѣнной кровавой развязкой. Жизнь бьетъ такихъ пѣвцовъ, поэтовъ и мыслителей, и ея удары извлекаютъ изъ нихъ глубокіе звуки, мрачные стихи и своеобразныя пѣсни.

Регентъ сдѣлалъ предлагающій жестъ, и нѣжный тенорокъ-запѣвало затянулъ плавный, игривый папѣвъ:

— Па-а̀ Си-б-бири я гул-ляю,
Паселенецъ ма-ла-дой...

А хоръ густыми аккордами, словно рояль, аккомпанируетъ ему:

Тум-бà—тум-бà—тум-бà!
Тум-бà—тум-бà—тум-б-ба-à!..
— Полюби меня, челдонка:
Я брожу здѣсь сирото-ой,

заливается солистъ. Это — арестантъ, по прозванію Соловей,—пѣвунъ и плясунъ: онъ маленькій, съ черненькими усиками, ловкій и сильный. Теперь онъ сидитъ подъ самой нишей, въ центрѣ хора, а кругомъ непринужденно расположился хоръ: тенора всѣ стоятъ

полукругомъ и имѣютъ видъ воровской и плутоватый, а басы, большею частью, сидятъ и всѣ—въ кандалахъ.

Мы пойдемъ съ тобой въ Россію
По дорожкѣ столбовой:
Снаряжу тебя въ доспѣхи—
Въ баняхъ будешь спать со мной...

— Тум-ба—тум-ба—тум-ба-а!—густо аккомпанируетъ хоръ, мефистофелевская рожа сіяетъ, а Соловей забористо выводитъ:

Посохъ вырѣжу потолще
На защиту отъ собакъ,
Твои кольца и сережки
Отнесемъ съ тобой въ кабакъ!..

— Тум-ба—тум-ба—тум-ба!—грохочутъ басы. А Быковъ неподвижно застылъ на своемъ камнѣ, какъ воспѣваемая тумба, и съ добродушной улыбкой смотритъ на веселье арестантовъ.

Хоръ все увеличивается. Пѣсни быстро смѣняются. Доходитъ дѣло до плиски. Хоръ стоитъ кольцомъ и весело поетъ плясовой мотивъ:

Ой, дубъ—ду-ба, ду-ба, ду-ба...

Слышатся веселыя восклицанія.

— Соловей! Спляши, что ли, для окончанія дѣла!

— Али онъ былъ на судѣ?

— Какъ же! Нынче водили!

— Осудили?

— На три года!

— Ва-а-ляй, Соловей!..

Соловья выпихнули на середину круга.

Онъ выждалъ тактъ и „пустилъ дробь“. По первымъ же его пріемамъ видно было, что пляшетъ не простой

плясунъ, а артистъ этого дѣла: такъ пляшутъ въ циркѣ... Его „коты“ такъ и заговорили...

А хоръ стоялъ во всей своей живописной неприглядности, разстегнутый, загорѣлый, съ бритыми черепами и гудѣлъ:

Ой, дубъ-ду-ба, ду-ба-ду-ба!..

— Жарь, Соловей!

— Все равно тебѣ теперича!..

Соловей восхитительно плясалъ въ присядку: маленькій, но мускулистый и крѣпкій, онъ упруго и ловко подпрыгивалъ, какъ мячъ, и перебрасывалъ изъ одной руки въ другую свою маленькую сѣрую шапку...

Всѣ лица расплылись въ улыбку.

Но лицо самого Соловья было необыкновенно серьезно: смуглое, красивое, съ черными усами и блестящими глазами, оно сохраняло пренебрежительное выраженіе словно хотѣло сказать:

— Плевать мнѣ на то, что меня осудили!..

Въ маленькую калитку полукруглыхъ воротъ входили и выходили разные люди. Прошелъ взводъ солдатъ въ бѣлыхъ рубашкахъ, съ револьверами у пояса и саблями и скрылся на сосѣднемъ дворѣ, гдѣ была пересыльная тюрьма. Оттуда провели разнообразно-одѣтую, рваную толпу пересыльныхъ... Какихъ только тамъ не было фигуръ: кто въ кацавейкѣ, кто въ рваномъ пиджакѣ, кто въ длинной арестантской шинели. Старики, женщины, подростки и дѣти и въ этомъ сбродѣ вдругъ—гордая фигура благороднаго босяка... У многихъ за плечами котомки, сапоги, а у пояса жестяной чайникъ. Нѣкоторые прощаются съ друзьями изъ арестантовъ. Пожимаютъ руки. Слышны пожеланія. Потомъ вся эта странная толпа исчезаетъ за воротами

въ сопровожденіи конвойныхъ, внушая недоумѣніе и интересъ къ себѣ... Странный, бродячій міръ, тѣни, откуда-то и куда-то безъ конца идущія, кто они? Своимъ молчаливымъ, символическимъ шествіемъ черезъ тюремный дворъ они напоминаютъ о существованіи какой-то особенной таинственной жизни.

Калитка вновь отворилась и въ нее съ трудомъ пролѣзла необыкновенная фигура.

Это былъ чернобородый мужикъ геркулесовскаго тѣлосложенія, въ красной кумачевой рубахѣ, высокихъ сапогахъ и косматой черкесской шапкѣ. Онъ былъ поразительно широкъ, грудастъ и мощенъ, на выпуклую грудь падала окладистая черная борода, и вся невысокая, но удивительно крѣпко сложенная фигура его казалась сбитой молоткомъ на наковальнѣ. Онъ обвелъ тюремный дворъ мрачнымъ взглядомъ и крикнулъ сильнымъ голосомъ:

— Здравствуй, матушка-тюрьма!

За нимъ вошло двое часовыхъ съ ружьями и тщедушный тюремный чиновникъ въ полицейскомъ мундирѣ. Арестанты поднялись и сняли передъ чиновникомъ шапки, за исключеніемъ Эйко. Чиновникъ съ гримасой махнулъ имъ рукой, и они разбѣжались по двору. Потомъ онъ отдалъ какія-то приказанія часовымъ и побѣжалъ въ пересыльную тюрьму, а богатырь съ важнымъ видомъ путешественника, ожидающаго на станціи лошадей, сталъ прохаживаться около запертыхъ воротъ. Взявшись за поясъ и опустивъ широкую голову, крѣпко утвержденную на короткой воловьей шеѣ, онъ ходилъ взадъ и впередъ нетерпѣливыми шагами.

Быковъ и еще трое надзирателей вытянулись въ струнку и оцѣпили его, держась на почтительномъ разстояніи.

Но въ сравненіи съ нимъ, ихъ гарнизонныя фигуры

казались плачевно-жалкими и не имѣли въ себѣ ничего устрашающаго. У Быкова на штыкѣ добродушно звякали забытые ключи.

Черезъ минуту со двора пересыльной тюрьмы вышелъ начальникъ, осанистый пожилой человѣкъ въ бѣломъ кителѣ и картузѣ съ кокардой. Онъ шелъ, не торопясь, къ воротамъ, и передъ нимъ вытягивались часовые, снимали шапки арестанты, только человѣкъ въ красной рубашкѣ и папахѣ продолжалъ ходить и едва посмотрѣлъ на него.

Начальникъ подошелъ къ могучему человѣку и началъ что-то ему говорить тихо и вразумительно. Собесѣдникъ остановился передъ нимъ, но не дослушалъ его и внезапно вскипѣлъ.

— Въ се-ре-ду-у? — заоралъ онъ на весь дворъ, размахивая руками: — это, чтобы я святую Троицу въ острогѣ сидѣлъ? Ни за что! Н-нынче хочу! Терпѣть не могу я здѣсь! Ужъ лучше вы меня въ больницу отправьте, а то я у васъ тутъ все переломаю, перебью, и самъ изрѣжусь и изобьюсь! Желаю нынче, сегодня, сичасъ—и больше никакихъ.

Начальникъ опять что-то сказалъ ему, отрицательно качая головой, и прослѣдовалъ въ калитку полукруглыхъ воротъ, а вслѣдъ ему загремѣлъ яростный, могучій голосъ:

— Такъ вы этакъ-то? Обманомъ заманили меня сюды, да и не пускаете? Въ тюрьму посадить хотите? Да рази это мыслимо, чтобы вольнаго человѣка лишать свободы? А? накося, что выдумали! Ну, не на того напали! Меня вездѣ по всей Рассеѣ знаютъ! Меня самъ великій князь знаетъ, и прокуроръ святѣйшаго правительствующаго синода знаетъ! Только попробуйте посадить! Я въ московской тюрьмѣ изъ окна рѣшетку выломилъ и у васъ выломлю! Я въ Петербургѣ дворцовую стражу всю ра-

зогналъ, а не токмо, что васъ! И мнѣ за это ничего не было, только патретъ съ меня сняли, да еще денегъ на дорогу дали! Вы со мной не шутите! Отпирайте, што-ль!..

Онъ подошелъ къ воротамъ, ударилъ въ нихъ наотмашь огромнымъ кулачищемъ и загрохоталъ:

— Отпирайте!

Тишина была ему отвѣтомъ. Весь дворъ опустѣлъ: арестанты стояли кучкой въ отдаленіи. Часовые замерли на своихъ постахъ.

Тутъ безпокойный гость началъ ругаться, все повышая и повышая свой могучій голосъ и, видимо, приходя въ ярость. Ругань была отборная, артистическая.

— Гей, анафемы, Іуды предатели, Ироды окаянные! Пять минутъ даю вамъ сроку! Не отопрете—ломать начну!..

— Накося!—продолжалъ онъ, шагая по асфальту въ ожиданіи отвѣта:—вольнаго человѣка—свободы хотятъ лишить! Гдѣ это написаны такіе законы, чтобы за безписьменность гноить человѣка по всѣмъ острогамъ, прогонять по всей Рассеѣ? А? беззаконники! Вы дайте мнѣ конвой, я и пойду себѣ пѣшкомъ, въ сутки-то шутя сто верстъ уйду, али лошадь куплю: вѣдь у меня и деньги есть! Вотъ онъ — чекъ: пойду сейчасъ въ банкъ—и возьму! Чего же вы меня держите, какъ разбойника, да еще на святую Троицу въ острогъ хотите засадить? За что, про что? Не хочу и не хочу, разнесу все—а не сяду!..

Онъ подождалъ немного и, видя, что никто не думаетъ отпирать ему ворота, подбѣжалъ къ тому окну, въ которомъ виднѣлись занавѣски, цвѣты и клѣтка съ канарейкой.

— Вотъ вамъ! Вотъ вамъ!—кричалъ онъ, выбивая кулакомъ одно стекло за другимъ:—я какъ начну бить—

куда только всѣ ваши пташки-кинарейки полетятъ! Вотъ, вотъ!..

Разбитыя стекла звенѣли и сыпались на асфальтъ. За окномъ никто не откликался. Тогда вольный человѣкъ застучалъ кулаками въ ворота.

— Отпирайте, чортовы дѣти!—грохоталъ онъ:—эхъ, кабы мнѣ что-нибудь потяжельше въ руки взять!

Онъ оглядѣлся кругомъ, и внезапно взглядъ его упалъ на камень Быкова: онъ быстро схватилъ камень, поднялъ надъ головой четырехпудовую тяжесть, разбѣжался и со всего маху грянулъ камнемъ въ полукруглыя желѣзныя ворота.

Гулкій громъ прокатился по всему двору тюремнаго замка.

Камень упалъ около калитки. Часовые подбѣжали, чтобы убрать его, но богатырь быстро всталъ на него и остановилъ ихъ повелительнымъ жестомъ.

— Прочь!—гаркнулъ онъ и, поднявъ руку кверху, продолжалъ съ камня торжественно и театрально:

— Я второй Самсонъ. Убью, не подходите!

Въ это время, словно въ отвѣтъ на громовой ударъ камня, калитка воротъ отворилась, и въ нее вошло какое-то новое начальственное лицо и, повидимому, ничего не подозрѣвая, съ недоумѣніемъ оглядѣлось кругомъ. Въ тотъ же самый моментъ второй Самсонъ съ необыкновенной быстротой шмыгнулъ въ калитку.

— Убѣжалъ!..—глухо загудѣло по всему двору.

— Заманили!—засмѣялся кто-то.

Произошла суматоха: съ пересыльнаго двора выбѣжалъ опять тщедушный и блѣдный чиновникъ, а за нимъ бѣгомъ пробѣжала толпа солдатъ человѣкъ въ пятьдесятъ.

Всѣ они ринулись вслѣдъ за Самсономъ.

А онъ стоялъ въ полутемномъ туннелѣ, прислонясь спиной къ запертымъ вторымъ воротамъ, какъ звѣрь, загнанный въ тѣсное ущелье.

— Господь далъ мнѣ силу!—сказалъ онъ:—всѣхъ васъ могу истребить, но—не хочу! Берите! Отдаюсь!..

Всѣ пятьдесятъ облѣпили его...

— Кандалы давайте! Кузнеца!

Раздался чей-то повелительный голосъ:

Заковать!

Подъ каменнымъ сводомъ было тѣсно, темно и шумно; всѣ суетились, толкались, галдѣли. Принесли ножныя и ручныя кандалы.

Богатырь лежалъ на землѣ, и его не было видно за толпой солдатъ. Онъ молчалъ. Слышалось звяканье цѣпей и удары молота по желѣзу.

Наконецъ, ворота отворились и его торжественно провели въ тюрьму.

Онъ шелъ, окруженный толпой солдатъ, окованный по рукамъ и ногамъ. Руки его были скручены и скованы за спиной, косматая папаха сдвинута на затылокъ, голова опущена, и широкая черная борода вѣеромъ лежала на выпуклой груди. Въ красной рубахѣ, огромный, мрачный, въ цѣпяхъ, онъ былъ страшенъ и походилъ на Стеньку Разина.

Арестанты стояли въ отдаленіи и сочувственно смотрѣли на героя. Онъ взглянулъ на нихъ, кивнулъ головой и, переступая порогъ тюрьмы, крикнулъ громовымъ голосомъ:

— Глядите, братцы: вотъ онъ, мученикъ!

Его увели.

Тогда арестанты опять собрались къ воротамъ. Но настроеніе ихъ было испорчено. Они молчали и мрачно переглядывались. Не было слышно ни пѣнія, ни шутокъ.

Изъ тюрьмы вышелъ тщедушный тюремный чиновникъ и обратился къ нимъ съ рѣчью. Арестанты нехотя сняли шапки.

— Я вамъ долженъ, господа, объявить, что вышло распоряженіе содержать васъ въ камерахъ, а на прогулку выпускать по закону—на два часа. Сегодня—послѣдній день вашей свободы...

Арестанты глухо и недовольно зарычали.

— Это не отъ насъ,—поспѣшилъ заявить чиновникъ:—мы тутъ не причемъ... мы обязаны... сами знаете...

Онъ развелъ руками и скрылся въ калитку воротъ.

Раздался быстрый и громкій звонокъ колокола—знакъ собираться въ камеры.

Арестанты медленно и нехотя потянулись въ мрачное зданіе.

Солнце садилось, и его послѣдніе румяные лучи, блѣднѣя, угасали на неподвижной, задумчивой тучѣ. Быстро смеркалось, и повсюду наступала отрадная тишина весенняго вечера. Легкіе звуки долетали отовсюду. Откуда-то издалека доносились въ тюрьму веселые голоса и протяжное пѣніе. На небѣ кое-гдѣ вспыхнули маленькія звѣздочки.

Злобно звеня и потрясая цѣпями, шли арестанты подъ мрачные низкіе своды подвальнаго этажа: у нихъ были отняты послѣдніе лучи свободы.

Надежды на счастье въ жизни давно уже не было. Впереди была только тюрьма.

Столовая помѣщалась въ катакомбахъ унылаго подземелья. Черные своды смыкались надъ самой головой и давили душу. Казалось, что они еще хранятъ мрачныя воспоминанія о дыбѣ, пыткахъ и кнутѣ. Казалось, что эти черныя толстыя стѣны таятъ въ себѣ крики и стоны, звучавшіе здѣсь когда-то, въ давніе вѣка.

По небу разсыпались рѣдкія, изумрудныя звѣзды, полная красавица луна взошла надъ острогомъ и облила его бѣлыя стѣны трепетнымъ серебристымъ сіяніемъ. Она, какъ чародѣйка, околдовала своими волшебными лучами эту нѣжную, весеннюю ночь: чары ея обнимаютъ дремотную землю и тихій, серебристый воздухъ. Всюду таинственно лежатъ и расползаются мглистыя тѣни, и шепчутся тихіе, страстные звуки. Раздражающая ароматная теплота вѣетъ въ густомъ воздухѣ и навѣваетъ нѣжныя желанія и нѣжную весеннюю тоску...

Быковъ попрежнему сидитъ на своемъ камнѣ, прислонивъ ружье къ плечу, не то дремлетъ, не то думаетъ о чемъ-то...

На кончикѣ его штыка отъ луннаго свѣта искрится лучистая брилліантовая звѣздочка.

А острогъ поетъ.

Поютъ въ каждой камерѣ, наверху и внизу, каждая камера—свою пѣсню, и пѣніе всего острога сливается въ одинъ общій пѣвучій гулъ.

Сто-нетъ онъ по тюрь-мамъ и остро-гамъ.
Въ рудни-кахъ, на желѣ-зной цѣпи-и!

глухо и мрачно гудитъ тягучая пѣсня въ нижнемъ этажѣ.

А сверху гремитъ веселый хоръ:

А на утро старикъ съ больной головой,
Онъ идетъ и блюетъ, и руг-ается...
И р-ру-га-ается!..

Буйно гудятъ басы.

Но ихъ покрываютъ изъ другой камеры:

Друзей теперь мнѣ не на-да-а!
Желѣ-зны цѣпи мнѣ дру-зья-а!
Ло-па-та вѣ-чная подруга,
А тачка—вѣрна-я жена-а!

Съ другого конца острога откликаются:

Пройдетъ зима, настанетъ лѣто,
Въ поляхъ цвѣточки расцвѣтутъ,
А мнѣ, несчастному, въ то время
Желѣзомъ ноги закуютъ.
Придетъ цирюльникъ съ бритвой острой,
Обрѣетъ правый мнѣ високъ:
Я буду видъ имѣть ужасный
Отъ головы до самыхъ ногъ.

Но изъ всеобщаго гудѣнія выплываетъ протяжный мотивъ, полный спеціально-тюремной тоски:

Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ
На песчаные брега...

Медленными, тяжелыми волнами льется эта пѣсня о Сахалинѣ, гдѣ вѣчно звенятъ море и цѣпи...

Спитъ тамъ правда, спятъ законы,
Спятъ давно уже, давно...
И на всѣ людскіе стоны
Плещетъ море лишь одно...

Тюрьма поетъ свои страданія, клянетъ свою судьбу, прощается съ родиной и любовью, ненавидитъ своихъ тюремщиковъ и воспѣваетъ бродячую жизнь. И это пѣніе преступной, „несчастной“ и бродячей Руси сливается въ одинъ глубокій и мрачный стонъ.

Быковъ сидитъ на камнѣ и порой взглядываетъ на узенькое окно круглой башни, куда посадили скованнаго Самсона. Онъ понравился Быкову своей силой: камень, такъ легко брошенный въ ворота, Быковъ пробовалъ поднять—и не могъ. Онъ прислушивается, какъ силачъ по временамъ начинаетъ бить въ желѣзную дверь башни.

— Ироды! Христопродавцы!—глухо доносится оттуда:—я всѣ ваши башни размечу, всѣ ваши пташки-

кинарейки разлетятся! Наканунѣ святой Троицы! А? дьяволы! Я вамъ покажу кинареекъ!..

И Быкову слышенъ звонъ потрясаемыхъ цѣпей.

Но вотъ онъ видитъ, какъ огромныя лапы узника охватываютъ желѣзный переплетъ рѣшетки: посыпалась известка, желѣзные прутья зашатались, медленно вогнулись въ башню и—исчезли.

— Господи!—прошепталъ Быковъ, подходя къ башнѣ.

— Вотъ вамъ и рѣшетка! Вотъ вамъ ваши поганые кандалы!..

Въ окно къ ногамъ Быкова упала согнутая вдвое рѣшетка и сломанные наручники.

— Размечу!—грохотало изъ башни:—всю печку вамъ разворочаю! Господи! И для чего Ты мнѣ далъ такую силу? Неужто для того, чтобы вѣкъ въ тюрьмѣ сидѣть?

Никто не отвѣчалъ ему.

Тюрьма пѣла...

Типографія „Трудъ и Польза“, Фонтанка 71—21.

НОЧЬЮ.

I.

Во мракѣ шумѣлъ холодный вѣтеръ и бурлила рѣка. За желѣзнодорожной насыпью вздымалось море. Въ темнотѣ не видно было ни волнъ, ни бѣлой полосы прибоя, только слышно было, какъ что-то вздувалось тяжко и шумно, обдавая по вѣтру насыпь соленою пѣной и влагой, потомъ въ безсиліи съ плескомъ и шипѣніемъ разливалось у подножія насыпи, шумъ и плескъ стихали, удалялись въ глубь непроницаемаго мрака, на секунду наступала тишина, все смолкало, и потомъ снова нарождались, разростались и заполняли темноту ночи грозные голоса моря. Вверху гудѣла телеграфная проволока, и металлическій, за душу хватающій унылымъ однообразіемъ звукъ, ни на минуту не ослабѣвая, бѣжалъ, выдѣляясь изъ всѣхъ другихъ звуковъ бурной ночи и разыгравшагося моря. Отъ телеграфныхъ столбовъ тоже несся однообразный ровный и таинственный гулъ.

Во дворъ маленькаго домика, пріютившагося у самой насыпи, вышелъ босой въ одномъ бѣльѣ хозяинъ, мелкій торговецъ. На секунду по землѣ, по огорожѣ мелькнула длинная, узкая полоса свѣта, мгновенно погашенная прихлопнутой дверью.

Въ первый моментъ Шаблаевъ послѣ свѣта ничего не могъ разобрать; постоялъ съ минутку, глаза привыкли къ темнотѣ, и онъ сталъ различать черную громаду насыпи, возвышавшейся за дворомъ.

Шаблаевъ обошелъ домъ, попробовалъ замокъ на воротахъ и въ лавкѣ и спустилъ съ цѣпи радостно прыгавшую на него и повизгивавшую собаку.

— Урожай будетъ, дружная весна... О-хо-хо, прости Господи... Часа два небось.

Онъ широко зѣвнулъ, поеживаясь и пожимаясь отъ ночной свѣжести, и покрестилъ ротъ.

Сильный порывъ вѣтра донесъ съ рѣки звукъ, похожій на человѣческій вопль. Шаблаевъ чутко прислушался: попрежнему шумѣлъ вѣтеръ, бурлила рѣка, билось внизу у насыпи море и жалобно звенѣла проволока.

— Попритчилось, вишь погода-то.

И, одиноко бѣлѣя среди ночного мрака, онъ направился къ двери.

Въ промежутокъ, когда отхлынулъ и присмирѣлъ морской прибой, снова и уже явственно донеслось:

— Пропада-аю... ратуйте, добрые люди... погиба-аю...

Шаблаева какъ ножомъ полоснуло по сердцу:

— А вѣдь и впрямь человѣкъ: либо тонетъ, али воры рѣжутъ.

Онъ бросился въ домъ и сталъ торопливо одѣваться.

— Мать, а мать, гони скорѣй Ванятку въ полицію: на рѣкѣ человѣкъ тонетъ, либо рѣжутъ.

— А?.. что?.. чего не спишь?—говорила женщина, приподнявшись на постели и съ усиліемъ раздирая заспанные глаза.

— Буди Ванятку, говорю.

Шаблаевъ досталъ изъ-подъ кровати толстую желѣзную палку и бросился изъ дому. Какъ разъ мимо двора ѣхалъ запоздалый извозчикъ. Шаблаевъ остановилъ его:

— Стой, слышишь, человѣкъ на рѣкѣ тонетъ, надо помощь дать...

Тотъ хлестнулъ лошадь и скрылся. Шаблаевъ вска-

рабкался по насыпи и побѣжалъ по шпаламъ, спотыкаясь и цѣпляясь за рельсы. А кругомъ стихнетъ на минуту, потомъ набѣжитъ изъ-за рѣки вѣтеръ, и опять слышно, какъ въ темнотѣ, надрываясь кричитъ и молитъ кто-то о помощи:

— Погиба-аю... отцы родные... изъ послѣднихъ силъ... мочи моей нѣтъ...

У переѣзда, неподвижно выдѣляясь темной фигурой, стоялъ сторожъ. Шаблаевъ подбѣжалъ къ нему.

— Что же стоишь, не слышишь—человѣкъ тонетъ.

— Слышу, часа два ужъ онъ кричитъ, да что же я сдѣлаю.

— Почему ты не далъ знать на спасательную станцію? вѣдь она тутъ же, возлѣ.

— Какая станція? не знаю я... мнѣ съ поста нельзя сходить...

Шаблаевъ бросился на станцію и сталъ стучать.

— Вставай, дѣдъ, давай лодку, да поѣдемъ спасать человѣка.

За дверями дѣдъ кряхтитъ, возится, лазаетъ руками, никакъ крючка въ потемкахъ не найдетъ; наконецъ нашелъ, отложилъ.

— Чего надыть? Что за люди?

— Лодку давай, ѣхать надо.

— Ась? не слышу.

— Э, старый глухарь! лодку, тебѣ говорятъ, давай скорѣй, да поѣдемъ, человѣкъ тонетъ.

Дѣдъ обидѣлся.

— Чортяка его занесла!.. въ экую непогодь тонуть вздумалъ. Куда мнѣ ѣхать? Старый я человѣкъ, не совладаю, все одно пропадемъ, слышь, какъ рѣка бурлитъ, а темь... Подождать бы до утра. Ну да попробую звонить,—не услышитъ ли кто, которые записались у насъ добровольцами. О, Господи Іисусе, Матерь Божія!..

Вышелъ дѣдъ, пожимается отъ холода, кряхтитъ.

Подошелъ къ столбу, взялся за веревку колокола и началъ дергать. И среди глухой ночи сталъ тревожно разносить вѣтеръ надъ слободкой, надъ спавшимъ городомъ безпокойные, торопливые звуки набата. Только трудно было ожидать, чтобы услышалъ кто; былъ второй часъ ночи, всѣ крѣпко спали. Изъ-за звука ли колокола не стало слышно, ослабѣлъ ли человѣкъ или утонулъ, только съ рѣки ничего не доносилось уже, кромѣ шума вѣтра да плеска волнъ.

— Ну, такъ я самъ поѣду,—съ сердцемъ проговорилъ Шаблаевъ,—нельзя же христіанской душѣ дать пропасть.

Онъ спустился къ рѣкѣ, отвязалъ лодку, ухватился за весла и сталъ грести. Теченіе моментально подхватило лодку, неясныя очертанія берега, темный силуэтъ станціи пропали. Кругомъ была непроглядная темь да смутно мелькавшая мимо бортовъ темная водная поверхность. Водовороты, крутясь воронкой, съ угрожающимъ бульбуканьемъ проходили подъ лодкой, поворачивая ее во всѣ стороны и стараясь втянуть въ пучину. Переполненная весенними водами рѣка рвалась, какъ бѣшеная, между тѣснившими ее берегами.

Дѣдъ нѣкоторое время продолжалъ дергать веревку отъ колокола, потомъ подвязалъ ее къ столбу, постоялъ немного, послушалъ, какъ шумитъ вѣтеръ и вода, почесалъ спину, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и пошелъ въ свою коморку:

— О-хо-хо-хо!.. помилуй насъ грѣшныхъ, Господи, Мать Пресвятая Богородица. Ишь ты въ какую непогодь да темь искать его. Не могли подождать до утра. Гдѣ его теперя сыщешь? Ну, да надо думать, теперича онъ потонулъ. Да и этотъ тоже потонетъ... О-о-хо-хо... Господи помилуй!..

Черезъ минуту въ коморкѣ сталъ раздаваться мѣрный храпъ дѣда.

II.

На берегу не было ни одного живого существа. А на срединѣ рѣки, среди волнъ, среди вѣтра и непроглядной ночной тьмы бился Шаблаевъ. Онъ былъ совершенно одинъ, отрѣзанный ото всего міра. Куда ѣхать? Ни звука, ни огонька, никакой примѣты, непроглядная густая тьма сверху, съ боковъ, со всѣхъ сторонъ шла вмѣстѣ съ лодкой, и слышно лишь было, какъ торопливо плескались волны въ борта. Ледоходъ на рѣкѣ кончился, но еще проносились ледяныя глыбы, и порою ихъ бѣлесоватыя очертанія смутно выступали въ темнотѣ, и въ слѣдующее же мгновеніе исчезали во мракѣ, уносимыя теченіемъ. Если одна изъ такихъ глыбъ ударитъ въ лодочку, она сейчасъ же пойдетъ ко дну. Съ берега никто не подастъ помощи, да и пока соберется народъ—все будетъ кончено.

„Ворочусь ли, нѣтъ ли теперь домой,—думаетъ Шаблаевъ,—и человѣка не спасу, и самъ погибну. Если повернуть къ берегу, успѣю еще прибиться“.

Но гдѣ берегъ? откуда и куда идетъ теченіе? куда надо держать? Тьма все перепутываетъ, все уравниваетъ: нѣтъ ни лѣвой, ни правой стороны, кругомъ одинъ и тотъ же однообразно-непроницаемый мракъ. Шаблаевъ понялъ, что кружится въ темнотѣ на одномъ мѣстѣ и несетъ его быстрое теченіе къ морю, а тамъ вѣрная гибель. Онъ уже теперь не думалъ о томъ человѣкѣ, для котораго выѣхалъ, и отчаянно работалъ веслами наугадъ, только бы выбраться изъ этой пучины.

Вдругъ надъ рѣкой среди ночной мглы пронеслось:

— Ратуйте, добрые люди!..

Шаблаевъ изо всѣхъ силъ налегъ на весла. Теперь ему одно спасеніе—этотъ крикъ; тамъ берегъ. Онъ повернулъ лодку въ ту сторону, откуда донесся крикъ и сталъ грести. На рукахъ вздулись пузыри, взмокшая

уцѣпился за толстую крыгу, насилу вылѣзъ, и собачонка выпрыгнула. Колышется проклятая крыга подъ ногами, вода на нее забѣгаетъ, отдѣлилась отъ берега и поплыла по теченію къ морю. Пропалъ!.. думаю; сталъ Богу молиться. Но крыга зацѣпилась, покачалась и стала. Сталъ я кричать, кричалъ, кричалъ, голосъ порвалъ; никто не подаетъ помощи, и кругомъ темь, хочь глаза коли. Проходитъ часъ, другой, сталъ я костенѣть. Ежели, думаю, останусь на крыгѣ, не доживу до утра, а въ воду прыгну, сейчасъ же, какъ ключъ, пойду ко дну. И легъ на ледъ. Сначала было холодно, а потомъ сталъ сонъ клонить. Тутъ бы и смерть, да собачонкѣ, видно, не хотѣлось помирать: прыгаетъ, визжитъ, лижетъ лицо, а то вдругъ зачнетъ выть, да такъ, ажъ за сердце хватаетъ, не даетъ покою. Поднялся, взялъ собачонку на руки и сталъ опять кричать. Обезсилю, потеряю голосъ, замолчу, а потомъ опять. Послѣдній разъ думалъ: ну, покричу еще, не подадутъ помощи—слѣзу въ воду.

Шаблаевъ снялъ съ себя кафтанъ и кинулъ незнакомцу.

— Вотъ спасибо, а то нутро трусится.

— Да ты изъ какихъ будешь?

Въ темнотѣ помолчали, потомъ опять послышался сиплый голосъ:

— Не здѣшній.

Нѣкоторое время весла мѣрно падали въ воду.

— Въ работникахъ живешь, али какъ?

— Нѣ-ѣтъ, по заводамъ больше работалъ.

Опять помолчали.

— Былъ конь, да изъѣздился, былъ работникъ, да износился. Теперь иду въ свою деревню, дохтора сказываютъ, у меня въ грудѣ половина нутра сопрѣла, да брешутъ... Жена у меня тамъ, мы ужъ года четыре какъ врозь живемъ.

— Что такъ, али баба плохая?

бѣгущая мимо темная поверхность воды. Куда теперь ѣхали, гдѣ были берега и въ какую сторону шло теченіе—никто не зналъ. Мѣрный и грозный шумъ, то выраставшій, то падавшій становился явственнѣе. Это было море. По сторонамъ отъ лодки попрежнему выступали и исчезали въ темнотѣ проносившіяся льдины.

Когда сюда ѣхалъ Шаблаевъ, онъ держалъ путь на голосъ, теперь же, кромѣ шума теченія, ничего не было слышно. Работаетъ онъ веслами наудачу, озирается и вдругъ видитъ во мглѣ, какъ звѣздочка, загорѣлся огонекъ. Видно,—это извозчикъ подъѣхалъ къ берегу, либо догадались фонарь выставить. Шаблаевъ поворотилъ туда лодку и сталъ грести. Огонекъ понемногу сталъ дѣлаться ярче, и вправо все отходитъ: сноситъ теченіемъ лодку.

Страхъ совсѣмъ прошелъ у Шаблаева. Серебряная медаль „за спасеніе“, похвалы, удивленіе его подвигу, то, что о немъ будетъ говорить теперь весь городъ, и вмѣстѣ жалость къ этому дрожавшему и непопадавшему зубъ на зубъ человѣку, съ лохмотьевъ котораго бѣжала холодная вода, странно путаясь, мѣшались съ впечатлѣніями темной ночи, плескомъ рѣки, шумомъ вѣтра и отдаленнымъ прибоемъ моря.

— Да ты какъ врюхался-то?

— Я-то,—послышался въ темнотѣ гнусавый голосъ,—думалъ переѣздъ тутъ у васъ. Иду, значитъ, по берегу, ни парома, ни лодки. Ледъ хруститъ подъ ногами. Собачонка впереди бѣжитъ, темь такая, хоть глазъ выколи, не разберешь—не то ледъ на берегу лежитъ, не то на водѣ, да вдругъ провалился и съ головой окунулся въ воду. Барахтаюсь, цѣпляюсь за ледъ, а онъ расходится подъ руками, мелочь набило къ берегу. Уцѣпился за крыгу, вылѣзъ, а она закачалась и отошла отъ берега. Испугался, вотъ унесетъ, думаю, теченіемъ, опять въ воду, да никакъ не пробьюсь, мелкій ледъ кругомъ, закоченѣлъ весь, вижу тону,—опять кое-какъ

ни гроша. На заводѣ какъ: сколько ни получишь, мало ли, много ли, все проживаешь, жизнь, значитъ, такая. Кинулся я туда, сюда, нѣтъ мѣстовъ, вездѣ биткомъ. Трудно было, одежу всю проѣли, прежде я съ форцемъ ходилъ, а то обносился, чисто босякъ; Θекла обтрепалась, то гладкая была, а то высохла, худая, желтая, да злая стала. Одежу проѣли всю. Тутъ промежъ насъ свара пошла. Что жъ ты, говоритъ, за мужъ такой, жену не можешь содержать, на кой лядъ ты мнѣ здался, мужчину я, говоритъ, завсегда себѣ найду. Побилъ я ее, напился со злости. Поступили мы тутъ на табачную фабрику, ну, тоже долго не продержались, потому, какъ подошла зима, привалило народу, плату сбавили, могуты не стало, впроголодь живешь въ подвалѣ. Стали заявлять въ конторѣ, чтобъ прибавку дали, насъ и прогнали совсѣмъ. Много, говорятъ, васъ теперь шляется, и дешевле пойдутъ работать. Тянулось такъ года два: найдешь работу, на заводъ, на фабрику поступишь, станешь оправляться, одежу заведешь, полюдски мало-мало станешь жить, когда и чайкомъ, и водочкой въ трактирѣ побалуешься, пройдетъ мѣсяцевъ пять, шесть, глядь, анъ ты и безъ мѣста, либо производство сократили, лишнихъ рабочихъ уволили, али со старшимъ зацѣпка выйдетъ, ну и зачинаешь проѣдать одежу, опять сказка про бѣлаго бычка начинается снаизнова. Нашъ братъ, какъ на краю лежитъ: чуть тебя пихнетъ, и покатился, карабкайся сызнова.

— Ты для легкости, видно, и пропилъ все, босячкомъ сталъ.

— Жена меня бросила,—продолжалъ незнакомецъ, попрежнему не замѣчая иронiи въ репликѣ Шаблаева.— Бросила, я, говоритъ, молодая и жить хочу въ свое удовольствiе, а ты шалга, куда хочешь. Тутъ ужъ я ее хорошо побилъ: два зуба выбилъ, ухо оборвалъ, ребро подшибъ. А въ концѣ концовъ она живетъ теперь со штейгеромъ. Я и закурилъ тогда: все пропилъ. Мѣсяцъ

цѣлый въ голомъ видѣ въ босякѣ сидѣлъ, мастерская столярная недалеко была, такъ въ стружкахъ спалъ. Потомъ въ Питеръ попалъ, тамъ всего навидался.

— И тюрьмы небось нюхалъ? Дай-ка сюда кафтанъ.

— Всего бывало. Ну только намучился. Пить даже бросилъ, выпью, все назадъ. Не могу, не принимаетъ. Теперя иду домой въ деревню, недалече тамъ шахты, такъ на шахтахъ жена со штейгеромъ живетъ. Скажу: Ѳекла, будетъ, брось, побаловалась и будетъ. Возьмемся за работу, отецъ помощь дастъ, опять на ноги станемъ. Въ боку все юлитъ: въ больницѣ сказывали половина нутра отгнило, дескать. Врутъ. Только бы одно: полиція не взяла бы. Такого особеннаго за мной ничего не числится, ну только по бумагѣ я долженъ идти въ Маріуполь, а я вотъ въ деревню. Защемило сердце. Не могу, т.-е., вотъ хоть помереть, а Ѳеклу хочется повидать, сказать ей, что весь сурьезъ промежду насъ кончился, а потомъ въ городъ айда, пропишусь, и, значитъ, заживемъ съ женой, какъ съ первоначалу. По волчьему билету вѣдь я.

Шаблаевъ на секунду задержалъ въ воздухѣ весла.

— Какъ говоришь: по волчьему?

— По волчьему билету.

Шаблаевъ съ силой зашумѣлъ веслами о воду и сильно двинулъ лодку впередъ.

Опасности, которыя ему угрожали со всѣхъ сторонъ во тьмѣ, теперь казались нелѣпыми, безсмысленными, точно онъ сдѣлалъ какую-то грубую ошибку, сдѣлалъ не то, что слѣдовало.

Онъ почувствовалъ усталость. Руки съ усиліемъ откидывали весла, поясницу ломило. Въ головѣ безпорядочно проносились картины его лавки, дома, толстыя двери, крѣпкіе запоры, глухія ставни и то чуткое ощущеніе напряженности и осторожности, съ какимъ онъ всегда прислушивался по ночамъ, карауля свое добро домовитаго хозяина.

Собачонка спрыгнула съ рукъ незнакомца на дно

лодки и взвизгнула. Тотъ нагнулся и взялъ ее опять на руки.

— Тише, чортъ, лодку качаешь... такъ и двину весломъ!..

Передъ носомъ лодки изъ темноты неясно выступилъ берегъ. На берегу смутно виднѣлись темные силуэты людей, извозчичьей пролетки и лошади. Свѣтъ фонаря съ передка пролетки падалъ узкой полосой на темную воду и дробился въ набѣгавшихъ волнахъ. Съ моря все также грозно и мѣрно доносился шумъ прибоя.

Лодка мягко вошла въ песокъ. Къ ней подошелъ извозчикъ и два полицейскихъ съ бляхами.

Шаблаевъ не спѣша сложилъ весла и выбрался на берегъ. Выбрался за нимъ и незнакомецъ. Онъ сталъ благодарить все тѣмъ же сиповатымъ голосомъ за свое спасеніе, потомъ сдѣлалъ движеніе уйти.

— Погоди,—проговорилъ Шаблаевъ, положивъ ему руку на плечо; и потомъ, обернувшись къ полицейскимъ, проговорилъ:

— Берите его—безпашпортный!

Дозв. ценз. Спб. 10 Іюня 1905 г. Тип. „Трудъ и Польза". Спб. Фонт. 71—21.

С. Елпатьевскій.

СПИРЬКА.

I.

Легенда была про нашъ Загорскъ. Старая соборная просвирня часто мнѣ, бывало, разсказывала.

Въ давнія-давнія времена, когда народу русскаго было еще совсѣмъ мало и кругомъ шли лѣса да болота, на нашей горѣ поселился святой человѣкъ,—столпъ себѣ выстроилъ и никуда изъ столпа не выходилъ, все Богу молился. А трактъ и тогда былъ,—изъ низовыхъ мѣстъ мимо насъ ѣхали. Странній человѣкъ проѣдетъ, поговоритъ со столпникомъ, благословенія на дальній путь спроситъ,—что изъ запасовъ оставитъ; кое-гдѣ людишки по лѣсамъ жили, прослышали про столпника, ѣду носить стали. А въ Чортовомъ-болотѣ разбойники жили,—въ родѣ городка тамъ у нихъ было. Болото было не какъ нынче: отъ самой горы на тридцать верстъ шло, и никто туда—ни звѣрь, ни человѣкъ—проскочить не могъ, только одни разбойники тропу и знали.

По ночамъ на добычу выѣзжали на трактъ, купцовъ поджидали, проѣзжающихъ людей,—пожитки отнимутъ, а кто волей не отдастъ—зарѣжутъ. Вотъ, бывало, раннимъ утречкомъ и ѣдетъ ватага въ свое воровское гнѣздо, добро везетъ, полонъ ведетъ, а столпникъ въ столпѣ стоитъ и Бога славитъ. Не трогали его разбойники.

— Что,—скажетъ атаманъ,—молишься, старикъ?

— Молюсь, — говоритъ, — люди добрые, молюсь. За

души ваши окаянныя молюсь, кровь человѣческую съ васъ отмаливаю.

Въ ину пору измываться станетъ атаманъ.

— Хороши,—скажетъ,—на свѣтѣ, старче, утицы матерыя, лебедушки бѣлыя, а соколу то и надо, то ему, охальнику, и любо.

Разгнѣвится тутъ угодникъ Божій, укорныя слова почнетъ говорить, бѣсомъ-мучителемъ, судомъ страшнымъ, адомъ кромѣшнымъ стращать примется.

А атаманъ все смѣется.

— Погоди,—скажетъ,—дѣдушка, дай намъ, молодцамъ, по бѣлу-свѣту полетать, съ бабами-дѣвками поиграть... Натѣшится, утихнетъ сердце молодецкое, ту пору къ тебѣ придемъ.—И точно. Долго ли, коротко ли,—пришли. Незадача имъ какая-то вышла,—ребеночка, что ли, пришибли, а мать съ горы внизъ головой кинулась,—только ѣдутъ они мимо столпника невеселые, сумерые. И принялся тутъ столпникъ слова свои имъ вычитывать. Слѣзъ атаманъ съ коня, спѣшилась ватага его, и пали они столпнику въ ноги. Съ той поры и монастырь почался. Келейки себѣ около столпника они построили, храмъ Божій уладили, рясы, вериги на себя надѣли. Люди стали вокругъ монастыря собираться, валомъ себя огородили, а тамъ и князья сѣли.

Такъ мнѣ просвирня соборная разсказывала.

Богатый монастырь разросся на томъ мѣстѣ, гдѣ столпникъ Богу молился, люди далеко за валъ разселились, князья посидѣли, посидѣли, да ушли, а послѣ князей воеводы строгіе не переводились, капитаны-исправники сердитые, и воинство въ городѣ стояло,—я еще помню, мы, мальчишки, „гарниза-пуза“ называли,—а мѣсто все оставалось темное и разбойное, все не переводились лихіе люди, и не разъ страшное „караулъ“ доносилось до насъ изъ-подъ горы, когда мы, бывало, гурьбой ходили въ болото за ягодами.

Въ верстѣ отъ монастыря начинался длинный крутой

спускъ, весь изрытый дорогами, по которымъ такъ трудно было подниматься въ осеннее время, когда дожди размачивали глину, а отъ горы на двадцать верстъ густымъ темнымъ лѣсомъ, безъ человѣческаго жилья, тянулся трактъ. И некуда было кинуться съ дороги проѣзжающему человѣку,—съ одной стороны, стѣной стоялъ дремучій лѣсъ, съ другой—на десятки верстъ тянулось Чортово-болото, въ которомъ когда-то было разбойничье гнѣздо.

Первая деревня по тракту называлась Татинцы, страшная деревня,—въ темномъ лѣсу, къ дорогѣ спиной обернулась, а окнами въ лѣсъ глядѣла,—про которую изстари шла дурная слава.

Изъ этихъ Татинцевъ, изъ этого темнаго разбойнаго мѣста и Спирька вышелъ.

II.

Маленькій я былъ. Ѣхалъ купецъ, должно быть, изъ дальнихъ мѣстъ,—такъ и не дознались, кто такой и откуда,—не поостерегся ночного времени и разбойной горы и посередь горы смерть себѣ нашелъ. Рано утромъ, когда у столпника звонили къ утренѣ, наѣхала почта на плававшаго въ крови и еще дышавшаго купца,—тутъ же и померъ онъ. Взяли Кондрата, татинскаго мужика,—дѣло еще при старыхъ судахъ было. И рукавицу Кондратову рядомъ съ купцомъ нашли, и топоръ его же въ крови недалеко въ лѣсу валялся, и на валенкахъ кровь оказалась, и дóма въ ту ночь не ночевалъ; а потомили его въ острогѣ, сколько должно, повытянули изъ него, что было можно, и выпустили на всѣ четыре стороны, „оставивши въ подозрѣніи“.

Пожилъ Кондратъ малое время у себя, въ Татинцахъ, а потомъ въ городъ переѣхалъ и сына Спирьку—вдовый былъ Кондратъ—съ собой привезъ, купилъ домишко у мѣщанина на краю города, гдѣ слободка начиналась, постоялый дворъ открылъ, одинъ этажъ над-

строилъ, внизу лавочку завелъ,—деготь, кнутъ, соль, овесъ продавать сталъ,—а вверху питейный открылъ и елочку прибилъ, чтобы знатко было.

Чуть помню я Кондрата. Коренастый, сутуловатый, съ большой головой, ушедшей въ плечи, съ черной всклокоченной бородой, онъ сидѣлъ лѣто и зиму въ валенкахъ и полушубкѣ—въ тюрьмѣ простудился—на завалинкѣ у воротъ своего постоялаго двора. Мы, мальчишки, боялись его и старались далеко обходить его лавочку. Помню, меня особенно пугали брови его,—черныя, косматыя, онѣ тяжело нависли надъ глазами и все двигались. Сидитъ Кондратъ, бывало, на завалинкѣ, наклонивши голову, и словно дремлетъ, а брови шевелятся. И борода и волосы на головѣ потомъ посѣдѣли, а брови все оставались черныя и косматыя и все шевелились.

Съ той поры и началось мое знакомство со Спирькой. Немного постарше меня онъ былъ, на улицѣ встрѣчались, дирались не разъ, когда слободскіе мальчишки выходили на насъ, учениковъ уѣзднаго училища. Не сильный онъ былъ, а ловкій, верткій и все штуки разныя устраивалъ, за которыя мы и не любили его. То гирьку чугунную въ кулакъ зажметъ, то въ бокъ, либо подъ ребро ударитъ, когда положеніе было бить только по скулѣ, а бороться станетъ—все норовитъ подъ ножку, чему положенія тоже не было. И въ орлянку перестали его принимать, послѣ того какъ съ двухъорловымъ пятакомъ разъ накрыли его. Скоро, впрочемъ, пересталъ онъ и на улицу выходить,—засадилъ его Кондратъ за стойку. Изрѣдка не утерпитъ Спирька, услышитъ—бой идетъ,—выскочитъ; изобьетъ его послѣ Кондратъ до полусмерти, и опять Спирьку цѣлыми мѣсяцами на улицѣ не видать.

А Кондратъ все ширился: прикупилъ мѣсто у сосѣда, постоялый дворъ увеличилъ, амбары понастроилъ большіе, а кругомъ своихъ владѣній выстроилъ высокій

заборъ, гвоздями его убилъ, стекла̀ битаго наложилъ, лютыхъ псовъ на цѣпь посадилъ. Бойко пошли дѣла. Въ тѣ времена обозы безостановочно тянулись черезъ нашъ городъ, — Кондратовъ постоялый дворъ всегда былъ биткомъ набитъ, и питейный хорошо торговалъ, и лавочка не пустовала.

Подошли года Спирькѣ, женилъ его Кондратъ, деревенскую взялъ, свою же, татинскую.

Вышла Василиса баба на удивленіе. Счету скоро выучилась, даже и записывать отъ Спирьки переняла. И къ Кондратову дѣлу подъ-стать, неугомонная: и ѣду сваритъ, и вымететъ, и вычиститъ, и въ лавкѣ и на дворѣ управится, весь день не присядетъ, ногъ подъ собой не слышитъ, а придетъ вечеръ—урвется на слободку, пѣсни играетъ, хоть въ плясъ пускаться. И все веселая, здоровая, изъ себя красавица, краснощекая брови писаныя, глаза большіе, каріе.

Еще лучше пошло дѣло. Сталъ Кондратъ скупать туши мясныя, птицу битую и все, что везли обозы въ нашъ городъ. По двору и по питейному самъ Кондратъ съ Василисой управлялся, а Спирьку сталъ посылать на гору хлѣбъ покупать.

III.

На ту же гору... Такъ же звонятъ къ утрени у столпника, чуть брезжитъ морозное зимнее утро, а въ перелѣскѣ на горѣ, гдѣ начинается спускъ, попрыгивая въ валенкахъ и похлопывая рукавицами, уже дожидаются торговцы. Изъ-подъ горы въ морозномъ туманѣ тянутся крестьянскія розвальни съ рожью, овсомъ, крупой. Какъ въѣдутъ мужики на гору и остановятся дать лошадямъ вздохнуть, такъ и налетитъ на нихъ стая. Лошадей подъ уздцы схватятъ, и начнется тутъ торгъ, и ужъ мужику не отбиться: не дадутъ ему въ городъ проѣхать, по вольной цѣнѣ продать. Изругаютъ его ру-

гательски, затолкаютъ, задергаютъ, и сдѣлается мужикъ какъ шальной и везетъ по цѣнѣ, которую дадутъ ему на горѣ. А Спирька впереди всѣхъ. Голосъ у него былъ звонкій, никто не могъ перекричать его, а мужика прямо за горло хваталъ.

— Да ты чего, дура полосатая? Тебѣ цѣну даютъ, а ты рыло воротишь? Въ городу два цѣлковыхъ на колѣняхъ напросишься, а я тебѣ, идолу, два съ гривной даю. Да что мнѣ съ тобой, дуракомъ, разговаривать что ли? Ну, ну,—рѣшаетъ Спирька,—поворачивай!

Мужикъ поворачиваетъ и покорно ѣдетъ за Спирькой на его широкій дворъ. И тамъ мужикъ какъ шальной, словно въ туманѣ, смотритъ, какъ Спирька ссыпаетъ его хлѣбъ, и то и дѣло дивится да руками разводитъ: какъ аккуратно дома мѣрилъ, а у Спирьки двухъ мѣръ не хватаетъ. На вѣсахъ прикинетъ—все недохватка.

Конечно, не всегда гладко сходило. Попался разъ озорной мужичонко, орать сталъ, въ драку полѣзъ, а когда прибѣжалъ на шумъ квартальный, показалъ ему, гдѣ былъ налитъ свинецъ снизу чашки вѣсовъ, и какая емкая мѣра у Спирьки.

Знаменитый былъ тогда въ нашемъ городѣ квартальный надзиратель — гроза для купцовъ, а добрый. Выбилъ Спирькѣ два зуба да серію взялъ, а до суда недовелъ.

Были у Спирьки и другіе способы. Выйдетъ заминка въ расчетѣ, поведетъ онъ мужика въ свой питейный, стаканчикъ съ холодку отъ себя поднесетъ; а водка у него была всякая, по человѣку глядя,—была и такая, что со стаканчика-то человѣкъ обалдѣетъ, и бери его голыми руками. И расчетъ гладко пойдетъ, товаромъ вмѣсто денегъ Спирька расплатится, и все безъ убытку.

Скоро Спирька пересталъ на гору ходить, приказчика сталъ посылать, а самъ только ссыпалъ да по городу бѣгалъ, по уѣзду шмыгалъ. Дѣлъ много у него открылось: живодёрню завелъ, лавку на базарѣ, и въ уѣздѣ

дѣла оказались. Стали о Спирькѣ въ городѣ поговаривать, особенно послѣ того, какъ онъ муку въ Самару спустилъ. Тамъ голодъ былъ въ то время; скупилъ Спирька по деревнямъ ометы старые, мышами изъѣденные, соломы намололъ, мукой сдобрилъ и отправилъ въ Самарскую губернію большую партію—четвертый сортъ назвалъ ее. По сходной цѣнѣ продалъ и даже отъ кого слѣдуетъ благодарность получилъ.

А другой разъ, попозже было, такой фортель устроилъ, что самые прожженые загорскіе жохи только ахнули да руками развели. На низу чума была, хоть и далеко, а строгости у насъ пошли. Дознались, что снизу обозъ съ мерзлымъ судакомъ идетъ и что мимо тѣхъ чумныхъ мѣстъ проходилъ. Морозы тогда стояли крещенскіе, лютые, больше тысячи верстъ шелъ судакъ отъ тѣхъ мѣстъ, и никакихъ на немъ чумныхъ знаковъ не нашли; тѣмъ не менѣе, для безопасности, какъ говорило тогда начальство, свалили судака въ оврагъ за городомъ, облили керосиномъ и зажгли. Много тогда обыватели даровымъ судачкомъ попользовались, а на обѣдѣ у исправника,—какъ разъ день рожденія его подошелъ,—долго смѣялись, когда уѣздный казначей — нашъ извѣстный шутникъ – положивши на тарелку разварного судака, обратился къ хозяину:

— Что это, Анемподистъ Савельичъ, судачокъ будто керосинчикомъ припахиваетъ?

Пока обыватели судака изъ оврага потаскивали да пироги изъ него пекли, Спирька соображалъ. И сообразилъ. Разослалъ подручныхъ по постоялымъ дворамъ по тракту (а ужъ слухъ про судака весь уѣздъ облетѣлъ, — обозы, что въ это время въ Москву тянулись, пріостановились и въ нерѣшимости ждали на постоялыхъ дворахъ) и черезъ подручныхъ пустилъ слухъ, что приказано все жечь, но что съ оглядкой провести можно,—и путь указалъ,—а онъ, Спирька, приметъ. И началось тутъ удивительное дѣло. Цѣлыя ночи по за-

[illegible] обходъ города, тянулись обозы и [illegible] съ воровскимъ добромъ, со слободы [illegible] въ Спирькинъ дворъ. Принималъ [illegible], а возчики еще кланялись и благодарили. [illegible] время шло къ масленицѣ, а товаръ [illegible] же судакъ, птица битая, туши свиные [illegible], и отволгнетъ.

[illegible] узнали эту исторію, бросились къ исправнику, но [illegible] было сдѣлано: не только амбары, но и [illegible] дворъ Спирьки былъ заваленъ товаромъ, а въ [illegible] не оказалось ни рыбы, ни мяса, ни птицы. [illegible] Спирька на мѣстѣ попользовался, много [illegible] отправилъ и въ большую славу вошелъ. А исправникъ посердился на первыхъ порахъ, а потомъ [illegible] сталъ и тѣхъ же купцовъ назвалъ ротозѣями и простофилями.

IV.

Какъ сейчасъ помню я тогдашняго Спирьку. Въ бѣлыхъ вятскихъ валенкахъ, въ сѣренькомъ полушубчикѣ на лисьемъ мѣху, крѣпко подтянутый кушакомъ ниже живота, въ своей неизмѣнной барсучьей шапкѣ, чуть не бѣгомъ бѣжитъ по базару Спирька,—бородку, рыженькую, рѣденькую, клинушкомъ, вверхъ держитъ, глаза бѣгаютъ, ноздри играютъ, кругомъ озирается и словно къ чему-то принюхивается. Еще издали осклабится и покажетъ выбитые квартальнымъ зубы, на минутку остановится, пожметъ руку и скажетъ свое любимое: „каково поживаете, кого прижимаете?“,—не успѣешь отвѣтить, а Спирька пробормочетъ тоже свое неизмѣнное: „за симъ пожелавъ вамъ“,—и дальше летитъ.

И все ему некогда. То на живодерню свою сбѣгаетъ, то въ лавку на базарѣ завернетъ, то у своего „ходателя“ посидитъ,—отставной полицейскій секретарь обдѣлывалъ всѣ юридическія дѣла Спирьки, не переводив-

шіяся у него, — а тамъ въ Чернопузовскій трактиръ спѣшить нужно, — въ родѣ биржи, гдѣ въ извѣстный часъ всѣ купцы наши собирались.

И тамъ Спирька не по-людски. Сидятъ всѣ какъ должно, блюдечки въ себя опрокидываютъ, степенно, не торопясь про дѣла говорятъ,—тишина въ трактирѣ стоитъ, только крышками отъ чайниковъ постучатъ, когда кипятку прибавить надо. А Спирька ворвется и заоретъ своимъ скрипучимъ хриплымъ голосомъ, - тамъ на горѣ еще охрипъ, тамъ же и орать привыкъ. И на мѣстѣ не посидитъ. Къ одному столику подсядетъ: „каково поживаете, кого прижимаете?“ перекинется двумя, тремя словами, къ другому перебѣжитъ, повертится съ полчаса, а тамъ скажетъ кому-нибудь: „за симъ пожелавъ вамъ“,—и нѣтъ Спирьки: раньше всѣхъ убѣжалъ.

За эту ухватку и звали его Спирькой. Спирька да Спирька, — за глаза никто иначе не называлъ, хотя Спирька уже въ силѣ тогда былъ и въ большихъ тысячахъ считали его, а Левонтій Никифоровичъ—первый купецъ въ нашемъ городѣ былъ, сукномъ торговалъ—тотъ прямо въ глаза называлъ.

— И что ты, Спирька, суматошишься? — скажетъ Левонтій Никифоровичъ:—какъ юла юлишь.—Купцы у насъ были степенные, бороды большія, рѣчи тихія, отъ отцовъ и дѣдовъ торговлю вели, перероднились всѣ между собой и Спирьки сторонились, въ свою компанію не принимали: „живодёръ“, презрительно говорили они про Спирьку.

Спирька рѣдко и дома бывалъ. Ссыплетъ утромъ хлѣбъ и пропалъ на весь день; разъ, два забѣжитъ только поѣсть да что хлебнуть. Иногда на цѣлую недѣлю уѣдетъ, по уѣзду рыщетъ.

— Дохнуть некогда... - жалуется мнѣ бывало Спирька.

Такъ и горѣлъ онъ цѣлые дни въ неугасимомъ огнѣ. Только по субботамъ и душу отводилъ. Бои у насъ въ зимнее время по субботамъ устраивались — слободскіе

на горожанъ стѣнка на стѣнку выходили. Съ дѣтскихъ лѣтъ страсть у Спирьки осталась. И зарекаться пробовалъ, а утерпѣть не могъ. Поѣдетъ только взглянуть, слово себѣ крѣпкое дастъ, — и все до первой крови. Какъ увидитъ кровь, помутится у Спирьки въ глазахъ, сброситъ полушубчикъ съ плечъ, въ одной рубашкѣ врѣжется въ толпу и пойдетъ чистить направо и налѣво, только бороденку рыженькую видно да зубы оскаленные, какъ у волка. Удастся кому-нибудь салазки на сторону свернуть, тогда Спирька доволенъ, — руки всѣ отмашетъ—плеть-плетью висятъ—рыло въ крови, иной разъ и у самого салазки на сторону сворочены,— а идетъ Спирька съ бою веселый. На другой, на третій день болитъ вездѣ у Спирьки, ломаетъ его всего,—ругается Спирька и опять зарокъ даетъ, а придетъ суббота, и не стерпитъ Спирькино сердце.

V.

Всѣ дѣла Спирька самъ велъ, отца не спрашивалъ. Скоро послѣ свадьбы онъ сократилъ Кондрата, отобралъ ключи отъ него и отъ всѣхъ дѣлъ отставилъ.

Изъ-за Василисы вышло. Сталъ Кондратъ къ снохѣ приставать, когда Спирька въ уѣздъ уѣзжалъ. Совѣстила его Василиса, стыдить пробовала, разъ разсердилась, скалкой избила, а другой разъ за ножъ схватилась — „зарѣжу“, говоритъ, „тебя стараго пса“, а въ концѣ концовъ пожаловалась Спирькѣ. Что у нихъ вышло съ Кондратомъ—неизвѣстно (болтали на слободкѣ, что кинулся было Кондратъ бить сына, но Спирька оказался сильнѣе и подмялъ его подъ себя), только старика параличъ разбилъ.

И поправился старикъ послѣ паралича, лѣтъ восемь еще прожилъ, но уже прежняго Кондрата не было. Весь онъ какъ-то принизился, на улицу рѣдко показывался, отъ всего отошелъ, равнодушный сталъ, а съ своими

почти не говорилъ: все сидѣлъ или лежалъ въ задней комнатушкѣ, да думалъ о чемъ-то, да бровями шевелилъ. Безъ меня онъ померъ, вскорѣ послѣ той чумы. Послѣ говорили мнѣ, какъ въ забросѣ и одиночествѣ умиралъ старый Кондратъ. По слободкѣ ходилъ слухъ, что послѣдніе дни Спирька все допытывался у старика, гдѣ онъ спряталъ свои деньги, и передъ смертью будто бы „потеребилъ“ отца, но Кондратъ укрѣпился, притворился нѣмымъ и все мычалъ и только во время соборованья совершенно явственно выговорилъ батюшкѣ:

— Въ чемъ лежу... въ чемъ лежу... положите...

Два дня послѣ смерти отца Спирька носился по амбарамъ и клѣтямъ, разыскивая отцовскія деньги. Перебралъ всю лавочку, половицы поднималъ, въ погребъ спускался, но толку не выходило. Нашли около тысячи старыми золотыми въ пазахъ подъ застрѣхой, да за печкой въ старой рукавицѣ около того же—и все тутъ, а Спирька самъ подсмотрѣлъ еще маленькій, когда отецъ въ чуланѣ деньги считалъ,—много денегъ было. Только предъ самымъ выносомъ Василиса вспомнила, какъ Кондратъ все повторялъ на соборованіи: „въ чемъ лежу“, „въ чемъ лежу“, и разрѣзала огромные, обшитые кожей валенки, въ которыхъ лежалъ покойникъ. Въ нихъ-то между подметками, за кожей и оказались деньги и, говорятъ, большія.

Похоронилъ Спирька отца честь честью,—съ перезвономъ, пѣвчіе на два клироса пѣли, пять священниковъ панихиду служили, у столпника мѣсто откупилъ и вкладъ на вѣчное поминовеніе вложилъ.

Послѣ смерти Кондрата Спирька развернулся, и когда черезъ годъ, уже врачомъ, я пріѣхалъ въ Загорскъ, я не узналъ Спирькинаго жилья. Домъ былъ перестроенъ и расширенъ, лавочка внизу была прикончена и сдѣланъ былъ черный трактиръ, а на выкрашенномъ въ зеленую краску второмъ этажѣ красовалась новенькая вывѣска съ золочеными буквами: „Пріятное свиданіе“. Тамъ

играла машина — нововведеніе въ нашемъ городѣ, сдѣланное Спирькой — за буфетомъ сидѣла расфуфыренная, съ брошками и браслетами, раздобрѣвшая и похорошѣвшая Василиса и пріятными улыбками встрѣчала гостей.

Спирькинъ духъ носился повсюду, все ходуномъ ходило: лакеи летали какъ очумѣлые, въ залѣ всегда было биткомъ набито, а машина азартно, охрипшимъ, словно Спирькинымъ, голосомъ цѣлые вечера гудѣла попурри изъ русскихъ пѣсенъ.

Торговцы со всего уѣзда сразу перешли къ Спирькѣ, и унылыя огромныя комнаты Чернопузовскаго трактира опустѣли, такъ какъ и городскимъ купцамъ пришлось, волей-неволей, вслѣдъ за деревенскими торговцами, съ которыми они имѣли дѣла, такъ же перейти къ Спирькѣ.

А сзади въ пристройкѣ открылись номера для пріѣзжающихъ. Тамъ останавливались тѣ же торговцы, помѣщики, которыхъ тогда было еще порядочно въ уѣздѣ; туда же послѣ чиннаго и благолѣпнаго чаепитія захаживали купцы пропустить рюмочку, другую, что зазорно было дѣлать въ залѣ, а разойдутся — и стуколку устроятъ. Особенно шумно было у Спирьки во время нашей маленькой ярмарки, когда съѣзжалось много помѣщиковъ и являлись купцы изъ другихъ городовъ: и номера были биткомъ набиты, и машина гудѣла цѣлые дни, а по ночамъ шла крупная игра.

Свои маленькія дѣла Спирька прикончилъ: закрылъ живодёрню и лавку на базарѣ и занимался только постоялымъ дворомъ, гостиницей да пріемкой хлѣба. И самъ Спирька перемѣнился. Сталъ одѣваться по-благородному, пиджакъ надѣлъ, брюки на выпускъ и сдѣлался солиднѣе и осанистѣе. Вѣнскіе стулья у себя въ квартирѣ завелъ, горшки съ геранью, кухарку нанялъ и Василису отъ всякаго чернаго дѣла освободилъ. Даже пересталъ на бои выходить и нашелъ себѣ другую забаву. Вмѣстѣ съ такими же любителями за кирпич-

ными сараями, въ укромномъ отъ полиціи уголкѣ, устроилъ собачью травлю и по воскресеньямъ, послѣ обѣдни, водилъ туда своего стараго лютаго волкодава. Мнѣ разсказывали: трясется весь Спирька, бѣлый стоитъ, когда остервенившіеся, окровавленные псы, вцѣпившись другъ въ дружку зубами, начнутъ кататься по землѣ, и разъ даже принуждены были схватить его за руки, такъ какъ онъ хотѣлъ самъ броситься въ свалку, когда его волкодавъ началъ было сдавать.

VI.

Я жилъ верстахъ въ 30 отъ города, но бывалъ въ немъ довольно часто и всегда останавливался въ Спирькиныхъ номерахъ.

Стали по городу слухи ходить про Спирькину гостиницу. Поговаривали, будто тамъ появлялись веселыя пѣсенницы, про крупную и подозрительную игру говорили, а на ухо передавали, что и Василиса не отказывалась съ хорошими гостями по кабинетамъ компанію вести. Кое-что и мнѣ бросалось въ глаза, и въ особенности я удивлялся, что все рѣже и рѣже сидѣла за буфетомъ Василиса.

Скоро я узналъ все. Съ купцами да помѣщиками Василиса набаловалась и стала попивать. Пробовалъ Спирька учить ее, смертнымъ боемъ билъ, — отлежится Василиса недѣльку отъ побоевъ да отъ перепою, и опять за свое. Пробовалъ и въ клѣть запирать и тетку свою—вѣдьма вѣдьмой—сторожить приставилъ, а ничего сдѣлать не могъ: урвется Василиса, раздобудетъ полштофъ и пойдетъ куралесить, ему же, Спирькѣ, въ залѣ при гостяхъ скандалъ сдѣлаетъ. Долго тянулась эта исторія, совсѣмъ перестала Василиса за буфетомъ показываться. Тогда Спирька и догадался, — отдалъ приказъ по дому: что Василиса Ларивоновна прикажетъ,

все подавать, только къ гостямъ на чистую половину не пускать.

И запила тутъ Василиса мертвую. Спирька вѣрно разсчиталъ.

Помню, рано утромъ,—земское собраніе тогда было, и я нѣсколько дней жилъ въ городѣ, — Спирька вбѣжалъ ко мнѣ взволнованный, испуганный и потащилъ меня въ одинъ изъ номеровъ, гдѣ ночью застрѣлился какой-то пріѣзжій. Дѣлать мнѣ было нечего: я засталъ самоубійцу мертвымъ и уже холоднымъ и хотѣлъ уходить, когда Спирька попросилъ меня посмотрѣть Василису. Мы шли длинными коридорами, и по дорогѣ Спирька изливалъ мнѣ свое горе.

— Вѣдь, вотъ подлецы какіе бываютъ! — злобно говорилъ онъ мнѣ. — Ему, негодяю, не все равно, гдѣ пулю-то себѣ пускать, коли ужъ Бога не помнитъ и себя забылъ, а онъ вотъ меня подводитъ... Канителься теперь съ полиціей! Ровно путный,—продолжалъ жаловаться Спирька, — пріѣхалъ вчера, номеръ занялъ, деньги впередъ заплатилъ, бутылку пива спросилъ... А онъ, подлецъ, вонъ какую штуку устроилъ! Вотъ тутъ и веди дѣло, — злобствовалъ Спирька и, размахивая руками, продолжалъ:—брошу, все продамъ, къ чортовой матери... Канитель одна.

— Василиса вотъ еще... Скружила меня, - съ такой же злобой отвѣтилъ онъ на мой вопросъ о женѣ.— Конечно, коли можно, попользуйте, только гдѣ ужъ поди... Помретъ вотъ въ одночасье, опять съ полиціей возись...

Я не узналъ Василисы,—вся распухшая, съ огромными ногами, съ раздувшимся, какъ пузырь, лицомъ, она лежала огромная и тяжелая на горѣ перинъ въ задней пристройкѣ, въ душной комнатѣ съ низкимъ потолкомъ. Отъ нея пахло водкой.

Дѣло оказалось очень плохое. Огромное сердце работало слабо, печень раздутая, почки тоже, очевидно

были поражены, и вся она казалась пропитанной водкой, которой пахло даже отъ ея пота.

— Что въ дверяхъ-то, ровно волкъ, хоронишься? — говорила она Спирькѣ, стоявщему за моей спиной.—Али не гожа стала? Спознался, подлецъ, съ полюбовницами, стащить бы Василису поскорѣе на кладбище...

— И то гожа!..—презрительно отвѣтилъ Спирька. — Посмотрѣла бы на себя въ зеркало... Налакалась, налила зенки-то! Сама не соблюла себя, дура...

— Не соблюла, не соблюла... — Василиса приподнялась и полусѣла въ подушки; она злобно смотрѣла щелками своихъ отекшихъ глазъ и трудно дыша, прерывающимся хриплымъ голосомъ говорила:

— Соблюдешь съ тобой... Постой, постой...—остановила она хотѣвшаго уйти Спирьку.—Вотъ я при господинѣ докторѣ разскажу. Вѣдь онъ что, ваше благородіе, звѣрь-то, со мной дѣлалъ! Сиди, говоритъ, съ гостями повальяжнѣй... А придетъ эта сволочь пьяная, цѣловаться лѣзетъ... — она выговорила циничное слово.—Рази я такая была? Чать мужняя жена... Съ души претъ, а онъ, песъ, Спирька, мужъ-то—говоритъ: „тебя, дура, убудетъ, что ли... Эка недотрога... только себя не теряй... И пей, говоритъ, коли просятъ, брюхо-то лудить не надо“... Ир-родъ!—злобно захрипѣла она.

Спирька дѣлалъ равнодушное лицо, позѣвывалъ и небрежно говорилъ:

— Болтай, болтай!.. Не въ себѣ,—кинулъ онъ мнѣ, — не въ разумѣ...

— Я-то не въ разумѣ?—снова захрипѣла Василиса.— А хочешь, я разскажу господину доктору?... Вѣдь ему, ваше благородіе,—обратилась она ко мнѣ,—давно бы въ острогѣ сидѣть надо... Что выворотилъ глазища-то? А помнишь, молодой-то Большаковъ застрѣлился,—кто у него бумажникъ-то...

Спирька бросился къ Василисѣ и совсѣмъ было схватилъ ее за горло, если бы я какъ-то инстинктивно

не отбросилъ его за шиворотъ въ уголъ комнаты. Такъ и остался онъ въ моей памяти. Онъ стоялъ, прислонившись къ стѣнѣ, блѣдный и весь трясся: злобные глаза расширились отъ ужаса, зубы щелкали, и весь онъ съ своими оскаленными зубами походилъ на волка, на котораго бросились собаки.

Василиса тяжело завалилась, сползла съ подушекъ и лежала безъ пульса. Я думалъ, что она умерла, но чрезъ нѣкоторое время она очнулась и съ пьяными слезами, всхлипывая, — Спирьки не было уже въ комнатѣ,—бормотала:

— И убьетъ... И убьетъ... — И снова обратилась къ старой темѣ.

— Не гожа стала, подлецъ... Волоки поскорѣе Василису на кладбище...

На другой же день Василиса умерла. Схоронилъ ее Спирька еще лучше, чѣмъ Кондрата: и священниковъ созвалъ больше и обѣдъ такой устроилъ, что перепились всѣ. Въ трехъ монастыряхъ вклады на вѣчное поминовеніе внесъ, сорокоустъ чуть не во всѣхъ церквахъ заказалъ.

VII.

Остался Спирька одинъ. Дѣтей у него не было. Пятерыхъ родила Василиса, но всѣ перемерли и какъ-то все случайно, — послѣдній мальчикъ въ лохани утонулъ, — въ суетѣ и хлопотахъ Спиркиной жизни некому и некогда было доглядѣть за дѣтьми.

Началъ Спирька послѣ смерти Василисы по цѣлымъ мѣсяцамъ изъ города пропадать. По уѣзду рыскалъ—къ пустошамъ приглядывался, лѣса приторговывалъ. Купилъ старинное имѣніе старинныхъ нашихъ помѣщиковъ Рачининыхъ. Липовую аллею на иконостасы продалъ, а лѣсъ мужики вывезли за колоколъ, который Спирька повѣсилъ на свою Татинскую церковь. За без-

цѣнокъ лѣса сталъ скупать, далекіе, глухіе лѣса, которые, по общему мнѣнію, никому ни къ чему были. Подолгу въ губернскомъ городѣ живалъ, въ Москвѣ, Петербургѣ что-то все нюхалъ, развѣдывалъ.

— Сломитъ себѣ башку Спирька, — говорили наши купцы, смотря на метанье Спирьки и на его новыя операціи, а когда узнали, что Спирька купилъ часть Чортова-болота, смѣяться начали:

— Клюквой Спирька торговать собирается!

Спирька тоже посмѣивался, но продолжалъ рыскать и нюхать.

И къ нашей старой Глазовской фабрикѣ все присматривался. Когда-то гремѣла „Глазовская мануфактура“, но съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, она стояла пустая и заброшенная съ своими высокими трубами, длинными рядами красныхъ фабричныхъ корпусовъ, откуда изъ разбитыхъ оконъ вылетали галки, съ заросшимъ густой травой широкимъ дворомъ, гдѣ мы мальчишками играли въ бабки и въ лапту. Единственная наслѣдница, дочь разорившагося милліонера Глазова, молодая вдова, изрѣдка пріѣзжала въ Загорскъ и останавливалась у Спирьки, которому она поручила наблюдать за фабрикой. Я любилъ гулять по старому, заросшему травой фабричному двору, среди тишины этихъ унылыхъ корпусовъ и молчаливыхъ высокихъ трубъ, и однажды, во время такой прогулки, встрѣтился со Спирькой, внимательно разсматривавшимъ стѣны корпусовъ и заглядывавшимъ въ выбитыя стекла.

— Тоже разгуляться пришли? — любезно поздоровался со мной Спирька: — старыя мѣста посмотрѣть? — Онъ помолчалъ и вздохнулъ.—Что денегъ ухлопано!..— указалъ онъ глазами на длинный рядъ корпусовъ. — Собираюсь вотъ арендовать хоть одинъ подъ складъ,— говорилъ онъ равнодушнымъ тономъ, и, любезно сказавши: „за симъ пожелавъ вамъ“, направился къ выходу.

Спирька велъ себя все страннѣе, и все болѣе посмѣивались надъ нимъ наши купцы: дѣло свое онъ на приказчиковъ оставилъ, самъ все мѣрилъ свои лѣса и прикупалъ новые, а когда узнали, что Спирька продалъ свое заведеніе на полномъ ходу и прекратилъ пріемку хлѣба, купцы рѣшили, что Спирька сдурѣлъ, и еще съ большей увѣренностью повторяли:

— Сломитъ себѣ башку Спирька!

Но Спирькина голова крѣпко держалась на плечахъ, и наши купцы перестали смѣяться, когда прошелъ слухъ, что ведутъ желѣзную дорогу мимо нашего города, черезъ Спирькины глухіе лѣса и болота, и сдѣлалось извѣстно, что Спирька взялъ въ Петербургѣ подрядъ на поставку шпалъ на всю строившуюся линію.

А когда прошла желѣзная дорога, имъ стало совсѣмъ не до смѣха. Я присутствовалъ при началѣ агоніи нашего города. Деревенскіе торговцы, покупавшіе товары въ Загорскѣ, поѣхали въ Москву и въ губернскій городъ, наша ярмарка потеряла смыслъ и медленно умирала; закрылись постоялые дворы, и не стало видно безконечныхъ обозовъ, тянувшихся прежде черезъ городъ; купившій Спирькино заведеніе за большую цѣну разорился и заколотилъ „Пріятное свиданіе“. Какъ тараканы передъ пожаромъ, разбрелись обыватели, а наши исконные купцы сидѣли въ пустыхъ магазинахъ и смотрѣли, какъ уходитъ отъ нихъ жизнь, какъ мимо нихъ несутся ихъ покупатели, ползутъ товарные поѣзда и увозятъ отъ нихъ и хлѣба, и мерзлаго судака, и свиныя туши, и битую птицу, и новый товаръ—Спирькинъ лѣсъ, Спирькины дрова.

Мнѣ пришлось надолго покинуть наши мѣста. Передъ отъѣздомъ я совсѣмъ не встрѣчался со Спирькой: онъ носился по своимъ лѣсамъ, шмыгалъ по линіи, путался съ инженерами. Я зналъ только, что онъ нажилъ на шпалахъ большія деньги и что собирается перебраться въ губернскій городъ.

VIII.

Только черезъ десять лѣтъ мнѣ пришлось снова встрѣтиться со Спирькой.

Я ѣхалъ въ нашъ губернскій городъ, куда былъ переведенъ на службу. На одной изъ послѣднихъ станцій въ мой вагонъ вошла шикарно одѣтая, высокая, красивая дама, съ сѣдѣющими висками; ее сопровождала молодая дѣвушка, одѣтая по-англійски, въ низенькой, мужского фасона, соломенной шляпкѣ, въ свѣтлой кофточкѣ и зеленой юбкѣ, двѣ дѣвочки 6 — 7 лѣтъ, очень похожія другъ на друга, съ длинными завитыми бѣлокурыми локонами, мальчикъ въ картузѣ реальнаго училища и высокая сухая гувернантка, тотчасъ же заговорившая о чемъ-то по-французски съ дѣвочками. Мнѣ показалось знакомымъ лицо дамы съ сѣдѣющими висками, и я старался вспомнить, гдѣ я могъ видѣть это характерное, немного мужское лицо, съ строгими сѣрыми глазами, темнымъ пушкомъ на верхней губѣ, широкимъ крѣпкимъ подбородкомъ и всю эту статную фигуру. Очевидно, я очень пристально вглядывался,—мой сосѣдъ, оказавшійся старымъ загорскимъ знакомымъ, спросилъ меня:

— Не узнаете? Спирькина жена...—И, видя, что я продолжаю недоумѣвать, прибавилъ:

— Глазова дочь, вдова-то... Чай, помните, бывала въ Загорскѣ. Это вотъ въ кофточкѣ-то дочь отъ перваго мужа, а тѣ трое—Спирькины.

Онъ только что разсказывалъ начавшуюся еще при мнѣ исторію умиранія Загорска: какъ постепенно безлюдѣлъ городъ и разорялись купцы, какъ совсѣмъ по-другому складывалась уѣздная жизнь. Теперь разговоръ перешелъ на Спирьку.

— Я вѣдь главной-то новости и не сообщилъ вамъ,— говорилъ онъ. — Глазовская фабрика опять работаетъ: Спирька пустилъ. Векселя скупилъ, а главное—Чортово-

болото помогло: торфъ тамъ оказался. Ну, и женился. Большой человѣкъ теперь Спирька...

Онъ продолжалъ разсказывать: какъ Спирька переѣхалъ въ губернскій городъ, и какой онъ тамъ большой человѣкъ, какъ ходко идетъ его фабрика, и какъ постепенно центръ загорской жизни переходитъ въ слободку, къ фабрикѣ; а я вспоминалъ ходившіе про дочь Глазова разсказы: какъ она круто расправилась съ своимъ мужемъ-пьяницей и кутилой и упрятала его въ сумасшедшій домъ, и какъ послѣ его смерти она нѣсколько лѣтъ билась, подолгу живала въ Москвѣ и Петербургѣ, чтобы спасти фабрику отъ продажи съ аукціона. Я все разсматривалъ новую Спирькину жену, и расфранченныхъ дѣтей, и перекидывавшуюся съ гувернанткой французскими фразами молодую дѣвушку, съ такими же холодными сѣрыми глазами, какъ у матери, и съ такимъ же жесткимъ и властнымъ лицомъ,—все не могъ себѣ представить Спирьку рядомъ съ этой англизированной купеческой дочкой, мужемъ этой важной дамы, отцомъ этихъ болтающихъ по-французски, разодѣтыхъ, съ завитыми локонами дѣвочекъ...

На платформѣ у оконъ нашего вагона стоялъ высокій плотный господинъ въ бѣломъ галстукѣ, въ блестящемъ цилиндрѣ и въ сѣромъ лѣтнемъ пальто. Я совсѣмъ не узналъ его, и только когда солидный господинъ снялъ свой цилиндръ и улыбнулся,—мнѣ бросились въ глаза вышибленные Спирькины зубы. Спирька тоже узналъ меня и, поздоровавшись съ семьей, направился ко мнѣ. Все старое такъ сразу вспомнилось мнѣ, что я невольно ожидалъ услышать: „каково поживаете, кого прижимаете“. Но солидный господинъ пожималъ мою руку своей цѣпкой рукой и любезно говорилъ:

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Узнали? Пріятно, пріятно...

Онъ тутъ же познакомилъ меня съ женой и падчерицей и взялъ слово посѣтить ихъ.

Великолѣпная пара рысаковъ въ коляскѣ увезла отъ меня Спирьку и его семью.

Я долго устраивался и совершенно забылъ свое обѣщаніе, но Спирька самъ напомнилъ мнѣ и прислалъ приглашеніе полѣчить его сына. Мнѣ тогда же показалось, что Спирька не столько нуждался во мнѣ, какъ въ докторѣ, сколько хотѣлъ показать себя, свое новое житье старому загорскому знакомому.

Ушедшій вглубь двора большой одноэтажный каменный домъ, отгороженный отъ улицы чугунной рѣшеткой и красивымъ цвѣтникомъ, съ зеркальными окнами, массивнымъ чугуннымъ подъѣздомъ и рѣзной дубовой дверью,— Спирькинъ домъ выглядѣлъ тѣмъ солиднымъ особнякомъ, въ которомъ живутъ только солидные, кредитные люди. Дальше виднѣлся залитый асфальтомъ дворъ, длиннымъ рядомъ тянулись новенькія каменныя службы, далеко уходилъ расчищенный садъ съ большими старыми деревьями,— все говорило о крѣпкомъ купецкомъ житьѣ.

Я люблю разсматривать обстановку незнакомой квартиры. Отодвинутое кресло, какъ недоговоренная фраза только что оборвавшагося разговора, раскрытая книга на столѣ, забытая женская работа, какая-нибудь бездѣлушка, старинная оригинальная шифоньерка со старинными оригинальными вещами, портретъ на стѣнѣ, картинка, гравюра, старый альбомъ—эти частички человѣка-кусочки жизни, остатки прошлаго...

Складываются въ головѣ смутныя представленія, начинаешь думать, кто сидѣлъ въ этихъ креслахъ, и о чемъ они говорили, что имъ любо и дорого, и откуда они пришли...

Чѣмъ-то нежилымъ и необжитымъ и только что вчера сдѣланнымъ вѣяло отъ этого огромнаго зала, въ которое провелъ меня лакей, — отъ этихъ утомительно длинныхъ и утомительно однообразныхъ рядовъ стульевъ, отъ этого слишкомъ блестящаго паркета, покрытаго цвѣт-

ными рожками, отъ этой слишкомъ новой и слишкомъ блестящей бронзовой люстры, спускавшейся съ лѣпного потолка, отъ зеленыхъ пальмъ въ вычурныхъ корзинахъ, отъ дурныхъ картинъ въ хорошихъ рамахъ... И все это казалось слишкомъ вычищеннымъ и слишкомъ отполированнымъ и нарочно покрытымъ лакомъ, чтобы не оказалось гдѣ-нибудь воспоминаній, и, казалось, нарочно вынесено изъ комнаты все то, что говоритъ о прошломъ, о вкусахъ, привязанностяхъ, о жизни. Что-то въ родѣ меблированнаго отдѣленія въ шикарной гостиницѣ, которая только что открыта на собирательный вкусъ проѣзжающихъ и такъ же мало говоритъ объ индивидуальномъ вкусѣ, какъ мало сохраняютъ воспоминаній кресла гостиничныхъ номеровъ о тѣхъ, кто сидѣлъ на нихъ...

Такимъ же нежилымъ помѣщеніемъ выглядѣлъ и кабинетъ Спирьки, куда онъ увелъ меня, казавшійся съ своимъ массивнымъ и пустымъ письменнымъ столомъ, желтой конторкой у окна, пучками счетовъ на стѣнахъ и толстыми кипами конторскихъ книгъ — какой-то конторой или директорскимъ кабинетомъ въ банкѣ, гдѣ сторожъ только что разставилъ мебель и аккуратно сложилъ книги къ пріѣзду директора...

Спирька разсказывалъ мнѣ о нашемъ Загорскѣ то, что я наполовину уже зналъ.

— Мертвый городъ, мертвые люди... Только моя фабрика и поддерживаетъ, около моихъ рабочихъ маломало кормятся... Помните Левонтія Никифоровича? На нѣтъ сошелъ... Въ чистую... Чай, и сына-то помните, Никишку-то?—и Спирькины глаза блеснули злобной радостью: — у меня служитъ, въ красильное опредѣлилъ, такъ ужъ, изъ жалости взялъ...

Я плохо слушалъ и все смотрѣлъ, и все хотѣлось мнѣ разыскать стараго Спирьку. Предо мной сидѣлъ солидный господинъ въ корректномъ сѣромъ лѣтнемъ костюмѣ, со степенными манерами, съ полнымъ, не-

много обрюзгшимъ лицомъ, съ обстриженной по-модному бородой и говорилъ медленно, растягивая слова, какимъ-то новымъ для меня акцентомъ. Только ноздри играли по-старому, да время отъ времени глаза начинали бѣгать и вспыхивали злымъ огонькомъ.

Гулявшій въ саду мальчикъ возвратился, наконецъ. Какъ я и ожидалъ, ничего серьезнаго у него не оказалось, но Спирька не отпустилъ меня и оставилъ обѣдать.

Обѣдъ былъ строгій и чинный. Лакей во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ разносилъ блюда; Спирька, еще болѣе важный и застегнутый, продолжалъ начатый въ кабинетѣ разговоръ. Очень одобрялъ франко-русскій альянсъ,—тогда только что объ этомъ заговорили.

— Теперь нѣмцу-то податься некуда. Это раньше Бисмаркъ-то съ нашимъ рублемъ мудрилъ, а теперь на-ка, выкуси...—онъ показалъ кукишъ.

И внутренней политики касался. Деревню одобрилъ.

— По крайней мѣрѣ, какое-ни-какое начальство есть... Все-таки на него, мужика, узду надѣли, а то вѣдь раньше житья не было. Особенно съ нашимъ лѣснымъ дѣломъ...

Говорилъ о торговлѣ, о тарифахъ и пошлинахъ и все одобрялъ.

— Будетъ ужъ нашими-то русскими денежками иностранцевъ кормить... Лучше сами покушаемъ.

Я только смотрѣлъ во всѣ глаза да удивлялся, какъ свободно обращается Спирька со всякими политическими и финансовыми вопросами, и какъ степенная и увѣренная Спиркина рѣчь мало напоминала суетливаго, больше обходившагося односложными восклицаніями, прежняго Спирьку. И слова сталъ употреблять мудреныя: техническій прогрессъ, самобытная государственная политика и пр., и пр. Хотя и прошибался иногда,—разъ вмѣсто отечество сказалъ „очетество“, во

далъ: „пора намъ бросить эксперименты“ — сказалъ „эксперименты“ и нѣсколько разъ повторялъ выраженіе „грандіозное развитіе русской промышленности“, всякій разъ выговаривая „граціозное“ развитіе...

Спирькина жена съ равнодушнымъ и скучающимъ лицомъ молча слушала, очевидно, давно слышанныя Спирькины рѣчи и только, когда Спирька показалъ Бисмарку кукишъ, сердито сдвинула свои брови и рѣзко выговорила:

— Спиридонъ Кондратьичъ...

Въ той же свѣтлой кофточкѣ и зеленой юбкѣ, дочь ея перебрасывалась французскими фразами съ гувернанткой и, мнѣ показалось, спеціально для меня нѣсколько разъ упомянула Ниццу и брезгливо пожимала плечами, когда жадно ѣвшій Спирька начиналъ сопѣть и хрюкать; такъ же завитыя, какъ куклы, смирно сидѣли дѣвочки.

И вдругъ мнѣ показалось, что я въ трактирѣ. Эти канделябры на столѣ съ незажженными свѣчами, вазы безъ фруктъ и все это стекло и хрусталь съ неизмѣнными зелеными рюмками для бѣлаго вина, эту голую столовую и этого лакея съ сѣдоватыми бакенбардами,— казалось, все это я видѣлъ гдѣ-то недавно, въ какомъ-то трактирѣ. И всѣ сидѣвшіе за столомъ въ томъ, въ чемъ я ихъ видѣлъ въ вагонѣ, казалось, только что пріѣхали въ гостиницу пообѣдать и, чужіе другъ другу, случайно встрѣтившіеся люди, вотъ сейчасъ поѣдятъ и разойдутся въ разныя стороны. Уйдетъ и Спирька въ свое настоящее жилье, заоретъ по-старому, подтянетъ себя кушакомъ пониже живота и побѣжитъ трусцой по базару...

IX.

Мнѣ захотѣлось посмотрѣть Спирьку въ роли общественнаго дѣятеля.

Въ томъ засѣданіи думы, въ которое я попалъ, обсуждался вопросъ объ учрежденіи въ городѣ санитарной комиссіи и приглашеніи на городскую службу санитарнаго врача. Секретарь вяло читалъ докладъ управы, гласные такъ же вяло слушали. Когда дѣло дошло до устройства санитарнаго надзора за ночлежными квартирами и помѣщеніями для рабочихъ, Спирька всталъ и солидно, въ тонѣ привычнаго оратора, заговорилъ. Я сначала не понималъ.

— Которые, ежели, примѣрно сказать, и напримѣръ, будучи... прямо будемъ такъ говорить... — Но Спирька скоро разошелся и увѣренно заговорилъ:

— Тоже и ихъ пожалѣть надо... Солдатишко, къ примѣру, квартиренку держитъ, этихъ самыхъ ночлежниковъ пущаетъ... Придетъ этта докторъ, аршиномъ обмѣряетъ, воздуху, скажетъ, не въ полномъ видѣ, — закрывай квартеру! Взять еще подрядчиковъ...—Онъ обратился къ задней скамьѣ, гдѣ сидѣли поддевки и длинополые сюртуки съ стриженными въ кружокъ волосами.—Можетъ, и артель-то вся десять человѣкъ,—скажемъ, каменщики или плотники... Тоже сенитарный-то пойдетъ аршиномъ мѣрять воздухъ... Да это что же?—воодушевился онъ,—вѣдь это придетъ онъ ко мнѣ, али къ тебѣ, Ерофей Никитичъ, — толкнулъ онъ сосѣда,—скажетъ: подавай рабочимъ биштексы...

Въ думѣ засмѣялись, съ задней скамьи послышались одобрительные возгласы, а Спирька строго и укоризненно обратился къ управѣ:

— Онъ, сенитарный-то, ямы будетъ нюхать, а мы ему за это двѣ тыщи плати... Слава Богу, безъ докторовъ жили да здоровѣе были...

Въ думѣ поднялся гвалтъ. Почтеннаго вида, сѣдо-

[illegible] воспользовался минуткой затишья и [illegible] тономъ обратился къ Спирькѣ:

Чѣдь имѣлъ честь докладывать думѣ, Спири[illegible] Кондратычъ. Бумага отъ начальника губерніи [illegible] въ виду эпидеміи и прочее... Его превосхо[illegible] находитъ своевременнымъ и настоятельно [illegible]... Мы что же, развѣ управа отъ себя...

Спирька сердито махнулъ рукой и громко пробур[illegible]

Ну, болтайте себѣ... Я путаться не буду.

Онъ впрочемъ, не долго утерпѣлъ. Съ противопо[illegible] скамьи, гдѣ сидѣли интеллигенты, какъ звали [illegible] въ думѣ, поднялся гласный, городской мировой [illegible].

Я согласенъ со Спиридономъ Кондратьевичемъ: [illegible] постановленія не достигнутъ цѣли, тутъ нужно прямо устроить городской ночлежный домъ. Но вѣдь вы же, — онъ обратился къ Спирькѣ, — были про[illegible], когда я въ прошломъ году вносилъ проектъ.

Я даже вздрогнулъ, такъ злобно закричалъ на весь залъ Спирька.

— И всегда буду противъ... Это ужъ вы подбирайте сволочь-то эту. Она къ вамъ изъ всѣхъ деревень полѣзетъ. Это что ужъ за человѣкъ, — продолжалъ онъ въ отвѣтъ на восклицанія, раздавшіяся съ противоположной стороны,—который по ночлежнымъ домамъ шляется! Самый бросовый, который себя потерялъ, пьяница, воръ... Ну, что же, — иронизировалъ онъ, — выстройте ему хоромы просторные, — пожалуйте, Жуликъ Иванычъ, хорошо ли почивали, чайку не прикажете ли съ булочкой?..

— Нѣтъ-съ, это не модель... — снова солидно и степенно заговорилъ онъ.—У города-то долгъ на шеѣ виситъ, поэкономнѣе надо, глупости-то выдумывать перестать надо... Тоже дѣловъ-то у города хоть отбавляй... Параллельный вотъ въ реальномъ открывать надо, который годъ про технически-промышленное училище тол-

куемъ. Садъ опять взять... Мало-мало десять тыщъ— хоть чуть уладить. По другимъ-то мѣстамъ цвѣтники, музыка, а у насъ, къ примѣру, семейству разгуляться негдѣ...

Засѣданіе потянулось опять вяло; и Спирька снова оживился только, когда обсуждалось внесенное тѣмъ же мировымъ судьей предложеніе о расширеніи сѣти городскихъ начальныхъ училищъ.

— Будетъ ужъ, понастроили...—кричалъ Спирька.— Онъ, мальчишка-то, отцу съ матерью помогать долженъ, а не въ училищѣ лодырничать. Довольно грамотеевъ-то этихъ по острогамъ сидитъ да въ золотыхъ ротахъ шляется. Тоже и ниверситетскіе есть...

Безплатную читальню провалили, но мѣщане высказались за училища, и, несмотря на протесты Спирьки, увеличеніе школъ было рѣшено.

Послѣднимъ читался докладъ комиссіи по поводу квартирнаго налога, о предоставленіи квартиронанимателямъ избирательныхъ правъ.

— Понимаемъ...— снова злобно кричалъ Спирька на весь залъ своимъ скрипучимъ, хриплымъ голосомъ.— Даже оченно хорошо понимаемъ,—только стара штука, проходи мимо! Я, къ примѣру, домъ имѣю, недвижимость, что налогу всякаго плачу... Али тамъ дѣло у меня, — народъ кормится... А онъ пришелъ неизвѣстно изъ какихъ мѣстовъ, красненькую бумажку заплатилъ и въ думу лѣзетъ... Нѣтъ ужъ, много довольны.

Снова поднялся въ думѣ невообразимый гвалтъ, и при крикахъ: „не обсуждать“, „снять съ очереди“ голова закрылъ засѣданіе.

Какъ ни хорошо я зналъ Спирьку, я невольно удивлялся тѣмъ свободнымъ манерамъ, съ которыми онъ держался въ думѣ: онъ кричалъ, перебивалъ говорившихъ, вставлялъ замѣчанія, не всегда корректныя, и вообще держался, какъ у себя на постояломъ дворѣ. Я нашелъ своего Спирьку — орущаго, хватающаго за

горло, а когда, разозлившись, съ позеленѣвшими глазами, трясущейся бородой и оскаленными зубами, онъ смотрѣлъ на мирового судью, мнѣ невольно вспомнилось то волчье лицо со стучащими зубами, которое когда-то я видѣлъ у постели Василисы...

И вся дума, возбужденная, кричащая, удивила меня. Я живо помнилъ эту же думу лѣтъ за 15—20 предъ тѣмъ, когда мнѣ приходилось бывать въ ней. Такъ чинно и мирно шли въ то время засѣданія. Голова жертвовалъ и дремалъ во время засѣданій, все знавшій и все вершившій секретарь увѣренно и спокойно читалъ доклады и въ видѣ заключенія обращался къ думѣ:

— Значитъ, принято?

А дума думала. Почтенныя сѣдыя бороды похрапывали, крутили сложенными на животѣ пальцами и вздыхали и говорить совѣстились, а гдѣ нужно было—клали черняки. Званіе гласнаго считалось почетнымъ, дающимъ право сидѣть въ думѣ и вовсе не обязывающимъ посѣщать думскія засѣданія; выбранный послѣ долгихъ уговоровъ почетный гражданинъ говорилъ, вздыхая: надо послужить... И не было тогда ни Спирькиной скамьи, ни интеллигентной, а всѣ были въ кучѣ.

Мы спускались съ мировымъ судьей по думской лѣстницѣ; одѣвавшійся внизу Спирька говорилъ кому-то:

— Знаемъ мы этихъ читателей... Прежде всего въ церковь ходить не будетъ, а потомъ родителей перестанетъ почитать...

Конецъ фразы я не дослышалъ.

А мой спутникъ разъяснилъ мнѣ Спирькину систему. Въ первые же выборы онъ внесъ совершенно новые пріемы выборной агитаціи. Вмѣстѣ съ двумятремя старыми гласными онъ устроилъ въ родѣ избирательныхъ бюро въ трехъ трактирахъ, наиболѣе посѣщавшихся городскими избирателями. Буфетчикамъ отданъ былъ приказъ отпускать избирателямъ въ счетъ

его, Спирьки, напитки, а подручные люди цѣлыми днями сидѣли въ отдѣльныхъ комнаткахъ и угощали публику. „Восемь сотельныхъ влетѣло“... жаловался послѣ самъ Спирька.

Результатъ выборовъ поразилъ всѣхъ своей неожиданностью. Спирькины кандидаты прошли впереди всѣхъ, но выиграли и интеллигенты, которымъ клали направо мѣщане и старые думцы, узнавшіе, хоть и поздно, Спирькинъ фортель и желавшіе провалить его партію. Больше всѣхъ пострадала старая думская партія, и забаллотированными оказались именно прежніе думцы, тѣ старые купцы, которые испоконъ вѣковъ засѣдали въ думѣ и считали себя хозяевами города. Хозяиномъ вошелъ въ думу Спирька, въ сопровожденіи трактирщиковъ и какихъ-то новыхъ, мало кому извѣстныхъ людей, и тотчасъ же началъ распоряжаться по-своему. Головой онъ посадилъ Сыромятова — почтеннаго вида сѣдобородаго купца — извѣстнаго вора, захватившаго городскую землю, уже бывшаго головой и вышедшаго вслѣдствіе крупной растраты, прощенной старой думой, и держалъ его въ уздѣ, распоряжался городскими должностями и всюду посадилъ своихъ людей и аккуратно являлся на засѣданія вмѣстѣ съ тѣсно сплоченной кучкой своихъ приближенныхъ.

Чѣмъ больше я входилъ въ городскую жизнь, тѣмъ больше убѣждался, какимъ большимъ человѣкомъ сдѣлался Спирька. Онъ былъ попечителемъ реальнаго училища, гдѣ учился его сынъ, церковнымъ старостой въ соборѣ, засѣдалъ въ правленіи городского банка и распоряжался тамъ такъ же по-своему. Я часто видѣлъ Спирьку въ циркѣ, — онъ больше не устраивалъ собачьей травли, но зато сдѣлался большимъ поклонникомъ цирка и въ особенности неизмѣнно присутствовалъ тамъ, если на афишѣ значилась борьба силачей или пріѣзжали укротители звѣрей, входившіе въ клѣтки къ львамъ и тиграмъ. И всегда въ антрактахъ Спирька

былъ окруженъ народомъ, и изъ толпы далеко разносился его кричащій хриплый голосъ.

Въ другой разъ я наблюдалъ, какъ коляска Спирьки подъѣхала къ собору въ какой-то торжественный день, какъ со ступенекъ собора сбѣжалъ могучій старикъ въ полицейскомъ мундирѣ съ длинными сѣдыми усами, предупредительно высадилъ, поддерживая за локоть, Спирьку и его супругу и, приложивши руку къ козырьку, почтительно слушалъ, какъ Спирька что-то говорилъ ему.

— Ты зайди ужо, Каллистовъ...—доносилось до меня.

Къ моему удивленію, полицейскій оказался старымъ знакомымъ, когда-то знаменитымъ грознымъ загорскимъ квартальнымъ надзирателемъ, выбившимъ Спирькѣ зубы. Я подошелъ къ нему и возобновилъ старое знакомство.

— Каковъ Спирька-то?—заговорилъ я.

— Да-съ... Спиридонъ Кондратьичъ теперь большая у насъ въ городѣ шишка.

— А бывало-то?

Старое, покрытое морщинами лицо смотрѣло на меня больное и унылое; онъ вздохнулъ и задумчиво проговорилъ:

— Вотъ тебѣ и Спирька... Помните, бывало, кошку за хвостъ да объ уголъ?—И неопредѣленно добавилъ:

— Служба... Отчисленъ былъ, Спиридонъ Кондратьичъ и выписалъ. Самого его превосходительство просилъ.

Онъ снова помолчалъ.

— Глашеньку-то, дочку-то мою, чай, помните?—Я ничего не помнилъ.—Овдовѣла, четверо ребятъ осталось...

Старикъ оборвалъ на полусловѣ и, выпятивши грудь, молодецки дѣлалъ кому-то подъ козырекъ.

Но странное дѣло! Несмотря на импозантный видъ, монументальный домъ, милліонный капиталъ и солидное положеніе въ городѣ, имя „Спирька“ какимъ-то

образомъ удержалось за нимъ, и почему-то никто иначе не называлъ его за глаза въ городѣ; и несмотря на то, что, благодаря женитьбѣ на Глазовской дочери, онъ породнился со старѣйшими купеческими фамиліями въ нашей губерніи,—старые купцы сторонились его, называли „живодеръ“ и съ оттѣнкомъ презрѣнія говорили: „Спирькинъ домъ“, „Спирькино художество“, „Спирькинъ фортель“.

— Высоко летаетъ—гдѣ-то сядетъ!.. — приходилось слышать мнѣ.

Очевидно, они такъ же, какъ загорскіе купцы, думали, что Спирька сломитъ башку, и такъ же ошибались. Спирька все ширился и крѣпъ и по-настоящему развернулся на моихъ глазахъ всего нѣсколько лѣтъ назадъ, когда въ „Глазовскую мануфактуру“ вступилъ въ качествѣ пайщика и директора Иванъ Александровичъ Рачининъ.

X.

Строго говоря, у насъ никто хорошенько не зналъ, чѣмъ занимается Рачининъ. Онъ былъ помѣщикомъ нашей губерніи, его отецъ былъ предводителемъ загорскаго дворянства, и ихъ именно имѣніе купилъ Спирька.

Рачининъ учился въ одномъ изъ петербургскихъ привилегированныхъ учебныхъ заведеній, говорятъ, не безъ успѣха выступалъ въ судѣ, но почему-то перешелъ въ департаментъ, потомъ въ желѣзнодорожное общество, а въ то время, когда я его зналъ, нигдѣ не служилъ. Говорили, что онъ чей-то племянникъ, что его сестра за кѣмъ-то замужемъ, что въ департаментахъ и министерствахъ сидѣли все его товарищи и пріятели, а въ нашемъ городѣ онъ былъ, такъ сказать, всеобщая родня.

Къ намъ онъ являлся какъ-то налетомъ. Пріѣдетъ, участвуетъ въ городскихъ комиссіяхъ (хотя и не состоялъ гласнымъ)—по городскому займу, по устройству

водопровода, а тамъ, слышишь, гдѣ-нибудь на низу, на Волгѣ, составляетъ докладныя записки о подъѣздныхъ путяхъ, о тарифахъ, а потомъ исчезаетъ въ Петербургъ, и ничего о немъ не слышно, а слышно только о городскомъ займѣ, о тарифахъ и о новыхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ. Онъ былъ какимъ-то неофиціальнымъ чиновникомъ совершенно особыхъ порученій, какимъ-то комми-вояжеромъ, устраивавшимъ для провинціи тѣ дѣла, которыя рѣшаетъ Петербургъ.

Судя по той широкой жизни, которую онъ велъ въ нашемъ городѣ, его дѣла шли недурно. Онъ занималъ шикарное меблированное отдѣленіе въ нашей лучшей гостиницѣ, сорилъ деньгами, былъ неизмѣннымъ участникомъ всякихъ пикниковъ, petits-jeux, которые были тогда у насъ въ модѣ, торжественныхъ обѣдовъ и маскарадныхъ ужиновъ. Въ его номерѣ были постоянно гости, а гдѣ бы Рачининъ ни появлялся—кругомъ его всегда была толпа, откуда раздавались взрывы смѣха и хлопанье бутылокъ шампанскаго.

Высокій, изящный красавецъ съ насмѣшливымъ лицомъ и немного наглыми глазами, онъ привозилъ съ собой самыя сенсаціонныя политическія новости и самые послѣдніе фасоны костюмовъ, которые онъ диктовалъ нашей губернской золотой молодежи. Неистощимый разсказчикъ веселыхъ холостыхъ анекдотовъ, затягивавшихъ наши клубные ужины до утра, онъ особенно знаменитъ былъ своими рѣчами на торжественныхъ обѣдахъ и блестящими виртуозными импровизаціями на самыя разнообразныя темы, которыя мы задавали ему во время веселыхъ ужиновъ.

Спирька относился къ нему сначала скептически и называлъ его „шишгаль“, но когда Рачининъ вырвалъ у него изъ-подъ носа вѣточку, которая должна была пройти по Спирькинымъ лѣсамъ, Спирька задумался и началъ присматриваться. Съ своей стороны Рачининъ, повидимому, мало интересовался Спирькой, только лю-

билъ его поддразнивать и иногда въ веселой компаніи, при дружномъ хохотѣ присутствующихъ, скрипучимъ, хриплымъ Спирькинымъ голосомъ начиналъ:

— Которые, ежели, примѣрно сказать, и напримѣръ, будучи... прямо будемъ такъ говорить...—и художественно продолжалъ Спирькины думскія рѣчи. Тѣмъ болѣе мы удивились сближенію Спирьки съ Рачининымъ.

Началось это на моихъ глазахъ послѣ обѣда, который устраивали старичку-директору реальнаго училища, лѣтъ тридцать прожившему въ нашемъ городѣ. Публика была смѣшанная. Были отцы своихъ сыновей, были и сыновья, успѣвшіе сдѣлаться отцами, были сослуживцы, интеллигенты, былъ Спирька въ качествѣ попечителя училища, былъ, конечно, и Рачининъ. Когда старичокъ-директоръ уѣхалъ и разбрелись солидные и скучные люди, когда, однимъ словомъ, офиціальная часть торжества кончилась и по нашему губернскому обычаю только что начиналось настоящее веселье,—раздались голоса:

— Рачининъ, слова, слова! Просимъ...

Было выпито, лица покраснѣли, языки развязались. Подали ликеры.

Рачининъ отказывался и, смѣясь, говорилъ, что онъ не въ ударѣ, но потому, какъ онъ обѣгалъ глазами присутствующихъ, я видѣлъ, что онъ только кокетничаетъ и ищетъ темы. Публика затихла въ ожиданіи, и только на концѣ стола толстый земецъ, съ лысой головой, мрачнымъ лицомъ и лукавыми глазками, говорилъ сидѣвшему напротивъ его Спирькѣ, также оставшемуся и также подвыпившему.

— А мнѣ что,—отказывайтесь... Мы все-таки заставимъ васъ лѣчить вашихъ тифозныхъ. Не безпокойтесь,—и больницу выстроите, и санитарнаго врача пригласите. Эка штука, постановленіе въ думѣ сдѣлали,—на дураковъ законъ не писанъ...

— Позвольте не согласиться, уважаемый Аѳанасій

Михайловичъ,—ввязался Рачининъ,—законъ спеціально для дураковъ и писанъ.

Аѳанасію Михайловичу давно надоѣло пикироваться со Спирькой, его маленькіе глаза оживились, и мрачное лицо прояснилось.

— А ну, ну!—поощрилъ онъ.

— Не потому только,—объяснялъ Рачининъ,—что умный человѣкъ всегда умненько обойдетъ законъ, а дуракъ попадется, какъ куръ во щи... Разсмотрите, что такое законъ по существу? Окаменѣвшій обычай, зарегистрированный вчерашній день—нѣчто неподвижное и непремѣнно отсталое... А вѣдь только дуракъ живетъ вчерашнимъ днемъ,—умный человѣкъ впередъ идетъ и, значитъ, всегда впереди закона...

Раздались апплодисменты и настойчивые крики: дальше, дальше! А глаза Рачинина снова бѣгали,—очевидно, тема истощилась, — и остановились на Спирькѣ. Рачининъ весело улыбнулся и, прихлебывая ликеръ, поблескивая черепаховымъ моноклемъ, съ сигарой въ рукѣ, оживленно заговорилъ:

— Иллюстрируемъ... Есть кража и есть подходящій законъ. Но что такое кража, господа? Мальчишка-ученикъ экспропріируетъ изъ кармана товарища перочинный ножичекъ,—вы скажете, что это кража, и позовете законъ... Согласенъ. Но самое понятіе кражи... Не слишкомъ ли оно консервативно и не допускаетъ ли болѣе либеральныхъ толкованій? Въ переулкѣ двѣ лавочки,—въ одной сахаръ по пятаку и топоръ, скажемъ, по полтиннику, а въ другой—сахаръ по пятиалтынному и топоръ по полтора рубля. Вы, конечно, хотите подешевле, но васъ не пускаютъ въ первую лавочку и честью просятъ во вторую,—вашъ родственникъ, говорятъ, узы дружбы... И изо дня въ день у вашего родственника создаются своего рода прибавочныя стоимости, а у васъ таинственнымъ образомъ исчезаютъ изъ кармана ножички, портсигары, а то и часы. Быть можетъ, вы скажете, что

это тоже принудительная мобилизація собственности? Но вѣдь вы можете, господа, не ходить ни въ ту, ни въ другую лавочку и обойтись безъ сахара и безъ топора... Иду далѣе. Мы пріобщаемъ къ общеевропейской культурѣ шалаго косоглазаго киргиза и его шалыя пустующія земли, а европейцы еще послѣдовательнѣе примѣняютъ методы цивилизаціи и принудительную мобилизацію къ черномазымъ африканскимъ людямъ... А такъ называемая международная политика, господа?—оживился ораторъ.—Вѣдь въ числѣ основныхъ заповѣдей, опредѣляющихъ международныя отношенія: убій, лжесвидѣтельствуй на друга твоего ложно, пожелай, елико есть у ближняго твоего,—первая заповѣдь—укради, укради, укради... И укради со взломомъ, и непремѣнно вооруженными шайками, и непремѣнно съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ...

— Гдѣ же ваша кража, вашъ законъ, господа?—торжествовалъ ораторъ.—И послѣ этого перочинный ножичекъ, со взломомъ, безъ взлома, кутузка, высидка... Наивно, господа! Вы улыбаетесь, вамъ смѣшно, не правда ли?

Рачининъ раскуривалъ потухшую сигару, прихлебывалъ ликеръ и улыбался, но снова заговорилъ серьезнымъ дѣловымъ тономъ:

— Я сдѣлаю попытку реабилитировать эту форму воздѣйствія личности на окружающую среду, которая извѣстна подъ уличнымъ названіемъ — кража. Вы воображаете, господа, что это такъ легко тому мальчику украсть перочинный ножичекъ? Вѣдь онъ предварительно думаетъ о ножичкѣ, часами, днями думаетъ, ждетъ, выискиваетъ случая, мечтаетъ о немъ, сладострастно мечтаетъ, какъ будетъ мечтать потомъ о любовницѣ; а удастся — прячется, хоронясь — любуется... Подумайте, какая масса ума и такта расходуется на этотъ ножичекъ, и какія создаются великолѣпныя условія для выработки въ юношѣ характера!

Рачининъ воодушевился, но тотчасъ перешелъ на серьезный тонъ.

— Это одна сторона—психологическая. Но есть другая, болѣе важная — общественная, соціальная. Чѣмъ былъ тотъ ножичекъ для перваго владѣльца? Подаренная отцомъ вещица, не стоившая ему никакого труда, а потому и не занимавшая большого мѣста въ его сознаніи... Выронитъ онъ ножикъ изъ дыряваго кармана, вымѣняетъ его на какую-нибудь свистульку, забудетъ въ лѣсу, вырѣзывая дудки... Въ чьихъ рукахъ, спрашиваю я васъ, — замѣните ножикъ лѣсомъ, землей, всѣми формами движимой и недвижимой собственности,—въ чьихъ рукахъ собственность будетъ устойчивѣе: въ дырявомъ ли карманѣ стараго собственника, которому она досталась и который не доставалъ ея, или въ цѣпкихъ рукахъ новаго?

— Иллюстрируемъ... У насъ была собственность и, повидимому, самая устойчивая — земельная, но она слишкомъ часто мѣнялась на гончую и борзую собственность,—какъ извѣстно, самыя неустойчивыя изъ существующихъ формъ собственности. Мы еще недавно насаждали ее въ рамкахъ широкаго соціальнаго опыта, но эволюція этого собственника можетъ быть выражена въ трехъ словахъ: урвалъ, пропилъ и убѣжалъ.

— Теперь, господа, у насъ возникаетъ промышленность, организуется настоящая собственность.

Я наблюдалъ за Спирькой. Онъ давно ушелъ отъ земца, сидѣлъ противъ Рачинина и, положивши обѣ руки на столъ, тяжело и упорно смотрѣлъ на него. Лицо Спирьки было красно, правая бровь дергалась, полураскрытыя губы надъ оскаленными зубами улыбались неестественно и напряженно.

А Рачининъ всталъ и говорилъ стоя, и широкая черная лента монокля красиво выдѣлялась на блѣдномъ лицѣ. Онъ говорилъ съ паѳосомъ, прижималъ

руку къ сердцу, пророчески протягивалъ ее вдаль, и только углы губъ чуть улыбались.

— Нужно ли доказывать, какъ важно въ общественномъ смыслѣ, чтобы собственность была устойчива? Собственность, господа! Да вѣдь это то ложе, по которому текутъ рѣки, вздымаются горы, это обильно удобренная навозомъ почва, питающая всѣ злаки міра, та широчайшая канва, на которой вышиты всѣ узоры жизни...

— Собственность, господа!!!—все болѣе и болѣе воодушевлялся ораторъ.—Вы знаете, какое множество великихъ словъ пережило и переслушало человѣчество. Красота, вѣра, разумъ и прочее, и прочее... Они тоже habent sua fata, эти слова... Они, какъ костры ночью, загораются, разгораются и тухнутъ... Но есть настоящій свѣтъ, свѣтъ дня, и онъ потушитъ тѣ блуждающіе ночные огни. Есть одно слово, самое большое и самое устойчивое, старое, какъ міръ, и вѣчно молодое—это собственность! Недалеко время, господа, когда перестанутъ понимать даже смыслъ тѣхъ словъ, за которыя когда-то боролось и обливалось кровью человѣчество, и останутся только двѣ національности, двѣ вѣры, два языка—собственниковъ и несобственниковъ.

Рачининъ превосходно изображалъ взволнованнаго и потрясеннаго человѣка. Онъ сѣлъ и съ усталымъ видомъ медленными глотками пилъ подставленный кѣмъ-то стаканъ краснаго вина.

— Такъ нельзя...—роптала публика.—Вы не кончили, Иванъ Александровичъ. Дальше, дальше!—раздавались голоса, покрывавшіе апплодисменты.

— Подчиняюсь...—покорно отвѣтилъ Иванъ Александровичъ и усталымъ голосомъ заговорилъ:

— Мы нѣсколько запоздали на этомъ логически неизбѣжномъ, единственно закономѣрномъ пути... И я долженъ сказать, господа: какъ наше землевладѣніе, такъ и наша промышленность носитъ нѣсколько особый, такъ

сказать, самобытный характеръ. Самое слово—промышленность. Я не увѣренъ,—обратился ко всѣмъ намъ ораторъ,—знаете ли вы его происхожденіе? У насъ и теперь на сѣверѣ промышляютъ медвѣдя и лисицу и всякаго звѣря, а въ Сибири и не одного звѣря, а и горбача-бродягу и рабочаго, идущаго съ пріисковъ... Хотя наша промышленность знаетъ только одинъ и вполнѣ мирный промыселъ,—промышляетъ себѣ пошлины и тарифы, тѣмъ не менѣе нашъ промышляющій человѣкъ еще сохранилъ родовыя черты того сѣвернаго таёжнаго промышленника, а новая возникающая собственность запечатлѣна—какъ бы выразиться—нѣсколько уголовнымъ характеромъ.

— Но, господа,—снова началъ воодушевляться Рачининъ,—институтъ собственности—не институтъ для благородныхъ дѣвицъ, и нечего удивляться, что новый собственникъ ходитъ не всегда въ свѣжихъ перчаткахъ и сапоги у него не бархатомъ подбиты... A la guerre comme à la guerre, — мы присутствуемъ при героическомъ, такъ сказать, норманскомъ періодѣ нашей промышленности. Она уляжется, господа, эта новая собственность и—нѣтъ сомнѣнія—приметъ тотъ характеръ устойчивости, безъ котораго собственность не есть собственность. За это говоритъ прежде всего цѣпкость рукъ, держащихъ ее, потомъ законы исторіи, за это же говорятъ тѣ отрадныя явленія, которыя мы наблюдаемъ повсюду. Община гибнетъ, мужикъ обезземеливается и обатрачивается, масса фильтруется и осѣдаетъ и, какъ въ кринкѣ снятое молоко, остается внизу, а вверху всплываютъ сливочки. На сливочкахъ будутъ и пѣночки, — засмѣялся Рачининъ и, словно устыдившись своего веселаго тона, снова всталъ и заговорилъ съ паѳосомъ:

- Милостивые государи! Идетъ собственность, настоящая собственность! Поѣздъ сталъ на рельсы, пары разведены,—прочь съ дороги!..

— Здоровье нашего русскаго промышленника и соб-

ственника Спиридона Кондратьевича!—закончилъ Рачининъ.—А такъ какъ,—остановилъ онъ зашумѣвшую публику,—у меня есть еще собственность,—онъ бросилъ на столъ десятирублевую бумажку,—человѣкъ, бутылку шампанскаго!

— Э, нѣтъ, баринъ!—закричалъ Спирька; красное и потное лицо расплылось въ широкую улыбку, влажные глаза блестѣли.—Ты убери свою собственность, мы должны платить за науку. Ей, малый, дюжину,—живо!

Когда я съ земцемъ выходилъ изъ зала, Спирька обнимался съ Рачининымъ и что-то объяснялъ.

— Это ты правильно... А насчетъ что безъ перчатокъ...—донеслось до меня.

Малый разливалъ шампанское.

Я узналъ, что послѣ насъ началось разливанное море, и ужинъ вышелъ „съ продолженіемъ“, какъ выражаются у насъ въ губернскомъ городѣ. А на другой день по городу ходили безконечные разсказы о ночныхъ похожденіяхъ Спирьки и Рачинина въ томъ загородномъ ресторанѣ, гдѣ всегда происходили „продолженія“. Спирька все обнимался съ Рачининымъ и выпилъ на „ты“, плясалъ на сценѣ русскую и все лѣзъ драться съ арфистками за то, что не какъ слѣдуетъ поютъ: „Спиря, Спиря, Спиридонъ...“

XI.

„Спирьку рукой не достанешь“,—говорятъ теперь въ нашемъ городѣ. Новая эра Спирьки началась съ того времени, когда онъ породнился съ Рачининымъ. Рачининъ прожилъ въ нашемъ городѣ всю зиму, постоянно бывалъ у Спирьки, и никто особенно не удивился, когда узнали, что онъ женится на Спирькиной падчерицѣ. Съ тѣхъ поръ и пошло... Сталъ Спирька подолгу проживать въ Петербургѣ и, говорили, сдѣлался вхожъ тамъ въ хорошіе дома. Слухи о немъ доходили одинъ другого удивительнѣе. Спирька запросто завтракалъ съ такимъ-

то, Спирька и Рачининъ приглашены въ комиссію, Спирькино имя фигурируетъ въ числѣ учредителей огромнаго акціонернаго общества.

Спирька не надолго возвращался къ намъ, окруженный ореоломъ, еще болѣе важный и солидный, съ еще болѣе непринужденными манерами и рѣчами и все лѣнивѣе протягивалъ губернскимъ знакомымъ свои два пальца. Съ его пріѣздомъ устраивались какія-то засѣданія, Рачининъ писалъ какія-то докладныя записки, и оба снова уѣзжали въ Петербургъ. Въ концѣ концовъ, трудно сказать, гдѣ теперь больше живетъ Спирька—въ Петербургѣ или у насъ.

Женитьба Рачинина и союзъ его со Спирькой произошли всего нѣсколько лѣтъ назадъ, когда особенно оживились вопросы о тарифахъ, пошлинахъ, о новыхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ, когда стали расти, какъ грибы, акціонерныя торгово-промышленныя предпріятія и заиграла биржа. Спирька и Рачининъ участвуютъ въ съѣздахъ и совѣщаніяхъ, и ихъ имена нерѣдко встрѣчаются на столбцахъ столичныхъ газетъ. Рачининъ стоитъ за политику недоговоренныхъ параграфовъ, примѣчаній и дополненій, уничтожающихъ смыслъ самого постановленія,—вообще „втираетъ очки“, какъ выражаются у насъ въ городѣ,—Спирька лѣзетъ напроломъ. Рачининъ уговариваетъ и старается удержать Спирьку отъ его старыхъ загорскихъ пріемовъ, но иногда бываетъ вынужденъ сознаться, что и система Спирьки имѣетъ свои достоинства.

Участникъ одного изъ такихъ петербургскихъ „совѣщаній“ передавалъ мнѣ единственный, въ своемъ родѣ, случай. Я не помню, о чемъ шла рѣчь. Съ своимъ стилемъ и съ той непринужденной манерой обращенія, съ которой онъ держался въ нашей думѣ, Спирька отстаивалъ свои интересы. Ему разъясняли, доказывали, Спирька продолжалъ твердить свое. Вопросъ былъ поставленъ на баллотировку и, несмотря на все искусство,

съ какимъ Рачининъ „втиралъ очки“, вопросъ былъ рѣшенъ въ отрицательномъ для Спирьки и Рачинина смыслѣ, а такъ какъ Спирька и послѣ этого продолжалъ кричать своимъ хриплымъ скрипучимъ голосомъ: „а я не согласенъ“, — предсѣдатель былъ вынужденъ лишить его слова. Тогда взбѣшенный Спирька шумно отодвинулъ свой стулъ и, поворачиваясь уходить, закричалъ:

— Тоже звали... У меня фабрики, народъ, мнѣ некогда тутъ, какъ другимъ прочимъ, по канцеляріямъ-то лодырничать!

Предсѣдатель всталъ, догналъ Спирьку и извинился, а Спирька съ достоинствомъ возвратился на свой стулъ, и—вопросъ былъ пересмотрѣнъ.

Теперь Спирька очень занятъ и въ большихъ хлопотахъ. Онъ, при содѣйствіи Рачинина, составилъ проектъ—запретить ввозъ въ Россію какихъ бы то ни было хлопчато-бумажныхъ издѣлій, и такъ какъ въ Лодзи фабрики держатъ евреи, поляки и нѣмцы, то поставить и ее въ положеніе иностранной державы, а внутри отечества устроить синдикатъ изо всѣхъ хлопчато-бумажныхъ фабрикантовъ.

Его все дразнитъ синдикатъ сахарозаводчиковъ. Спирька бѣгаетъ по Петербургу и все оретъ:

— Помилуйте-съ, въ Англіи русскимъ сахаромъ свиней кормятъ, а у насъ они по пятиалтынному фунтикъ лупятъ! У насъ, фабрикантовъ, народу-то больше кормится, да и доходу казнѣ отъ насъ больше...

Рачининъ недурно устроился. Онъ бросилъ коммивояжерство и ѣздитъ по дѣламъ только со Спирькой въ Петербургъ. Онъ состоитъ пайщикомъ и однимъ изъ директоровъ правленія Глазовской мануфактуры. Собственно къ фабрикѣ Рачининъ мало касается, и его обязанности, главнымъ образомъ, состоятъ въ составленіи годовыхъ отчетовъ въ такомъ смыслѣ, чтобы чистая прибыль не превышала 25 процентовъ, что требуетъ

тонкаго ума и большой изобрѣтательности. Его же обязанность писать въ газеты передовыя статьи и „сторонія сообщенія“, касающіяся хлопчато-бумажной промышленности вообще и Глазовской мануфактуры въ частности.

Рачинины часто живутъ за-границей, а постояннымъ мѣстожительствомъ ихъ считается старое родовое имѣніе Рачининыхъ близъ Татинцевъ, которое онъ получилъ въ приданое за женой. Тамъ выстроенъ новый домъ, и вмѣсто вырубленныхъ Спирькой липовой аллеи и парка разводятся новая аллея и новый паркъ. Рачинина давно зовутъ въ предводители, но онъ все отказывается.

XII.

Я все всматриваюсь въ Спирьку, все хочется мнѣ проникнуть въ глубину Спирькиной души.

И все прежняго купца вспоминаю, того стараго загорскаго купца. Смирный онъ былъ... Поторговывалъ на капиталъ родителей, помаленечку да полегонечку, копеечка къ копеечкѣ, рубликъ къ рублику. Утромъ лавку отопретъ, приказчики суетятся, аршина изъ рукъ не выпускаютъ, покупательницамъ зубы заговариваютъ, а онъ сидитъ за конторкой въ лисьей шубѣ, да позѣвываетъ, да на пустую улицу смотритъ. Завернетъ пріятель, къ Чернопузову зайдутъ чайкомъ побаловаться; а тамъ, глядишь, смеркаться станетъ, дома щи горячія съ головизной, каша масляная, жирная, а перины, какъ горы, вздуты, ждутъ ужъ. Помолится купецъ Богу, скажетъ: „вотъ и день прошелъ—слава Царю небесному!“ и утонетъ въ перинахъ. По субботамъ въ баньку сходитъ, по воскресеньямъ—къ обѣднѣ, а послѣ обѣдни пирогъ съ рыбой-визигой съѣстъ. И хорошо! Съѣздитъ разъ въ годъ къ Макарью на ярмарку, разомнетъ тамъ свою душу, завернетъ оттуда для очистки къ Сергію Радонежскому, а тамъ и къ себѣ въ Загорскъ—женѣ,

дѣтямъ гостинцы раздавать, а пріятелямъ новости да „случаи“ разсказывать. И ужъ весь годъ никуда больше изъ города не двинется.

Про отечество онъ мало думалъ, хотя смутно зналъ, что оно существуетъ, и смутно любилъ его,—оно представлялось ему въ родѣ теплой лежанки, на которой такъ любо лежать, когда морозъ стучитъ въ стѣны и вьюга злится на улицахъ. Настоящимъ же своимъ отечествомъ считалъ свой Загорскъ, который очень любилъ и находилъ лучшимъ изъ всѣхъ мѣстъ на землѣ. Случалось, и большіе милліоны наживалъ, а никуда изъ своего мѣста не уходилъ, если же случалось помирать въ другомъ мѣстѣ,—наказывалъ въ Загорскъ себя увезти, съ отцомъ, съ матерью положить.

И робкій былъ, боязливый... Барина боялся по старой крѣпостной привычкѣ, квартальнаго, который всякую минуту могъ ему салазки на сторону свернуть, боялся закона и памятовалъ старую русскую поговорку: „отъ сумы да отъ тюрьмы не зарекайся“. И другую старую поговорку не забывалъ: „держи языкъ за зубами, да ѣшь пирогъ съ грибами“.

— Не наше дѣло...—скажетъ, когда, бывало, пріѣдетъ кто изъ губерніи да начнетъ губернскія политическія новости сообщать. — Наше дѣло сторона, скажетъ. Поговори, поговори,—тебѣ и пропишутъ на спинѣ разговоръ-то!

Были и тогда и совѣстливые купцы и безсовѣстные грабители. Но и грабители были не лишены нѣкоторой романтической окраски, какъ тѣ разбойники, о которыхъ я такъ много въ дѣтствѣ слыхалъ разсказовъ,—богатыхъ грабили, а бѣдныхъ надѣляли. Много значило, что всегда предъ нимъ человѣкъ вертѣлся... Разъ онъ полъ-аршина не домѣряетъ, другой разъ не домѣряетъ, а глядишь третій разъ и полнымъ аршиномъ отпуститъ. Вдову иной разъ пожалѣетъ: сиротскія слезы разжалобятъ. Потомъ все на знати было,—и онъ всѣхъ зналъ,

и самъ у всѣхъ на глазахъ былъ, въявь-то грабить и неловко было.

А главное — смертный часъ помнилъ... Станетъ поясницу прихватывать, къ сердцу подкатывать, омрокъ ошибать, и начнетъ купецъ задумываться. Про могилу темную думать, про страшный судъ, про воздаянія „коемуждо по дѣломъ его“, ночью сны сниться станутъ.

Вспомнитъ онъ всю жизнь свою, сколько вдовъ по міру пустилъ, сколько дѣтей сиротами сдѣлалъ, какъ у матерей дочерей покупалъ, смотришь — нажитое людскими слезами и отпишетъ на дѣла богоугодныя; нищей братіи, сиротамъ безпріютнымъ, бездомнымъ старымъ людямъ богадѣльню устроитъ; дѣвицъ-безприданницъ не забудетъ, капиталъ оставитъ, чтобы проценты на приданое невѣстамъ шли...

Спирька давно уже потерялъ всякій страхъ. Онъ давно понялъ, что такое по нынѣшнимъ временамъ баринъ, и такъ же лѣниво и небрежно протягивалъ ему свои два пальца. Квартальные надзиратели стоятъ предъ нимъ на вытяжку и подсаживаютъ подъ локотокъ его супругу; закона онъ давно пересталъ бояться, такъ какъ убѣдился, что законъ добрѣе, чѣмъ онъ, Спирька, думалъ, да и стало ему приходить въ голову, что недобрые законы тамъ, въ Питерѣ, перемѣнить можно. Совѣсти Спирька никогда не имѣлъ и всегда находилъ, что она—„пустое занятіе“. Съ уменьшеніемъ страха вообще убавился и страхъ насчетъ смертнаго часа, да и потолкавшись между всякимъ народомъ, и рѣже и какъ-то по-другому сталъ думать о немъ Спирька. Если же когда мысль о смерти и приходила въ голову, то Спирька рѣшалъ, что у него все чисто обдѣлано. Спирька лишенъ былъ всякой романтичности и совершенно реально разсуждалъ, что большого отвѣта ему не придется держать. Все положенное онъ исполнялъ въ лучшемъ видѣ и много дѣлалъ даже и сверхъ положеннаго. Столпнику иконостасъ сдѣлалъ, у себя въ деревнѣ колоколъ повѣсилъ, въ со-

борѣ на свой счетъ главы позолотилъ, губернаторшѣ пять тысячъ на пріютъ далъ и полагалъ, что, кромѣ ордена, который онъ за него получилъ, и *тамъ* зачтено будетъ. Если Спирька немножко и безпокоился, такъ развѣ за старое, — было тамъ кое-что, но старое давно уже отмолено, да и всякія давности тѣмъ дѣламъ прошли.

А за теперешнее, что онъ теперь дѣлаетъ, Спирька и не думаетъ безпокоиться. Все по-благородному, чисто... Тамъ, на фабрикѣ, директора да служащіе, въ лавкахъ приказчики; сказано имъ: чтобы все въ аккуратѣ,—они и въ отвѣтѣ. А по другимъ дѣламъ еще лучше. Тамъ, въ тѣхъ большихъ разноцвѣтныхъ листахъ бумагъ, ничего про людей не написано, а только обозначено, что Спирька можетъ купонъ отъ нихъ отрѣзать и по купону, гдѣ слѣдуетъ, причитающіяся деньги получить. Тутъ ужъ совсѣмъ чисто,—комаръ носу не подточитъ.

Очень измѣнился Спирька, и не узнать теперь стараго Спирьку въ солидномъ и важномъ коммерсантѣ и кавалерѣ, въ самоувѣренномъ и рѣшительномъ петербургскомъ дѣльцѣ. Только въ одномъ не измѣнился,— у него осталась та же разбойная душа, тѣ же разбойныя мысли, та же душегубская ухватка. Онъ не подстерегаетъ въ темномъ лѣсу съ топоромъ въ осеннія ночи, не хватаетъ за горло мужиковъ на горѣ у столпника,—онъ понялъ, что́ такое отечество, и орудуетъ на большой дорогѣ отечества. Это отечество представляется ему въ видѣ окруженнаго высокимъ, убитымъ гвоздями, заборомъ своего загорскаго постоялаго двора, оберегаемаго и запираемаго на замокъ, ключъ отъ котораго у него, Спирьки, въ карманѣ... А проѣзжающій будто бы медленно ползетъ по глинистой горѣ, и не миновать ему Спирькина двора.

Поэтому, если вздумаютъ раскрыть Спирькинъ заборъ или объѣхать мимо его двора, онъ начинаетъ орать,— Спирька обнаглѣлъ и оретъ еще громче,—„отечество въ опасности!“

Спирька попробовалъ зубомъ отечество и уже не оторвется отъ него... И власти захотѣлъ...

Его уже не удовлетворяетъ стоящая на вытяжку фигура стараго квартальнаго, и ему уже мало назначать и смѣнять у насъ въ городѣ торговыхъ депутатовъ и смотрителей за вывозными парками...

XIII.

Единственно, чего боялся Спирька, или, вѣрнѣе, къ чему тревожно и недоумѣвающе относился, даже не умѣя формулировать своего чувства—это интеллигенція.

Въ Загорскѣ онъ не зналъ ея. Общественными дѣлами Спирька тогда не занимался, газетъ не читалъ. Былъ въ Загорскѣ старичокъ, секретарь съѣзда мировыхъ судей, который лѣтъ тридцать описывалъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ загорскія древности, — смирный былъ старичокъ и ничего страшнаго въ себѣ не имѣлъ. Изрѣдка какой-нибудь проходимецъ, какъ говорили у насъ въ Загорскѣ, въ столичной газетѣ опишетъ какой-нибудь „случай“: вымажутъ купеческіе сынки дегтемъ ворота какой-нибудь загорской барышнѣ, случится рукопашная въ Чернопузовскомъ трактирѣ. Еще и весело. Номеръ истреплется, по рукамъ ходя, а въ Чернопузовскомъ трактирѣ недѣли двѣ „пропечатаннаго“ обывателя дразнятъ.

Въ первый разъ Спирька столкнулся съ интеллигенціей и понялъ ее—въ думѣ губернскаго города. Вѣрнѣе, не понялъ ея... Когда мѣщанишки хлопотали въ думѣ о замощеніи и освѣщеніи дальнихъ улицъ, объ открытіи новыхъ городскихъ начальныхъ училищъ, о дешевой медицинской помощи, о мелкомъ кредитѣ въ городскомъ банкѣ,—онъ понималъ. Все это имъ было нужно, и хлопотать объ этомъ для нихъ было такъ же естественно, какъ было естественно говорить противъ всего этого ему, Спирькѣ, который не ѣздилъ въ дальнія улицы,

который ни сына не посылалъ въ начальное училище, ни самъ не ходилъ лѣчиться въ безплатную городскую амбулаторію, и которому самому нуженъ былъ крупный кредитъ въ томъ же городскомъ банкѣ; но когда интеллигенція (въ лицѣ хотя бы того же мирового судьи, жившаго на одной улицѣ со Спирькой, сынъ котораго учился въ одномъ училищѣ съ его сыномъ и который также не ходилъ въ лѣчебницу лѣчиться безплатно) стала дѣйствовать во всемъ этомъ заодно съ мѣщанами и хлопотать въ думѣ еще о многомъ другомъ, что и мѣщанъ не касалось, а къ нему, мировому, уже совсѣмъ не относилось, въ родѣ ночлежныхъ квартиръ, помѣщеній для рабочихъ и пр.,— Спирька не понималъ и недоумѣвалъ и злился.

И не то его злило, что интеллигенція всегда шла въ думѣ наперекоръ ему, а то, что она говорила и думала не о своемъ дѣлѣ и путалась туда, куда, по естественной логикѣ вещей, ей не было никакого основанія путаться. И вотъ эти непонятные ему мотивы дѣятельности эта всегдашняя неизвѣстность и неувѣренность, что́ она скажетъ и сдѣлаетъ, — было единственное, что мѣшало Спирькѣ, чувствовавшему себя во всѣхъ другихъ отношеніяхъ хозяиномъ положенія вещей, успокоиться, единственное, что наполняло его душу, повторяю, не вполнѣ формулированнымъ чувствомъ тревоги и страха и вполнѣ формулированнымъ чувствомъ глубокой и лютой ненависти.

Разъ приснился сонъ Спирькѣ. Стоитъ онъ, будто, на горѣ, и нѣтъ, будто, тамъ ни города, ни монастыря, а столпъ стоитъ, и въ столпѣ столпникъ укоризненныя слова ему, Спирькѣ, говоритъ насчетъ дѣловъ его и того, что *тамъ* со Спирьки спросятъ. Хотѣлъ Спирька отвѣтъ держать столпнику, и слова у него были, только поднялъ голову и видитъ — въ столпѣ мировой стоитъ.

Такъ испугался Спирька — проснулся, огонь вздулъ, къ божницѣ побѣжалъ и тутъ только немного вздохнулъ.

Совсѣмъ мировой лицомъ не похожъ былъ на столпника. А потомъ вспомнилъ Спирька, что мировой рѣдко и въ церковь ходилъ, и совсѣмъ успокоился. Спирька былъ религіозный человѣкъ и все, бывало, говаривалъ:

— Имъ, этимъ (которые къ церкви не привержены)— горло перервать и то мало. Вотъ какъ я думаю.

А все нѣтъ, нѣтъ, да и вспомнитъ Спирька свой сонъ.

Когда Спирька сталъ наѣзжать въ Петербургъ, интеллигенція еще болѣе стала метаться ему въ глаза. Газеты и журналы все о мужикахъ, рабочихъ толкуютъ, его, Спирьку, поносятъ и тайные Спирькины замыслы раскрываютъ,—и Спирька только зубами скрежещетъ. Въ совѣщаніяхъ и съѣздахъ Спирька натыкается все на эту же проклятую, становящуюся ему всегда поперекъ дороги интеллигенцію.

И вездѣ, вездѣ...

Повезетъ его жена въ театръ,—тамъ кто-то плачетъ, кто-то притѣсняетъ, кто-то заступается... Заѣдетъ Спирька на выставку картинъ—голую бабу посмотрѣть, которую ему на биржѣ расхваливали. „Только что ногой не дрыгнетъ“, говорили ему пріятели. Любуется Спирька, съ разныхъ сторонъ смотритъ. Хорошая баба, форменная, тѣльная. Рядомъ песъ написанъ, тоже хорошій, форменный песъ, только что на тебя не бросится—на его Спирькина, волкодава похожъ. А лѣсъ на заглядѣнье... Спирька привычнымъ глазомъ прикидываетъ, сколько строевого выйдетъ, на дрова сколько, сушняку...

А возлѣ—нищій мальчишка въ заплатахъ, съ сумой черезъ плечо, въ дверь въ училище заглядываетъ, гдѣ другіе ребята учатся... Рядомъ сиротки, должно быть, голодныя жмутся другъ къ дружкѣ въ лѣсу... А тамъ старикъ какой-то въ лохмотьяхъ сидитъ, голову опустилъ, бабы какія-то—слезы на глазахъ,—и пропадетъ у Спирьки всякое удовольствіе, опять обозлится Спирька.

Некуда уйти Спирькѣ отъ „интеллигенціи“ и все

больше разгорается злобой, все больше лютуетъ Спирькино сердце.

Рачининъ давно уговариваетъ Спирьку завести свою интеллигенцію. Онъ высчитываетъ Спирькѣ по конторскимъ книгамъ, во что̀ обходятся фабрикѣ его рачининскія передовыя статьи и „сторонніе сообщенія“ насчетъ тарифовъ и пошлинъ, и доказываетъ, что Спирькѣ, въ сущности, выгодно завести свою газету, такъ какъ теперь деньги въ значительной мѣрѣ идутъ зря,—нынче напишутъ на Спирькину руку, а завтра тайные планы его разоблачатъ и его же, Спирьку, мошенникомъ назовутъ. Спирька все слушаетъ, но пока еще не соглашается,—и не больно онъ въ силу газетъ вѣритъ, да и знаетъ другіе способы, болѣе вѣрные,—а главное, не можетъ побороть своей ненависти къ газетѣ и газетчикамъ.

Въ самое послѣднее время, впрочемъ, я слышалъ, что Рачининъ приглашаетъ въ редакторы одного литератора, такъ что дѣло, можетъ быть, еще и наладится.

XIV.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ Спирьку и Рачинина на Нижегородской выставкѣ.

Рачининъ былъ обворожителенъ. Въ безукоризненномъ фракѣ, изящный джентльменъ, переходя отъ паѳоса къ язвительнымъ насмѣшкамъ надъ своими противниками, онъ въ блестящей, пространной рѣчи доказывалъ, что честь, достоинство и счастье Россіи заключаются въ томъ, чтобы скверные Спирькины товары продавались втрое дороже хорошихъ иностранныхъ... Иванъ Александровичъ съ трогательной нѣжностью увѣрялъ собраніе, что Спирька совсѣмъ еще маленькій, только что учится ходить и въ большихъ хлопотахъ и потому ему некогда подумать о техническомъ усовершенствованіи производства. Иванъ Александровичъ давалъ торжественныя обѣщанія, что Спирька подростетъ, что нужно

[illegible] еще немножко поплатиться мужику и земле-[illegible] тогда Спирька за поясъ заткнетъ всякія загра-[illegible] и тогда Спирька, т. е. Россія, будетъ знаменитъ [illegible] отъ края до края.

А Спирька, великолѣпный въ своемъ блестящемъ [illegible]рѣ и бѣломъ галстукѣ, важно стоялъ, слушалъ [illegible] Спирькина оратора и одобрительно покачивалъ [illegible]... Газеты писали и трогательныя и побѣдныя [illegible] объ успѣхахъ Спирькиной промышленности.

Спирька молчалъ, но на торжественномъ обѣдѣ ска-[illegible] рѣчь.

Которые, ежели, примѣрно сказать, и напримѣръ, [illegible], прямо будемъ такъ говорить...—И Спирька гово-[illegible] объ „очетествѣ“, объ „эскриментахъ“, о „граціоз-[illegible]“ развитіи русской промышленности и въ концѣ [illegible] устроилъ фортель—поднялъ бокалъ за рабочихъ [illegible] русскій народъ...

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 августа 1905 года.

Типо-Литографія С. М. Муллеръ. Вас. Остр., 9 лин., д. 18.

НА ЗАВОДѢ.

I.

— Послушайте, здѣсь мѣсто занято.

— Чево тамъ занято! Что жъ, не такія деньги, что ли, платимъ?

— Да что жъ вы захватываете? Поищите себѣ другое мѣсто.

— Чего намъ искать, намъ и тутъ хорошо,—стаскивая и сдвигая въ уголъ вещи моего визави, говоритъ здоровенный съ красной физіономіей купчина, только что ввалившійся со станціи въ полутемный вагонъ.

— Да, говорятъ вамъ, я вѣдь изъ Ростова ѣду,—волнуется мой визави.

— Ну, что жъ, а мы теперича сейчасъ отъ Харцызской поѣдемъ,—преспокойно разсаживаясь, отдуваясь и вытирая вспотѣвшее лицо клѣтчатымъ платкомъ, говоритъ купчина.

— Кондукторъ, кондукторъ, что это такое!.. это ни на что непохоже... Я кондуктора сейчасъ позову, я начальнику станціи сейчасъ пожалуюсь...

У моего визави круглое брюшко и видъ типичнаго буржуа.

Является кондукторъ и улаживаетъ дѣло. Бьетъ третій звонокъ, но поѣздъ еще стоитъ. По платформѣ въ темнотѣ мелькаютъ фонари; въ окна глядитъ угрюмая, черная ночь. Въ вагонѣ полутемно: свѣча надъ

[illegible] съ трудомъ освѣщаетъ скамьи, проходъ, вещи [illegible] спящихъ пассажировъ.

Мой визави аппетитно причмокиваетъ губами, съ [illegible] человѣка, только что хорошо, пріятно, съ удо[illegible]ствіемъ закусившаго.

— Люблю, знаете, такъ: выйдешь тутъ на станціи, [illegible] закусишь,—буфетъ здѣсь хорошій,—потомъ [illegible] немного, а потомъ соснешь себѣ... Знаете, [illegible] оно какъ-то, не замѣтишь, какъ и время прой[illegible]. Скучно вѣдь въ вагонѣ; я вѣдь ужъ лѣтъ де[illegible] тутъ ѣзжу.

— А вамъ далеко?

— Въ Юзово. А вы?

— Туда же.

Мы помолчали. Прожурчалъ, заскакивая горошинкой, [illegible]ръ-кондукторскій свистокъ. Изъ темноты отрывисто и глухо откликнулся локомотивъ, и поѣздъ тронулся.

— Пересадка въ Ясиноватой, кажется?—спрашиваю я своего визави.

— Въ Ясиноватой. Тамъ часовъ семь ждать. Только я обыкновенно поѣзда не жду на Юзово, а прямо ѣду туда на лошадяхъ.

— Недалеко развѣ?

— Верстъ пятнадцать. Тутъ всегда достаточно: лошади, фаэтоны. Ну, сегодня только не поѣду, подожду поѣзда.

— Что такъ?

— Ночь, знаете...

— Развѣ тутъ неспокойно?

— Особеннаго-то такъ ничего не слышно, только шахты тутъ вездѣ.

— Ну?

— Ну, какъ же! ужъ шахты—это, значитъ, народъ такой, что ему жизни не жалко. Своя ему жизнь—тьфу! Идетъ онъ... тутъ вотъ у нихъ фонарь,—мой собесѣдникъ показалъ себѣ на лобъ,—тамъ вѣдь тьма,

такъ и копаются по колѣна въ водѣ; идетъ теперичка, кусъ угля оторвался, хлопъ, придавилъ передняго, энтотъ, другой-то за нимъ, ша-агай черезъ него, валяй дальше, чего тамъ, скорѣй надо: отъ куба работаютъ-то. А тамъ сейчасъ може и его очередь, придавитъ, нутро и выдавитъ, сдохнетъ по-собачьи. И они совершенно какъ звѣри: есть такіе, что цѣлую недѣлю не вылазіютъ.

— Неужели же недѣлю?

— Цѣлую недѣлю! логово себѣ устроитъ, на углю спитъ, пожретъ, пожретъ и опять работать. Я ихъ совершенно за дикихъ звѣрей считаю, окончательно просто звѣрь, совершенный звѣрь, звѣрь дикій. Ну, ему чего же: встрѣтилъ, полыхнулъ по горлу. Ему лишь бы на водку, своя жизнь ничего не стоитъ, чего же онъ чужую-то будетъ жалѣть.

— Но вѣдь это ужасно, неужели же недѣлю подъ землей?

— Въ воскресенье только вылазіютъ,—сейчасъ водка, гармоника, ругня, драки, пьяные до безчувствія валяются, а тамъ опять *туда*, подъ землю.

Вагонъ качало. Подъ поломъ все такъ же неустанно что-то бѣжало съ неперерывающимся, какъ будто не особенно сильнымъ, но наполнявшимъ весь вагонъ гуломъ, мѣрно постукивая черезъ разъ. Свѣча догорала, мерцая и вытягиваясь, въ вагонѣ становилось темно. Слабо въ полумракѣ виднѣлись силуэты покачивавшихся, дремавшихъ и спавшихъ по лавкамъ пассажировъ; по угламъ и между скамьями сгущалась черная тьма, въ окнахъ по временамъ мелькали искры, и бѣлыми колеблющимися видѣніями проносился паръ локомотива.

— Скажите, пожалуйста,—вы постоянно живете въ Юзовѣ?

— Какъ же, я уже десять лѣтъ тамъ; лавка у меня краснаго товара.

Значитъ, при васъ былъ тотъ ужасный погромъ [illegible] году?

Какъ же, какъ же! у меня двѣ лавки тогда было, обѣ сожгли и разграбили. Было тогда чистое свѣтопреставленіе. Народъ, такъ сказать, озвѣрѣлъ окончательно: керосиномъ обливали, жгли. Весь базаръ сгорѣлъ, всѣ лавки; одно пожарище было, камня на камнѣ не осталось, чисто помутнѣніе разума было, народъ, какъ съ цѣпи сорвался... Теперь и то вспомнить страшно. Сколько народу разорилось, по міру пошло. У меня двѣ лавки были, обѣ сгорѣли: тысячъ на тридцать.

Онъ помолчалъ немного, потомъ вдругъ воодушевился и заговорилъ:

— Ну, за то же и проучили ихъ, ухъ! и ловко же проучили! Военная комиссія пріѣхала, сейчасъ сдѣлала распоряженіе: каждому торговцу, обиженному вообще- патруль въ двадцать солдатъ и одинъ полицейскій; онъ, вообще, какъ знаетъ мѣстность, обычаи,—ну, сейчасъ приходятъ во дворъ:

— „Есть краденое?“

— „Никакъ нѣтъ... помилуйте, да откуда!“

— „Искать... А это что?“

— „Не могу знать“.

— „Откуда же это?“

— „Должно, люди подкинули“.

— „А-а, люди! вязать“.

Сейчасъ же запрягаютъ его же лошадь, валяй на телѣгу товаръ, а сверхъ товара прикручиваютъ самого хозяина и ѣдутъ на площадь къ комиссіи.

Въ воздухѣ стонъ, ревъ звѣриный, народъ кругомъ за цѣпью напираетъ, тысячъ двадцать, вздохи, плачъ, бабы убиваются, начальникъ ходитъ: „хорошенько, хорошенько, а то и васъ положатъ“.

Ну, сѣкутъ, боятся. Жутко было, дыханіе даже какъ-то занималось.

Онъ замолчалъ, досталъ портъ-табакъ и закурилъ папиросу. Потомъ опять живо обернулся ко мнѣ:

— Бабы тоже грабили! Въ чувалъ спѣшитъ, напихиваетъ сахаръ, башмаки, шелкъ, ситецъ, платки, всякую бакалею. Какъ же, вѣдь это невозможно! Грабили, форменно грабили, не хуже мужиковъ, удержу не было. Ну, какъ найдутъ краденый товаръ, сейчасъ же на площадь, разложатъ и засыпятъ горяченькихъ, чтобъ помнила. Нельзя же.

Мой собесѣдникъ докурилъ папиросу, задавилъ ее ногой, разостлалъ по скамьѣ небольшой тюфячокъ и подушку, снялъ сапоги и разлегся, слегка отдуваясь и покряхтывая отъ удовольствія.

— Хорошо, знаете, теперь соснуть. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я прислонился къ углу сидѣнья. Вагонъ качало, и все такъ же что-то неустанно бѣжало подъ поломъ все въ одну и ту же сторону, и бѣлыя видѣнія проносились за стеклами. Кругомъ всѣ спали. Послѣдній кусочекъ свѣчи теплился крохотнымъ мерцающимъ огонькомъ и наконецъ потухъ; въ вагонѣ стало темно.

II.

— Станція Юзово, поѣздъ стоитъ семь минутъ.

Я выглядываю въ окно: раннее утро. Беру свой сакъ и выхожу на платформу. Станціонное зданіе небольшое и неказистое, по полотну тянется множество путей, заставленныхъ массой вагоновъ. Повсюду угольная пыль, все черно отъ нея. Нѣсколько поѣздовъ, груженыхъ углемъ, ждутъ отправки. Видно, что это „черная“ станція.

Я прохожу черезъ залъ третьяго класа. У подъѣзда

стоитъ нѣсколько извозчиковъ. Подходитъ еще кое-кто изъ публики, нанимаетъ одного изъ нихъ, и трогаемся.

Проѣзжаемъ небольшую улицу, нѣсколько домиковъ остаются позади. Передъ нами степь, обнаженная и унылая, ни кустика, ни деревца, куда ни глянешь, все то же бурое пространство, покрытое сѣрой полынью, сухой и горькой, да изсохшимъ чернобылемъ. Мѣстами чернѣютъ пашни, краснѣютъ глиной овраги, и до самаго горизонта лѣниво тянутся степныя возвышенности, отлогія и скучныя. Въ лѣтній палящій зной здѣсь все сгораетъ, скручивается, засыхаетъ, уступая мѣсто горькой полыни; зимой земля, черная и голая, то сковывается морозомъ, то размывается дождями, которые разомъ начинаютъ лить послѣ стужи, чтобы также внезапно смѣниться опять морозами.

Лошади бѣгутъ рысью, станція позади скрылась, вокругъ бурьянъ, изсохшая потрескавшаяся земля. Впереди показалось громадное кирпичное строеніе, черное, закоптѣлое; надъ нимъ угрюмо высилась такая же почернѣвшая дымовая труба.

Я подумалъ, что открывается уже Юзовскій заводъ, но до Юзова еще верстъ пять. Это просто шахта. Ихъ много разбросано здѣсь среди степи. Два, три десятка каменныхъ низкихъ, придавленныхъ черепичною кровлею домовъ вытянулись въ степи, какъ одинъ, выстроены по шаблону, напоминая казарменный типъ. Вокругъ скучно, непріютно. Нѣтъ даже двориковъ. Тѣ, кто живетъ здѣсь, выходя изъ дверей, прямо попадаютъ въ степь. Только мусоръ да груды золы указываютъ, что въ этихъ казармахъ живутъ люди: никого не видно. Все населеніе работаетъ, быть можетъ, тутъ же, у насъ подъ ногами, въ глубинѣ земли.

И я глядѣлъ на эту высокую дымовую трубу, на это почернѣлое зданіе, на эти низкіе придавленные дома, безъ огорожи, безъ дворовъ, безъ признаковъ хо-

зяйственности, брошенные посреди степи. Послѣ упорнаго изнурительнаго труда въ густомъ тяжеломъ мракѣ, въ узкой дырѣ галлереи, среди струящейся отовсюду холодной воды, среди атмосферы, пропитанной газами, ядовитыми, отравляющими дыханіе, при малѣйшемъ удобномъ случаѣ готовыми страшнымъ взрывомъ похоронить копающихся въ темнотѣ людей,—выйти, наконецъ, на свѣтъ Божій и очутиться въ казармѣ среди голой унылой степи, гдѣ нѣтъ ни домовъ, ни храма Божія, нѣтъ возможности перекинуться словомъ со свѣжимъ человѣкомъ, за исключеніемъ своего же брата шахтера, такого же грязнаго, угрюмаго, озлобленнаго. Но вѣдь человѣкъ не изъ желѣза: ему нуженъ отдыхъ, во что бы то ни стало, необходимо такъ или иначе хоть на одинъ день, отвлечься отъ подавляющей обстановки и нечеловѣческаго труда... И, вотъ, эти сѣрые, пропитанные углемъ люди идутъ толпами въ лѣтній палящій зной, въ осеннюю слякоть, утопая по колѣна въ растворившемся черноземѣ, въ зимнюю вьюгу и мятель, идутъ степью въ Юзово, прямо въ кабаки, гдѣ напиваются до самозабвенія; больше вѣдь некуда. Теперь, правда, введена казенная монополія, и кабаки замѣнены казенными лавками, но это нисколько не измѣняетъ дѣла: пьютъ въ трактирахъ, въ гостиницахъ, въ тайныхъ притонахъ, валяются въ канавахъ, по ямамъ по оврагамъ, на улицахъ, подъ заборами. Тѣ шахтеры, которые работаютъ на шахтахъ, заброшенныхъ въ степи откуда далеко до кабака, пользуются водкой, которой торгуетъ артельная стряпуха; само собою за рискъ она облагаетъ товаръ крупной надбавкой.

Да, дѣйствительно, онъ правъ, мой собесѣдникъ по вагону: „своей-то ужъ ему жизни, видимо, не жалко“.

Шахта скрылась. Вдали маячили трубы другихъ такихъ же шахтъ. Начиная отсюда, на многія сотни верстъ люди роются въ подземныхъ галлереяхъ.

Вотъ, наконецъ, и Юзово. Небольшіе подъ черепицей

всю разбирать до послѣдняго кирпича и вновь складывать. Домна живетъ до тѣхъ поръ, пока горитъ ея раскаленная внутренность; а этотъ адскій огонь горитъ днемъ и ночью, зимою и лѣтомъ, недѣли, мѣсяцы, годы. Выплавка чугуна идетъ непрерывно, доменная печь никогда не охлаждается, пока она не придетъ въ ветхость. Жаръ внутри домны такъ великъ, что никакой матеріалъ не выдержитъ, и стѣны ея давно должны были бы поплыть, какъ расплавленный свинецъ, если бы по проложеннымъ въ ихъ толщѣ трубамъ не гнали бы неустанно холодную воду. Снизу въ доменныя печи вдувается сжатый, нагрѣтый воздухъ; заставляя коксъ интенсивно сгорать, онъ подымаетъ температуру въ нижней части домны до чудовищной высоты въ 1300°.

Мы идемъ осматривать машину, нагнетающую въ домну воздухъ. Когда мы входимъ въ большое новое, недавно выстроенное возлѣ доменныхъ печей зданіе, меня поражаетъ удивительная чистота, въ противоположность окружавшей насъ до этого грязи и пыли: все вычищено, блеститъ; вездѣ лакъ и полировка, нигдѣ ни соринки; кажется, будто я попалъ въ выставочный павильонъ машинъ. Гигантская паровая машина занимаетъ все зданіе; изъ громадныхъ цилиндровъ, безшумно выдвигаясь, по очереди показываются и прячутся блестящіе стержни поршней, подъ страшнымъ давленіемъ нагнетающихъ воздухъ; всѣ члены машины двигаются мѣрно, безъ суетливости, спокойно и увѣренно въ своей могучей силѣ.

— Это воздуходувная машина; она по трубамъ нагнетаетъ въ домну воздухъ, который предварительно нагрѣвается уходящимъ теплом,—у насъ, видите ли, ничего не пропадаетъ,—смѣшивается съ горючими газами внутри домны, по преимуществу съ окисью углерода, давая необыкновенно высокую температуру. Но тутъ необходимо знаніе, опытъ и бдительность; горючіе

– Да не дюже они любятъ, какъ кто чужой приходитъ. Ежели бы у васъ знакомые были въ конторѣ, такъ еще можно бы пропускъ взять, а такъ ничего не увидите, не пустятъ, гдѣ самая работа идетъ. Очень они не любятъ чужой глазъ. Студенты, значитъ, изъ заведеніевъ, которые сюда на практику пріѣзжаютъ, такъ имъ полное запрещеніе съ рабочими и разговаривать-то, чтобы, значитъ, порядки здѣшніе наружу не выплыли.

— А работа видно тамъ тяжела?

— Куды же чижеле. Только народу набилось видимо-невидимо, все изъ голодающихъ, ну, значитъ, плату ни къ чему сбили, потому заводъ только ждетъ: какъ народъ станетъ итить, сейчасъ плату и понижаютъ.

Я отправился. Прошелъ огромную площадь, лавки, магазины, аптеки, каменную церковь, заводскую больницу, школу, и съ горы, гдѣ оканчивается Юзово, открылся внизу заводъ. Громадные почернѣлые заводскіе корпуса, дымовыя трубы, гигантскія усѣченныя конусообразныя доменныя печи, вышки надъ шахтами, параллельные ряды коксовальныхъ печей съ грудами раскаленнаго кокса между ними, насыпь, по которой то и дѣло бѣгали поѣзда съ рудой, съ углемъ, съ плавнемъ, все это черное, закоптѣлое, пропитанное угольнымъ налетомъ, точно послѣ громаднаго пожара, виднѣлось у меня подъ ногами въ узкой долинѣ, между двумя возвышенностями. Странные, рѣзкіе, поражающіе ухо звуки, точно тамъ валились груды желѣза, или били для чего-то въ огромныя чугунныя доски, неслись оттуда вмѣстѣ со свистками паровозовъ, вмѣстѣ съ тяжелыми вздохами паровиковъ. Дымная черная мгла, колеблясь, курилась надъ всѣмъ этимъ мѣстомъ.

Я спустился и прошелъ въ ворота. Хаотическій внѣшній безпорядокъ поражаетъ съ перваго раза груды:

за своимъ чичероне, какъ автоматъ; обезсиленный, я не находилъ въ себѣ воли даже на то, чтобы отказаться отъ осмотра и отправиться домой.

Осторожно пробираясь между грудами шлака, угля, желѣзныхъ отбросовъ, мы прошли къ длинному черному навѣсу. Онъ безъ конца тянулся въ обѣ стороны. Гулъ, шумъ, нестерпимое шипѣніе оглушили насъ. Человѣческій голосъ терялся совершенно, видно только было, какъ собесѣдникъ шевелитъ губами; рабочіе передаютъ другъ другу, что нужно, мимикой и свистками.

Подъ навѣсомъ выдавались изъ земли бурыя неуклюжія массы, точно спины какихъ-то допотопныхъ погребенныхъ въ землѣ животныхъ. Даже среди знойной атмосферы палящаго дня чувствуется, какъ пышетъ отъ нихъ жаромъ. Это печи несомнѣнно. У моихъ ногъ глубоко внизу, въ ямѣ, которую я въ первый моментъ не замѣтилъ, завизжало желѣзо, раскрылась чугунная дверца, и насъ обдало такимъ ослѣпительнымъ жаромъ, что я невольно попятился. Въ ямѣ рабочій, весь черный, точно обуглившійся, что-то торопливо дѣлалъ передъ этимъ жерломъ; судорожно корчась, отворачивая лицо, онъ поминутно бросался въ сторону, гдѣ его не такъ палилъ жаръ бушевавшаго въ печи пламени. Щурясь отъ этого палящаго блеска, я сталъ всматриваться: рабочій, извиваясь передъ раскрытымъ устьемъ печи, ворочалъ тамъ огромной кочергой, выгребая сплавившуюся, спекшуюся окалину. Дверцы съ визгомъ захлопнулись, и рабочій въ изнеможеніи опустился на землю; потъ бѣжалъ съ него ручьями.

Сквозь стоявшій вокругъ шумъ и шипѣніе послышались рѣзкіе тревожные звуки ручного свистка, тѣни подъ навѣсомъ исчезли, все разомъ освѣтилось, и меня обдало сзади жаромъ. Англичанинъ схватилъ меня за руку, и мы отодвинулись подъ навѣсъ. Что-то ослѣпительно яркое, сыпавшее отъ себя блестящія звѣзды, тихо и грозно подвигалось, приподнятое въ воздухѣ.

Это былъ большой кусокъ раскаленной добѣла стали. Его держала въ воздухѣ большая черная металлическая рука крохотнаго паровозика, едва виднѣвшагося надъ землей; онъ тихо подвигался по узенькимъ рельсамъ. Машинистъ, озаренный краснымъ отблескомъ стоялъ на площадкѣ, держась за регуляторъ. Рука пронесла раскаленный кусокъ металла мимо насъ, остановилась противъ печи, повернулась, разжала свои два желѣзные пальца, и сталь погрузилась въ пламя, а паровозикъ торопливо и быстро убѣжалъ назадъ. Только что онъ скрылся, какъ на смѣну ему показался другой; онъ такъ же торжественно несъ въ воздухѣ раскаленную сталь, которая ярко свѣтила вокругъ себя. Прокованную и обработанную сталь здѣсь нагрѣваютъ до высшей температуры, и потомъ тѣ же паровозики забираютъ ее и несутъ въ рельсопрокатную.

Я не зналъ, куда дѣваться. Внизу опять раскрылась печь, и оттуда несло нестерпимымъ жаромъ, съ другой стороны сыпались искры горѣвшей стали. У меня стало стучать въ голову, какъ это бываетъ отъ угара. Газы, идущіе въ эти печи изъ генераторовъ, ядовиты; они, вѣроятно, просачиваются сквозь стыки трубъ, сквозь печи и отравляютъ атмосферу. Что-то тянуло меня упасть въ эту яму, гдѣ сжигало рабочаго жаромъ клокотавшаго въ печи пламени, или безсильно лечь подъ надвигающуюся, повисшую въ воздухѣ накаленную сталь.

Этотъ жаръ, этотъ шумъ и свистъ, эти бѣгающіе паровозики, эти печи съ бушующимъ въ нихъ пламенемъ, эти машины, огромныя, неумолимыя, страшныя своей силой, — все это подавляетъ, оглушаетъ, и все это требуетъ постоянной траты нервной силы, неустаннаго, ни на минуту не ослабѣвающаго вниманія, напряженія, иначе на каждомъ шагу грозитъ мгновенная смерть, увѣчье. Да и помимо того работа здѣсь такого рода, что зѣвать не приходится: раскаленный

металлъ не ждетъ, онъ требуетъ быстрой, торопливой обработки. И эта постоянная напряженность кладетъ свой отпечатокъ на лица рабочихъ: они серьезны, сосредоточены, даже угрюмы, движенія ихъ быстры и ловки, но въ глазахъ свѣтится печальное выраженіе переутомленія, усталости и еще особенное выраженіе людей, которые не видятъ солнца, не знаютъ свѣжаго воздуха и цѣлые годы проводятъ среди грохота и шума, среди палящаго жара печей, среди копоти и гари.

А вотъ нѣсколько мужичковъ, только что оторванныхъ отъ сохи. Ихъ сейчасъ же сразу отличаешь отъ остальной массы рабочихъ: неповоротливые, наивные, съ добродушными лицами, ихъ все поражаетъ, всему они удивляются, широко раскрывая глаза и ротъ и рискуя ежеминутно попасть куда-нибудь — либо подъ паровозикъ, либо въ какую-нибудь машину. Работы они не боятся, но ихъ оглушаетъ, подавляетъ окружающая обстановка. И пока изъ этого неповоротливаго, неуклюжаго, добродушнаго землероба выварится настоящій заводскій рабочій, подвижной, нервный, проворный и ловкій, ничему не удивляющійся, сравнительно развитой и видавшій виды,—много муки и душевныхъ испытаній придется ему перетерпѣть, если только, конечно, онъ до этого не сопьется окончательно, не будетъ изувѣченъ или размозженъ какой-нибудь машиной. Вотъ ихъ поступило три дня тому назадъ пять человѣкъ, а работаетъ теперь четверо: они принесли уже кровавую жертву богу огня и желѣза. Вчерашній день одинъ изъ нихъ попалъ подъ паровозикъ, съ котораго сорвался кусокъ раскаленнаго металла и мгновенно пережогъ несчастнаго пополамъ.

Я радъ былъ выбраться изъ этого содома, и мы прошли въ рельсопрокатную. Раскаленныя добѣла стальныя болванки величиною въ человѣческое туловище торопливо подкатывались, покачиваясь, на те-

лѣжкахъ по рельсамъ, озаряя все вокругъ себя свѣтомъ; машина принимала ихъ, подвигала къ вальцамъ, а вальцы, быстро вращаясь въ разныя стороны, протискивали въ просвѣтъ между собою разогрѣтую сталь, и толстая неуклюжая болванка въ два-три пріема выдвигалась съ другой стороны длиннымъ прямымъ красивымъ огненнымъ рельсомъ, который, точно это была тягучка, рѣзали по мѣркѣ на нѣсколько частей большія ножницы. Все дѣлалось такъ легко, свободно, мягко и безъ усилій, что, казалось, вальцы обжимаютъ тѣсто; такъ и хотѣлось подойти и погрузить пальцы въ эту мягкую, податливую массу.

— Ну вотъ все, что есть интереснаго у насъ,—проговорилъ мой чичероне, когда мы подошли къ выходу.

Мы распрощались. Я было отправился домой, но пріостановился: мнѣ вдругъ захотѣлось самому побродить по заводу, не чувствуя надъ собой постоянно наблюдающаго ока.

IV.

Я пошелъ назадъ и опять сталъ бродить между машинами, между вышками шахтъ, между генераторами и доменными печами; тотъ же жаръ, тѣ же измученныя, усталыя черныя лица рабочихъ. Вотъ гулкіе удары тяжелаго молота по холодной стали,—это гаршинскій „глухарь“; онъ неясно виднѣется въ темной внутренности котла.

Нѣсколько въ сторонѣ тянутся узкія и необыкновенно длинныя, въ нѣсколько сотъ саженей, круглыя приземистыя печи для обжиганія кокса. Кажется, что это сложены изъ кирпича для чего-то параллельно валы. Отъ нихъ струится горячій воздухъ. Внутри за-

ложенъ каменный уголь, который накаляется безъ доступа воздуха, превращаясь такимъ образомъ въ коксъ. Вдоль этихъ печей тянутся узенькіе рельсы.

Я подхожу къ маленькому паровозику, поперекъ котораго, упираясь въ стѣнку коксовальной печи, лежитъ огромный металлическій брусъ съ желѣзной головой; онъ очень похожъ на таранъ древнихъ римлянъ, которымъ разбивали стѣны осаждаемыхъ городовъ. На площадкѣ паровоза сидитъ рабочій. Сквозь сажу, грязь и угольную пыль сквозитъ блѣдность и желтизна его лица; щеки впалыя, грудь вдавлена, а въ угрюмыхъ глазахъ знакомое выраженіе печали.

— Здравствуйте!

— Добраго здоровья.

— Давно служите здѣсь?

— Одиннадцатый годъ.

— Тяжелая служба?

— Чижелести въ ней нѣтъ, ну только что жарко: все нутро въ тебѣ высушитъ. А зимой опять спереди отъ печи жгетъ, а сзади морозъ съ вѣтромъ леденитъ, на спинѣ сосульки.

— Сколько часовъ работаете въ день?

— Отъ шести до шести.

— А отдыхъ какъ?

— А вотъ послѣ шести и отдыхаемъ.

— Нѣтъ не то, я хочу спросить: совсѣмъ перестаете работать когда, по воскресеньямъ или среди недѣли?

— Нѣтъ, и по воскресеньямъ работаемъ, потому печи горятъ.

— Ну, а по большимъ праздникамъ?

— Все одно и по большимъ праздникамъ, хучь Свѣтло Христово Воскресенье, хучь Рождество.

— Да неужели же?! неужели же каждый день безъ перерыва круглый годъ?

— Безъ перерыва,—съ спокойной и печальной улыбкой проговорилъ мой собесѣдникъ,— потому печи не-

угасаемо горятъ, все одно днемъ али ночью, зимою али лѣтомъ. Оставить ихъ никакъ нельзя.

— Да у васъ нѣтъ смѣны, что ль?

— Какъ нѣту, есть; двое насъ: одинъ ночью работаетъ, другой днемъ.

Я, не спуская глазъ, глядѣлъ на этотъ феноменъ: „человѣкъ безъ отдыха“. Вѣдь это триста шестьдесятъ пять дней стоять на одной и той же площадкѣ, поворачивать однѣ и тѣ же рукоятки, ѣздить изъ конца въ конецъ вдоль однѣхъ и тѣхъ же печей, и это не годъ и не два, а цѣлыхъ одиннадцать лѣтъ. Но вѣдь есть же у него какія-нибудь потребности, есть же семья, дѣти, знакомые, родственники, есть же желаніе побывать въ храмѣ Божіемъ, наконецъ, пойти въ гостиницу, въ трактиръ, или выѣхать хоть на нѣсколько часовъ изъ этого опостылѣвшаго мѣста куда-нибудь. Я сказалъ ему объ этомъ.

— Двое насъ: я да жена, а дѣтей у насъ нѣту. А только что насчетъ отдыха, такъ мы отдыхаемъ каждый день: какъ придешь со смѣны, ложись и отдыхай. Ежели въ церковь захотѣлъ, иди, кто тебя держитъ: на работу-то въ шесть часовъ являться, а утренняя-то въ четыре начинается. Выпить тоже можно: иной разъ придешь съ работы, да и надрызгаешься съ устатку,—всего бываетъ. Коксъ — это такая штука, что его безустанно выжигать надо: пропасть его требуется для завода. Ну какъ же отъ печей отойтить, никакъ и нельзя; не скажешь ей—подожди, и заводъ не ждетъ. Ишь сколько его, коксу-то, однѣ домны жрутъ, страсть.

— А если вы заболѣете?

— Ну, что жъ, безъ этого нельзя; захворалъ, такъ пока поставятъ машиниста изъ какого-нибудь другого отдѣленія. Долго только болѣть нельзя: день, два проваляешься, ну недѣлю тамъ, другую, а тамъ ужъ ступай, работай, ждать не станутъ, другого замѣстъ тебя возьмутъ... Потому, не остановить же печь.

— [illegible] жъ вы получаете?

— [illegible] получаемъ [illegible] по рублю въ день. [illegible] въ мѣсяцъ, оно и выходитъ тридцать рублей въ мѣсяцъ.

Меня поражаетъ не только отсутствіе отдыха у этого человѣка, но и отсутствіе сознанія необходимости этого отдыха и естественнаго на него права. Непрерывность [illegible] работы завода порабощаетъ его мысль. [illegible] Ему не приходитъ въ голову, что вѣдь заводъ могъ бы и долженъ былъ поставить у опредѣленнаго количества печей не двухъ, а трехъ человѣкъ, и тогда у каждаго бы былъ недѣльный отдыхъ. И въ то же время онъ находитъ совершенно естественнымъ, что болѣть ему не полагается, а если и разрѣшается, такъ очень умѣренно, потому что вѣдь „печи не ждутъ". Очевидно, для этого живого придатка заводскихъ механизмовъ и приспособленій не должно было существовать извѣстнаго перерыва дѣятельности, какъ его не существуетъ для доменныхъ и коксовальныхъ печей, для генераторовъ и проч.

Къ намъ подошли двое рабочихъ. Лицо моего собесѣдника сдѣлалось сосредоточеннымъ, и онъ оставилъ меня. Рабочіе желѣзными крючьями разомъ распахнули чугунныя дверцы одной изъ камеръ коксовальной печи: оттуда пахнуло нестерпимымъ зноемъ. Я отошелъ въ сторону. Паровозикъ подошелъ къ самой печи; машинистъ съ раскраснѣвшимся, пылавшимъ отъ жара лицомъ повернулъ какую-то рукоятку, и лежавшій на паровозикѣ желѣзный брусъ весь вошелъ въ печь и выгребъ изъ камеры на противоположную сторону раскаленный коксъ, который вывалился наружу въ раскрытыя съ противоположной стороны дверцы. Я прошелъ туда. То и дѣло изъ раскрытыхъ камеръ вываливался горячій коксъ, вдоль печи на десятки саженей громоздились огромныя огненныя груды раскаленнаго кокса. Стоять возлѣ не было физической воз-

можности, волоса подымались, трещали, скручивались, платье коробилось. Нѣсколько человѣкъ рабочихъ въ однихъ портахъ и рубахѣ подскакивали и, отворачиваясь, плескали изъ ведеръ воду на горящій коксъ и сейчасъ же стремительно бросались прочь. Вода мгновенно съ легкимъ взрывомъ вырывалась оттуда бѣлыми клубами пара. Небо, облака, вершины трубъ, доменныхъ печей, дальнія постройки,—все это дрожало въ струившемся надъ огненной грудой воздухѣ.

Даже на томъ разстояніи, на какомъ я былъ, нельзя было стоять, и я пошелъ дальше. Не успѣлъ я сдѣлать и десяти шаговъ, какъ наткнулся на нѣсколько рабочихъ, которые, раскинувъ руки, неподвижно, точно трупы, лежали на голой землѣ. Тотъ тяжелый, мертвый сонъ, который овладѣваетъ людьми, когда они засыпаютъ на солнцепекѣ, видимо охватилъ ихъ. Они спали, несмотря на ужасающую духоту и жаръ, съ поблѣднѣвшими лицами, съ раскрытыми ртами. Это былъ маленькій свободный отъ работы промежутокъ, и они валились, гдѣ попало, и засыпали тяжелымъ разслабляющимъ сномъ.

Я вышелъ за заводскую ограду и сталъ подыматься на пригорокъ. Внизу, у ногъ, снова открылся весь заводъ; это былъ цѣлый городъ: чернѣя, подымались закоптѣлыя зданія, вышки, гиганты-домны, змѣились перебѣгавшимъ отблескомъ огненныя груды кокса, доносился все тотъ же лязгъ желѣза, и мгла, черная и дымная, окутывала все. Рабочихъ, оживлявшихъ этотъ хаосъ, не было видно; они терялись среди построекъ, среди машинъ и механизмовъ.

По пригорку, на которой я поднимался, раскинулось нѣсколько улицъ рабочихъ домиковъ. Небольшіе, кирпичные, они были довольно удобны и помѣстительны. Но по разспросамъ оказалось, что, во-первыхъ, за эти домики администрація завода взимаетъ слишкомъ высокую плату, сравнительно съ заработной платой, и,

во-вторыхъ, этихъ построекъ такъ мало, что въ нихъ попадаетъ самая незначительная часть рабочихъ. Остальная же масса ютится въ поселкѣ, у частныхъ лицъ, по клѣтушкамъ, подваламъ, мазанкамъ, гдѣ царитъ страшная тѣснота, грязь, зловоніе, сырость, полутьма, и за всѣ эти удобства рабочіе отдаютъ львиную долю своего заработка, „потому больше дѣться некуда, не на улицѣ же съ семьей жить".

Уѣзжая вечеромъ на станцію, я въ послѣдній разъ взглянулъ на заводъ съ пригорка; долина, гдѣ онъ помѣщался, представляла демоническій видъ: грохотъ желѣзный лязгъ, смѣшанные хаотическіе звуки, огромное пламя, вспыхивавшее надъ домнами и озарявшее краснымъ отблескомъ черныя облака, окрестности, дома поселка и угрюмые, закоптѣлые заводскіе гиганты.

Людей не было видно и слышно.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 6 сентября 1905 года.

Типо-Литографія С. М. Муллеръ. Вас. Остр., 9 лин., д. 18.

ПОДЪ ЗЕМЛЕЙ.

I.

Мы вошли въ большое кирпичное зданіе, напоминавшее собой казармы, фабрику или заводъ. Узкія почернѣвшія окна почти не пропускали свѣта. Было грязно, скользко, сыро, и по каменному изъ плитняка полу хлюпала вода. Въ полумракѣ, уходя вверхъ, тянулись, встрѣчаясь другъ съ другомъ, какія-то трубы, канаты, балки, производя впечатлѣніе сосредоточенной, скрытой силы. Я все боялся провалиться въ шахту, которая представлялась мнѣ почему-то просто дырой въ полу и съ напряженіемъ, и съ усиліемъ пробирался въ полутемнотѣ, потому что со свѣту почти ничего не могъ разобрать.

Возлѣ ходили какіе-то люди, черные, насквозь пропитанные углемъ, свободно и легко оріентируясь, какъ давно освоившіеся съ обстановкой и мѣсторасположеніемъ.

— Эй, да гдѣ же старшій рабочій?—крикнулъ нашъ провожатый.

Что-то огромное и громоздкое, съ гуломъ и желѣзнымъ грохотомъ, заглушая голосъ нашего проводника, тяжко ударилось обо что-то металлическое, и все кругомъ дрогнуло и зазвенѣло. Это было гдѣ-то совсѣмъ близко, но я не могъ разсмотрѣть, что это было. Мнѣ въ первый моментъ показалось, что это лопнулъ у ка-

кой-то гигантской машины рабочій валъ, коромысло или еще какая-нибудь важная часть.

Рабочій возлѣ меня, такой же черный, какъ и остальные, котораго я замѣтилъ только въ этотъ моментъ, схватился за выходившій откуда-то металлическій стержень и, быстро наклонившись, качнулъ его два раза. И это движеніе среди чуждой обстановки показалось мнѣ полнымъ значенія и особеннаго смысла. Раздался рѣзкій со звономъ ударъ, какъ будто о мѣдную доску. И опять то, что за минуту оглушило меня, съ такимъ же трескомъ и гуломъ пошло куда-то въ глубь, издавая характерный звукъ бѣжавшихъ по валу цѣпей.

— Гдѣ это мы?—крикнулъ я, стараясь покрыть гулъ работавшей машины.

— Шахта.

Я осторожно пододвинулся. Огромный мощный срубъ подымался изъ глубины вплоть до крыши. Въ немъ ходила на цѣпяхъ клѣтка. Четырехугольное темное отверстіе, какъ могила, мрачно и угрожающе чернѣло изъ-подъ него. Мнѣ показалось, что оттуда тянуло холодомъ и сыростью. Я отодвинулся, невольно испытывая ту необъяснимую силу, которая тянетъ въ бездну.

— Пожалуйте въ контору,—проговорилъ нашъ вожатый.

Онъ провелъ насъ въ большую грязную комнату, занятую столами, съ разбросанными по нимъ планами, чертежами, картами, образцами угля въ кускахъ съ металлическимъ изломомъ. Посрединѣ возвышалась обтертая и вылощенная руками конторка и на ней огромная книга съ замусленными, завернутыми краями.

„Разсчетная книга рабочихъ рудника такого-то общества“. Я перелисталъ нѣсколько страницъ. Двѣнадцать, пятнадцать, восемнадцать рублей въ мѣсяцъ была обычная средняя плата, двадцать пять—максимальная. Страницы пестрѣли многочисленными штрафами и вы-

четами, понижавшими иной разъ получку на цѣлую семью до десяти рублей.

Къ намъ подошелъ молодой человѣкъ въ формѣ горняка.

— Студентъ горнаго института N.

Мы познакомились. Онъ вѣжливо и предупредительно переложилъ книгу на другой столъ.

— Ну, что же, господа, есть у васъ во что одѣться? Вѣдь, такъ нельзя спускаться въ рудникъ.

Я захватилъ съ собой подходящій костюмъ и длинные охотничьи сапоги; но мой пріятель красовался въ чесунчевомъ пиджакѣ, крахмальной сорочкѣ и штиблетахъ.

— Эдакъ нельзя. Придется вамъ дать рабочій костюмъ.

Принесли неимовѣрнѣйшей грязи куртку, шаровары и колоссальные сапоги, должно быть, изъ мамонтовой кожи: они не сгибались въ ступнѣ.

Мы переодѣлись. Намъ подали по стеариновой свѣчкѣ. Это напомнило, что больше мы не увидимъ дневного свѣта, и легкая не то тревога, не то ожиданіе чего-то шевельнулось въ душѣ.

Къ намъ подошелъ старшій рабочій, гигантъ съ добродушно-угрюмыми чертами сѣраго, точно чугуннаго лица, на которомъ, рѣзко выдѣляясь, ворочались бѣлки глазъ. Онъ былъ черенъ, какъ эѳіопъ, проникающей угольной пылью.

— Пожалуйте, — проговорилъ онъ, обнажая, какъ кипень, бѣлые зубы, которые такъ же рѣзко, и даже непріятно-рѣзко выдѣлялись на его изсѣра-черномъ лицѣ.

Мы опять прошли къ шахтѣ. Клѣтка съ трескомъ и визгомъ только что подошла снизу. Изъ нея вышли двое рабочихъ и быстро и ловко выкатили изъ верхняго отдѣленія вагончикъ, до верху нагруженный углемъ.

— Ну, садитесь.

Мы секунду помялись, уступая другъ другу дорогу. Не то что ощущеніе страха, а какое-то тайное стремленіе не отдаваться первому, неизвѣстной, посторонней и невѣрной силѣ, безпокойно шевельнулось въ душѣ.

„Каждый день тысячи народу спускаются“,—мелькнуло у меня, и я влѣзъ въ клѣтку, сѣлъ на корточки, согнулся и съежился весь въ комокъ,—такъ она была мала и узка, напоминая собою тѣ клѣтки, въ которыхъ по ярмаркамъ развозятъ звѣрей содержатели кочующихъ звѣринцевъ. Ноги разъѣзжались въ скользкой черной грязи. Ощущеніе не то холода, не то сырости охватило все тѣло. Ко мнѣ влѣзъ мой товарищъ, а остальные размѣстились въ верхнемъ отдѣленіи. Зажгли свѣчи. Откуда-то сверху на шею капала холодная вода, непріятно пробираясь за воротникъ, и попадала въ пламя свѣчи, которая отъ этого шипѣла и трещала.

Возлѣ толпились рабочіе и служащіе.

— Господа, держитесь дальше отъ стѣнокъ,—крикнулъ кто-то, наклоняясь къ намъ.—Клѣтка съ боковъ не забрана, вплотную идетъ по срубу: захватитъ руку—вырветъ; прислонитесь спиной—изъ спины клокъ вынесетъ.

Перспектива была не изъ пріятныхъ, и я, и мой пріятель изо всѣхъ силъ стали подбирать руки, ноги и спину, стараясь все это помѣстить посерединѣ, подальше отъ проклятыхъ стѣнокъ.

— Наверху скобки есть, за нихъ держитесь.

Мы пошарили и уцѣпились за скобки.

— Ну, готово!

Я видѣлъ, какъ рабочій, быстро наклонившись, опять два раза качнулъ длинный стержень. Снова гдѣ-то со звономъ ударило въ мѣдную доску, машинистъ въ другомъ отдѣленіи пустилъ машину, насъ встряхнуло и противъ всякаго ожиданія стало подымать вверхъ. Но

клѣтка сейчасъ же остановилась, на секунду повисла, вызывая тягостное сознаніе уходившей подъ нами темной глубины, и вдругъ ринулась внизъ безъ толчковъ и сотрясеній; люди, балки, окна, трубы, длинный стержень, красный отблескъ отсвѣчивавшихъ на мокромъ полу лампочекъ,—все мгновенно, точно подхваченное страшною силой, понеслось вверхъ и моментально скрылось въ густо наступившей темнотѣ.

Въ ушахъ появилось странное ощущеніе, точно воздухъ изнутри съ силой распиралъ барабанныя перепонки. Мнѣ чудилось, что я оглохъ, но я отчетливо различалъ всѣ звуки. Первое время я чувствовалъ по легкимъ толчкамъ и по тому, какъ изъ-подъ ногъ словно уходили доски, что мы быстро двигаемся внизъ, но вдругъ ощущеніе движенія пропало, и въ слѣдующее мгновеніе мнѣ уже почудилось, что мы несемся вверхъ.

— Что это?

— Это такъ кажется.

Но ощущеніе движенія вверхъ все продолжалось. Я осторожно повернулся и поглядѣлъ на стѣны сруба; онѣ со страшною быстротой бѣжали вверхъ, сливаясь желтою полосой и сверкая на пламени свѣчи тонкими ручейками бѣжавшей по ней воды, и истинное впечатлѣніе движенія сейчасъ же вернулось. Я все съ напряженіемъ старался удержать свои руки и ноги и спину, чтобъ онѣ не притронулись какъ-нибудь къ этимъ грозно-убѣгавшимъ стѣнкамъ. Мой товарищъ, вѣроятно, испытывалъ то же и мы жались другъ къ другу.

Вдругъ насъ толкнуло, наша клѣтка ударилась обо что-то и остановилась. Красноватые дымные огни среди густой тьмы мрачно горѣли, точно факелы въ глухую полночь. Темные силуэты людей вырисовывались смутно и неопредѣленно. Клѣтка опустилась въ глубь на шестьдесятъ саженей.

II.

Мы торопливо вышли, съ облегченіемъ ощущая подъ ногами твердую почву. Тяжелый мракъ висѣлъ кругомъ. Нельзя было разсмотрѣть окружающей обстановки: всѣ предметы тонули въ непроницаемой мглѣ. Сводовъ рудника не было видно. Красные огни лампъ, дымя и колеблясь, съ трудомъ боролись съ густымъ мракомъ, не будучи въ состояніи отодвинуть его и лишь освѣщая небольшой кружокъ. Люди сразу выростали изъ темноты и также сразу пропадали, лишь только дѣлали нѣсколько шаговъ въ сторону.

Издали послышался характерный гулъ бѣжавшаго по рельсамъ вагончика. Онъ все приближался; стали слышны мѣрные удары копытъ трусившей рысцой лошади, но въ кромѣшной тьмѣ никого не было видно. И только когда по звуку казалось, что вагончикъ накатывается совсѣмъ уже на насъ, передъ самымъ лицомъ выставилась лошадиная морда, потомъ спина, крупъ и бѣжавшій за ней желѣзный ящикъ на колесахъ. Съ него соскочилъ рабочій и сталъ торопливо въ темнотѣ отстегивать постромки. Стоявшіе возлѣ нѣсколько человѣкъ подхватили вагончикъ и дружно вкатили въ клѣтку.

То тамъ, то здѣсь стали обозначаться, въ темнотѣ, красноватыя точки. Онѣ понемногу увеличивались, разростаясь вблизи въ неровное, колебавшееся пламя лампочекъ, отъ котораго чернымъ клубомъ бѣжалъ удушливый дымъ. Это рабочіе шли къ подъему.

Рабочій наскоро составлялъ поѣздъ изъ пустыхъ вагончиковъ, который долженъ былъ пойти за углемъ. Люди торопливо усганавливали по рельсамъ вагончики, представлявшіе собой длинные желѣзные ящики на колесахъ, и впрягали лошадь.

Я подошелъ къ стѣнамъ и, поднявъ высоко свѣчу, сталъ ихъ разсматривать. Онѣ были черны, и вода сочилась изъ нихъ, какъ изъ губки. Я дотронулся рукой—на пальцахъ остался черный слѣдъ сажи. Мнѣ вообразилось, что это и есть каменный уголь.

— Это каменный уголь?—обратился я къ провожатому.

— Нѣтъ, это пустая порода, обыкновенный камень. Здѣсь на нѣсколько верстъ кругомъ нѣтъ угля, выработанъ. А это сажа оттого, что лампочки коптятъ, такъ копоть и садится. До выработки версты три будетъ съ лишнимъ. Да вотъ садитесь, сейчасъ и тронемся.

Мы съ пріятелемъ забрались въ одинъ изъ вагончиковъ. Въ немъ было, какъ и вездѣ кругомъ, сыро, грязно, скользко. Липкая черная грязь покрывала дно и стѣнки, липла къ одеждѣ и ѣдко проникала кожу рукъ и лица. Вдоль всего поѣзда поверхъ вагончиковъ лежала цѣпь, которой они скрѣплялись. Мой товарищъ было взгромоздился на нее—не хотѣлось сидѣть въ грязи и въ водѣ.

— Нѣтъ, вы слѣзьте оттуда, — проговорилъ, подходя, рабочій, — и пригибаться надо, а то есть мѣста, гдѣ сводъ къ самому вагончику спущается, такъ ушибить можетъ, а то вовсе голову на сторону сшибетъ.

Пріятель торопливо слѣзъ и усѣлся на дно.

— Трога-ой!

Слышно было, какъ застучала по мокрому камню, скользя и упираясь, лошадь. Цѣпь натянулась, съ визгомъ пошла поверхъ вагона сначала въ одну сторону и больно ударила меня въ бокъ, потомъ въ другую и угостила товарища; мы ухватились за нее руками; при всемъ напряженіи не было силъ удержать ее, и при каждомъ поворотѣ она, скользя и повизгивая, угощала по очереди то одного, то другого; мой пріятель крякхтѣлъ и ворочался, приспособляясь къ положенію, а я напрягался, чтобъ смягчить ударъ. Вагончики, торо-

пливо покачиваясь и толкаясь, послушно и гулко бѣжали другъ за другомъ.

Поѣздъ состоялъ всего изъ трехъ вагончиковъ, но намъ не было видно впереди ни лошади, ни другихъ вагоновъ, ни рабочаго,—непроницаемый мракъ тѣсно обступалъ со всѣхъ сторонъ и, казалось, бѣжалъ вмѣстѣ съ нами.

Это было странное путешествіе. Мы сидѣли съ товарищемъ вдвоемъ, совершенно отдѣленные отъ остальныхъ мракомъ, точно въ отдѣльномъ купэ. Ни стѣнъ, ни свода не было видно. Слышался только однообразный гулъ колесъ, мѣрный стукъ копытъ, да цѣпь на поворотахъ любезно давала о себѣ знать. Приготовляясь спуститься въ шахту, я рисовалъ себѣ что-то необычайное, фантастическое, поражающее, но собственно до сихъ поръ ничто не произвело такого впечатлѣнія. Грязь, сырость, вода, рельсы, желѣзные ящики на колесахъ, лошади, лампы, рабочіе,—все это пока было обыкновенно и просто.

Что дѣйствительно клало свой особенный отпечатокъ здѣсь на все, рѣзко отличало окружающую обстановку отъ той, что была на поверхности, это тяжелый, непроницаемый мракъ; онъ неотступно тѣснилъ со всѣхъ сторонъ, давилъ своею неподвижностью, таинственнымъ и какъ будто угрожающимъ безмолвіемъ, постоянно заставляя ожидать, что вотъ немного дальше за этимъ выступомъ, за этимъ поворотомъ, какъ только освѣтитъ поярче лампа, и откроется что-то особенное, и тогда-то и увидишь то фантастическое, поражающее и даже ужасное, что смутно ждалось *тамъ*, наверху. Но вагончики все такъ же, спѣша и покачиваясь и набѣгая другъ на друга, монотонно катились, и все такъ же неловко было сидѣть, и впереди мѣрно отдавались глухіе удары лошадиныхъ копытъ, и все такъ же всѣ впечатлѣнія окружающаго слагались въ одно ощущеніе сырости, грязи и темноты.

Сколько времени мы ѣхали и какое разстояніе проѣхали, нельзя было сказать. Ощущеніе времени, пространства и направленія пропало. Казалось, мы съ гуломъ, шумомъ, трескомъ толклись въ этомъ неподвижномъ мракѣ на одномъ мѣстѣ. У меня совершенно отнялась способность оріентироваться.

Порою только, когда изъ темноты выставлялся конецъ лопнувшей балки, или разсѣянное тягой пламя лампочки вспыхивало ярче, и тяжелые массивные своды показывались надъ самой головой, медленно отходя назадъ, становилось очевиднымъ, что мы ѣдемъ впередъ.

— Поостерегитесь! — послышался впереди голосъ, глухой, сдавленный этими нависшими громадами.

Мы съежились. Пламя свѣчи у меня вытянулось, на секунду раздвинувъ озаренный кружокъ, и мы увидѣли мелькавшія надъ нашими головами ребра и выступы спустившагося къ самымъ вагончикамъ свода. Подними голову только на полдюйма, и черепа какъ не бывало. Мы это ежесекундно помнили и старались сколько возможно глубже сѣсть въ вагончикъ и напряженно подгибали голову.

Съ нашимъ поѣздомъ стало дѣлаться что-то особенное. Насъ страшно качало, бросало въ стороны, вагончики, гремя желѣзомъ, сталкивались, цѣпь сразу ослабѣвала, и они почти останавливались, потомъ мгновенно натягивалась, и вагоны летѣли другъ за другомъ, сломя голову. Мы, очевидно, попали въ какія-то особенныя условія, но я при всемъ напряженіи ничего не могъ разобрать въ темнотѣ и только послѣ узналъ что въ этомъ узкомъ и длинномъ проходѣ дорога пошла подъ большимъ уклономъ, да и путь былъ здѣсь дурно и неправильно уложенъ.

Особенно страшно было на поворотахъ. Среди гула и грома вдругъ выступаетъ изъ темноты изрытая, неровная, темная масса, слабо играя влагой на колеблю-

щемся отблескѣ почти потухающей свѣчи. Впереди по звуку слышно, какъ вагончики бросились куда-то влѣво, а нашъ, звеня ослабленною цѣпью, несется прямо на неподвижную, тяжко придавленную сводомъ громаду, еще мгновеніе... но тутъ цѣпь натягивается, какъ струна, съ визгомъ и скрежетомъ срываетъ насъ въ сторону, на другой путь, вагончикъ бокомъ чертитъ о камни, и мы ныряемъ въ какую-то темную, сырую дыру. Лопни цѣпь или сойди вагонъ съ рельсовъ, мы бы разбились вдребезги. Я одною рукой держался за край стѣнки, но послѣ перваго же такого казуса отнялъ руку: можетъ раздробить кисть.

Впереди все время слышны мѣрные удары копытъ,— лошадь бѣжитъ небольшою рысцой, но отъ толчковъ, стука, желѣзнаго грохота и раскачиваній намъ теперь кажется, что мы несемся въ этой кромѣшной темнотѣ со скоростью курьерскаго поѣзда.

— Ѣхать ничего себѣ,—говоритъ мой товарищъ,— только скоро ли мы доѣдемъ?

— Должно быть... ахъ, чортъ...

Говорить опасно, того и гляди на толчкѣ откусишь языкъ.

Отъ напряженія и усилій оборониться отъ проклятой цѣпи начинаетъ сказываться утомленіе. Да и вниманіе постоянно раздваивается: караулишь цѣпь, которая упрямо ходитъ по всему вагону, а съ другой стороны, постоянно помнишь, что, чуть поднимешь голову, ее моментально размозжитъ о выступы свода, и это утомляетъ.

Я давно уже чувствовалъ непріятное, зудящее ощущеніе въ правой ногѣ, на которой сидѣлъ, точно за кожу насыпали горячаго песку. Очевидно, я отсидѣлъ ногу. Но привстать и размяться не было никакой возможности.

III.

Я уже приготовился долго сидѣть въ такомъ положеніи, какъ наши вагончики, громыхая желѣзомъ и наталкиваясь одинъ на другого, остановились.

Впереди замелькалъ красноватый огонь лампочки.

— Что такое?

Хотя мы и были увѣрены въ безопасности, но нѣкоторая напряженность и ожиданіе случайности постоянно таились въ глубинѣ души,—вдругъ обвалъ или вода прорвется, или сводъ осядетъ.

— Разъѣздъ,—спокойно говоритъ рабочій, приближаясь своею огромною фигурой и держа на длинной проволокѣ лампочку, которая дымитъ надъ самою землей,—поѣздъ съ углемъ пойдетъ навстрѣчу.

Мы выходимъ, съ наслажденіемъ расправляя окоченѣлые члены.

— Далеко онъ еще?

— Не слыхать.

— А ѣхать намъ много?

— Да полпути сдѣлали. Теперича немного проѣдемъ, а тамъ пѣшкомъ по діагональному ходу придется идти.

Стали дожидаться. Кругомъ все та же сумрачная, молчаливая мгла. Возлѣ, слабо выдѣляясь изъ темноты, неподвижно стоитъ лошадь, понуро опустивъ голову и не шевеля ни однимъ мускуломъ.

Керосинъ въ лампочкѣ, раздуваемый тягой, сильно горитъ; красное пламя съ легкимъ гудѣніемъ тянется съ фитиля длинными языками и, свиваясь чернымъ клубомъ, проворно бѣжитъ густой дымъ, сейчасъ же расплываясь въ окружающей темнотѣ. Неровный отблескъ дрожитъ и колеблется небольшимъ кружкомъ. Онъ то ослабѣваетъ, то судорожнымъ усиліемъ ото-

двигаетъ на секунду мракъ, и тогда такъ же сурово-загадочно выступаетъ темный, влажный сводъ, и вмѣстѣ грозно выступаетъ неодолимая, замыкающая насъ, мертвая сила, а въ слѣдующее мгновеніе кругомъ опять безраздѣльно царитъ мракъ, тая неизвѣстность, и тщетно бьется, трепетно вздрагивая, красноватый невѣрный отсвѣтъ.

Необычайная обстановка, постоянно удручающее сознаніе нависнувшихъ надъ головою массъ, отрѣзанность отъ остального міра, утомленіе и неясное ожиданіе чего-то угнетающе дѣйствуетъ на сознаніе, и въ голову ничего не идетъ, и не находишь, и не знаешь, о чемъ говорить.

Мы стоимъ около вагончиковъ въ молчаливомъ ожиданіи. Я невольно прислушиваюсь, пристально глядя въ темноту. Могильная, зловѣщая тишина поражаетъ ухо. И эта неподвижная тишина и мракъ вмѣстѣ съ печальнымъ силуэтомъ поникшей головой лошади сливаются въ одно тяжелое, щемящее впечатлѣніе чего-то безотраднаго, мертваго, какъ будто близкаго къ отчаянію. Время тянется уныло-медленно; не знаешь, проходятъ ли минуты, или часы.

Я чувствую, какъ сырость проникаетъ до костей. Отсырѣвшая фланель моей блузы тяжелѣетъ и виснетъ по тѣлу. Атмосфера совершенно насыщена паромъ. Да и не мудрено: вода сочится со стѣнъ, со свода, капаетъ и бѣжитъ тонкими ручейками, какъ изъ разсохшейся бочки, и ее день и ночь откачиваютъ. Влажность такъ велика, что потъ не испаряется, и оттого такъ тяжело работать и дышать.

Я теперь только замѣчаю, что мракъ при огнѣ не кажется совершенно чернымъ, а отливаетъ сизо-синеватымъ оттѣнкомъ. Это дымъ. Онъ виситъ во всѣхъ проходахъ тяжелою, ѣдкою, удушливою пеленой, лѣзетъ въ носъ, ротъ, дыхательное горло, садится на слизистыя оболочки, проникаетъ въ легкія. Когда, уже под-

нявшись наверхъ, я сталъ откашливаться, на полу обозначилась черными пятнами насквозь пропитанная гарью мокрота, какъ это иногда бываетъ, когда сильно коптитъ лампа въ запертой комнатѣ и долго сидишь въ такой атмосферѣ. И это несмотря на то, что въ шахтѣ поставлены очень сильные вентиляторы; ихъ тяга постоянно чувствуется въ воздухѣ, особенно въ узкихъ проходахъ. Надо замѣтить, что шахта, въ которую мы спускаемся, одна изъ самыхъ благоустроенныхъ. Тяжело дышать и работать въ такомъ воздухѣ.

— Что-то не слыхать,—говоритъ рабочій.

Мнѣ не видно выраженія его лица, но мнѣ кажется, онъ хочетъ сказать, что что-то неладно, и его слова пріобрѣтаютъ вдругъ тревожное значеніе. „Можетъ быть, несчастье... обвалъ... человѣкъ убитъ, и теперь лежитъ тамъ“.

Густая тьма все такъ же напряженно-молчаливо стоитъ вокругъ, таинственно скрывая все, что совершается впереди. Ожиданіе становится томительнымъ. Я дѣлаю нѣсколько шаговъ. Рельсы слабо посвѣчиваютъ подъ ногами. Мысль, что насъ засыплетъ или прорвется вода, становится все болѣе и болѣе вѣроятной.

— А что, тутъ съ рабочими часто несчастія случаются?

— Да, почитай, недѣли не пройдетъ, кого-нибудь либо придавитъ, либо убьетъ, али водой захлестнетъ.

— Какъ давно послѣднее было?

— Да недюже давно. Съ недѣли полторы, либо двѣ, чтобы не соврать, одному черепъ расшибло.

— Какъ же это?

— Да вагончики гналъ груженые. Извѣстно, человѣкъ истомится, все одно, все одно и то же, кругомъ темь, лошадь впереди трюхъ-трюхъ, трюхъ-трюхъ, ѣхать долго, лежитъ онъ на пузѣ на углю, цѣпь это подъ нимъ, тоже безпокоитъ и все надо помнить, голову, какъ ни мога, больще нагинать,—ну, не поостерегся,

тьма, не видать, и вдарился на всемъ ходу, свалился съ вагончика, а другой угломъ ему въ голову, черепъ и разбился. Лошадь ушла, а онъ лежитъ. Какъ разъ идутъ рабочіе, смотрятъ, человѣкъ будто маячитъ, подходятъ, а это онъ. Взяли, отнесли къ шахтѣ, въ клѣтку и наверхъ.

— Что же, умеръ?

— Какъ же, голова разсѣлась, мозги вытекли.

Рабочій крючкомъ, который виситъ у него на поясѣ, начинаетъ вытаскивать фитиль въ своей лампѣ и расковыриваетъ его. Пламя трещитъ и разгорается сильнѣе. На землю падаетъ керосинъ огненными горящими струйками.

Я хожу возлѣ вагончиковъ. Человѣкъ съ разбитымъ черепомъ все мерещится въ темнотѣ.

— Можетъ быть, мы напрасно и дожидаемся?

— Никакъ идетъ,—говоритъ рабочій въ ту минуту, когда я уже меньше всего ожидаю, подымаясь и выростая своею мощною фигурой.

У меня точно камень сваливается. Я напряженно вслушиваюсь—ни одинъ звукъ не нарушаетъ могильной тишины; но теперь эта неподвижность уже не пугаетъ,—я знаю, впереди живое существо.

Только немного погодя изъ мрака доходятъ слабые звуки бѣгущихъ вагончиковъ. Ближе и ближе. Наша лошадь настораживаетъ уши. Я отхожу къ сторонкѣ. Вмѣстѣ съ чувствомъ облегченія кругомъ становится какъ бы просторнѣе и виднѣе. То, что давило за минуту угрозой и таинственностью невидимой силы, куда-то отступаетъ. Вагончики, погромыхивая, бѣгутъ уже совсѣмъ близко, и изъ-за ихъ монотоннаго гула явственно слышатся мѣрные удары подковъ, но никого не видно.

Я подымаю свѣчу. Изъ темноты, совсѣмъ возлѣ, показывается лошадь. Меня обдаетъ теплотой живого тѣла. Лошадь труситъ неуклюже и тяжело, мѣрно и

въ тактъ ударамъ копытъ, потряхивая головой и шеей.

„Мнѣ все равно... даже и въ этомъ непроглядномъ мракѣ надо безъ устали работать“—какъ будто говорятъ ея печальные, давно не видавшіе дневного свѣта глаза, заложенное назадъ ухо и вся кроткая, безотвѣтная фигура гнѣдой масти. Слѣдомъ одинъ за другимъ выкатываются изъ темноты вагончики и сейчасъ же вслѣдъ за лошадью опять погружаются во мракъ. На одномъ изъ нихъ, доверху наполненномъ углемъ, на животѣ лежитъ рабочій. Онъ черенъ и съ любопытствомъ поводитъ на насъ бѣлками, повидимому, безконечно далекій отъ волновавшихъ меня опасеній. Въ послѣдній моментъ я видѣлъ только, какъ онъ, лежа на животѣ, пристально провожалъ насъ глазами, и надъ вагончиками виднѣлась его приподнятая голова, а въ слѣдующе мгновеніе все потонуло въ черной мглѣ.

Мы остаемся опять одни.

Рабочій возится что-то у лошади. Гулъ уходящихъ вагончиковъ слабѣетъ все больше и больше и, по мѣрѣ того, какъ замираютъ послѣдніе звуки, мракъ угрюмо и враждебно опять надвигается со всѣхъ сторонъ, и въ сердце проникаетъ прежнее ощущеніе холода, одиночества, отрѣзанности и постоянно давящей неотвратимой мертвой силы. Узкій, колеблющійся кружокъ, гдѣ мы находимся снова, вздрагивая, съ усиліемъ борется противъ надвигающейся на него синеватой мглы.

Мы садимся, проѣзжаемъ саженей сорокъ-пятьдесятъ и опять выходимъ. Тутъ ходъ упирается въ стѣну и дорога развѣтвляется направо и налѣво.

IV.

Нашъ поѣздъ съ однимъ изъ рабочихъ, погромыхивая и постепенно замолкая во мракѣ, уходитъ направо. Я приготовляюсь идти по лѣвому проходу.

— Нѣтъ, намъ не туда,—говоритъ старшій рабочій, дѣлаетъ нѣсколько шаговъ въ сторону и, приподнявъ, посвѣчиваетъ своею лампочкой.

Въ стѣнѣ обнаруживается, неподвижно чернѣя, узкая въ полчеловѣческаго роста дыра. Тяжелая синяя мгла, увлекаемая тягой, медленно стекаетъ въ нее, и дымное пламя лампочки, послушно изогнувшись, торопливо бѣжитъ туда густыми, черными клубами дыма.

— Вы нагинайтесь, пожалуйста, нагинайтесь, какъ ни мога больше нагинайтесь,—говоритъ рабочій, стараясь придать возможно больше убѣдительности интонаціи и голосу,—это теперича по діагональному ходу намъ идти, а тамъ и работы скоро.

И, согнувшись почти вдвое всею своею громадною фигурой, онъ шагнулъ въ эту мрачную дыру и быстро пошелъ, слабо посвѣчивая изъ-за себя лампочкой.

Я тоже согнулся и послѣдовалъ за нимъ, низко опустивъ свѣчу. Внизу блеснула вода. Ноги съ усиліемъ и судорожнымъ напряженіемъ ступали по изрытому неровному дну, ежесекундно обрываясь и скользя по острымъ камнямъ и ребрамъ выбитой каменной породы и съ шумомъ разбрызгивая холодную воду, которая непріятно обдавала все лицо. Колѣни мои приходились почти въ уровень подбородка, и я шелъ, наклонившись впередъ всѣмъ тѣломъ, спотыкаясь и поминутно теряя равновѣсіе, и тяжело дышалъ отъ напряженныхъ усилій не убиться и непривычнаго согнутаго положенія. Ноги принимали до того неестественное положеніе, что ступня совершенно выворачивалась, и

я шелъ не на подошвѣ, а на боку сапога и каждую минуту ждалъ, что выверну себѣ сочлененіе или растяну связки.

Всѣ опасности, обвалы, наводненія, впечатлѣнія пройденнаго пути и ожиданіе чего-то новаго,—все было вытѣснено изъ сознанія мучительнымъ физическимъ напряженіемъ.

Я совершенно позабылъ о своемъ товарищѣ, который шелъ позади и, вѣроятно, точно также бился въ этой проклятой дырѣ, и лишь поспѣвалъ за рабочимъ, который проворно уходилъ все дальше и дальше.

Наше путешествіе въ вагончикѣ съ цѣпью казалось теперь верхомъ комфорта. „Боже мой, видно, отсюда ужъ и не выбраться!"—съ отчаяніемъ мелькало у меня, и я продолжалъ механически переставлять ноги, скользя и поминутно хватаясь за влажныя скользкія стѣны, отъ которыхъ пробѣгали по всему тѣлу холодъ и судорожная дрожь. Низко опущенная голова все больше тяжелѣла, наливаясь кровью, и поясницу невыносимо ломило.

Неодолимое желаніе хоть на секунду разогнуться, расправить смятыя, сдавленныя легкія неотступно преслѣдовало, но не хотѣлось просить остановиться, и я напрягалъ всѣ силы, чтобы не отстать отъ рабочаго, который, какъ ни въ чемъ не бывало, торопливо шелъ, и его огромная спина низко проходила подъ самымъ сводомъ, а изъ-за темной фигуры слабо отсвѣчивалъ отблескъ лампочки.

— А-а!.. Чортъ!..

Я присѣлъ. Кто-то съ силой чѣмъ-то тупымъ и тяжелымъ ударилъ меня по головѣ. Отъ неожиданности я судорожно закрылъ глаза и милліоны синихъ искръ посыпались въ темнотѣ, моментально потухая, и въ то же мгновеніе заныла невыносимая сверлящая боль, выжимая слезы, точно у меня ворочались въ мозгу. Шапка вдругъ сдѣлалась тѣсной и стала неловко сидѣть на головѣ.

— Ахъ, ты, Господи, нагинаться надо!—участливо и съ безпокойствомъ проговорилъ рабочій, присаживаясь возлѣ на корточки.—Больно зашиблись?

— Что, больно?—осторожно подходя и низко сгибая спину, спросилъ пріятель.

Мнѣ было и смѣшно, и совѣстно, и безсильная злоба душила, такъ бы и избилъ кого-нибудь, но виноватаго не было.

— Длинный этотъ проходъ?—спросилъ я, желая перемѣнить разговоръ и чувствуя, какъ все больше вздувается шишка.

— Триста саженей. Теперь скоро.

— Ну,—пойдемте,—проговорилъ я такъ, какъ будто они были виноваты въ чемъ-то.

Мы опять согнулись и пошли гуськомъ. Сильная боль заглушила на время острое ощущеніе усталости, и я продолжалъ съ равнодушіемъ отчаянія болтаться въ водѣ, спотыкаясь и рискуя ежеминутно убиться, ударившись о выступъ стѣны.

Гдѣ мы были, много ли осталось, сколько прошли, какіе повороты дѣлали, былъ ли теперь день или ночь,—я ничего не зналъ. Все тѣ же каменныя мертвыя громады, совсѣмъ нависшія и узко сдвинувшіяся,—до того узко, что все время я бился колѣнями съ той и другой стороны. Ничто не мѣнялось вокругъ, и даже мракъ, казалось, съ трудомъ пробирался за нами, потому что слабый, мерцающій огонь свѣчи справа и слѣва у самаго лица освѣщалъ влажный нависшій камень.

Какъ ни увѣренъ я былъ, что вѣроятность быть здѣсь задавленнымъ, убитымъ или залитымъ водой слишкомъ ничтожна, все же въ глубинѣ души, какъ натянутая струна, независимо отъ воли постоянно таилось ощущеніе какой-то напряженности, которая постоянно заставляла меня смотрѣть за рабочимъ. Случись съ нимъ что-нибудь, потухни лампа, уйди онъ отъ насъ

случайно въ какой-нибудь проходъ, и отчаяніе сразу охватило бы насъ.

Но онъ такъ же спокойно и быстро пробирался своею огромною тушей между надвинувшихся каменныхъ пластовъ. Камень уступалъ дорогу человѣку, и я съ увѣренностью и надеждой глядѣлъ на его широкую и согнутую спину.

Мой товарищъ тоже нѣсколько разъ охалъ, присѣдалъ и начиналъ ругаться; я спрашивалъ, больно ли онъ ушибся, и чувствовалъ нѣкоторое удовлетвореніе за ноющую тупую боль въ головѣ, и потомъ, изукрашенные шишками, мы опять шли дальше. Наученный горькимъ опытомъ, я пригибался даже больше, чѣмъ слѣдовало: колѣни то и дѣло стукались о подбородокъ.

Сколько времени мы шли, я не знаю. Боль въ поясницѣ, напряженіе, усталость достигли того предѣла, когда становится ужъ все равно и думаешь: „Ну, еще, еще,—ну, пусть такъ, пусть еще!..“

Однако, всему бываетъ конецъ. Шедшій впереди рабочій внезапно исчезъ во мракѣ. Я испугался и, напрягая послѣднія силы, торопливо выбрался изъ прохода.

За поворотомъ блеснула лампочка рабочаго. Онъ стоялъ во весь ростъ и дожидался насъ. Я выпрямился и всею грудью вдохнулъ кислый, пропитанный гарью воздухъ.

Подошелъ и товарищъ. Мы постояли съ минуту. Мракъ опять надвинулся со всѣхъ сторонъ; свода не было видно. Подъ ногами ощущались рельсы. Я сталъ различать тупые, далекіе удары, глухо и подавленно доносившіеся откуда-то изъ глубины этого мрака, и представленіе чего-то особеннаго и важнаго невольно пріурочивалось къ тому мѣсту, откуда они выходили.

— Посторонитесь, пожалуйста,—проговорилъ рабочій, поднимая лампу.

Мы прижались къ мокрой, скользкой, холодной стѣ-

нѣ; мимо, на минуту освѣщенный лампочкой, прокатился вагончикъ, доверху нагруженный углемъ. Рабочій, скользя и упираясь ногами и хрипло дыша, съ низко опущенною головой, катилъ его, толкая сзади. Это въ ручную перевозили уголь до того пункта, откуда онъ уже шелъ лошадиною тягой.

Мы пошли дальше. Удары во что-то вязкое, странный глухой шорохъ и смутный шумъ доносились во мракѣ все явственнѣе. Нашъ провожатый торопился, какъ будто чувствуя вину, что мы такъ долго и неудобно шли. Мы торопливо спотыкались за нимъ, лишь стараясь не отстать и испытывая напряженное и нѣсколько даже тревожное ожиданіе.

Галлерея опять дошла до глухой стѣны и влѣво снова открылся узкій и низкій ходъ. Рабочій, согнувшись и низко опустивъ лампу, пролѣзъ туда. Мы послѣдовали за нимъ.

V.

Сквозь густую мглу впереди въ десяткѣ саженей мелькнули красноватые огни лампъ. Удары и характерный осыпающійся шорохъ теперь явственно неслись оттуда.

Сводъ понижался все больше и больше; рабочій опустился, наконецъ, на колѣни и полѣзъ на четверенькахъ; мы сдѣлали то же и черезъ минуту очутились среди странной, невиданной дотолѣ обстановки. Узкій проходъ раздался, уходя въ обѣ стороны въ темноту, а сверху, на разстояніи всего полутора аршинъ, ровно и гладко тянулась пустая порода. Короткія стойки, плотно упираясь рядами въ верхній и нижній пласты, странно бѣлѣли древесиной среди этой непривычной обстановки, поддерживая огромную, давившую ихъ тяжесть въ милліоны пудовъ. Здѣсь даже согнувшись нельзя было ходить и только можно было передви-

гаться ползкомъ. Это было мѣсто выработки угля. Со всѣхъ сторонъ, дымя среди тяжелой, густой мглы, слабо и какъ будто съ усиліемъ горѣли лампы, и сквозь дымъ тамъ и сямъ смутно виднѣлись скорчившіяся фигуры молча работавшихъ или пробиравшихся на четверенькахъ между стойками рабочихъ. Воздухъ, пропитанный гарью, дымомъ и испареніями человѣческихъ тѣлъ, былъ сладковато-приторенъ и сильно нагрѣтъ. Шумъ врубающихся топоровъ, осыпающійся шорохъ угля, учащенное, прерывистое дыханіе работающихъ людей, наполняли это глухое подземелье.

Я проползъ дальше между стоящими по пути подпорками. Металлическій изломъ антрацита при слабомъ меркнущемъ пламени лампъ бросался въ глаза. Мощный пластъ его, въ полтора аршина толщины, залегалъ здѣсь, зажатый сверху и снизу между каменными породами, и его оттуда надо было добывать. И я невольно съ какимъ-то смѣшаннымъ чувствомъ удивленія и почти страха глядѣлъ на эту поблескивавшую на лампахъ мертвую поверхность уплотненной массы, требовавшей отъ людей такихъ усилій, напряженія и риска. Ощущеніе висѣвшей надъ головой тяжести давило. Достаточно было малѣйшаго сдвига почвы, сотрясенія, просачиванія воды или встрѣчи мягкаго грунта, чтобы вся эта страшная масса, раздробивъ въ щепы подпорки, опустилась до самаго пола.

Вязкій глухой ударъ раздался возлѣ меня, и въ то же мгновеніе черная туча осколковъ угля обдала мнѣ лицо, больно просѣкая кожу. Я отшатнулся въ сторону. Шагахъ въ трехъ отъ меня рабочій врубался въ каменноугольную массу, отдѣляя ее отъ пола. Онъ лежалъ на лѣвомъ боку и частью на спинѣ и, держась обѣими руками за длинную рукоять особеннаго удлиненнаго топора, съ усиліемъ взмахивалъ имъ надъ самымъ поломъ, болѣзненно содрагаясь всѣмъ тѣломъ отъ крайне неловкаго положенія и усилій попадать въ

одно и то же мѣсто; голова тянулась за ударами и ноги судорожно подергивались, шурша по мокрому полу мелкимъ углемъ. И каждый разъ, какъ кайло глубоко и съ силой врубалось снизу въ узкую расщелину, отдѣляя угольный пластъ отъ каменнаго пола, брызги осколковъ съ шумомъ вырывались оттуда, съ ногъ до головы обдавая забойщика. И онъ въ тактъ каждому взмаху напряженно и торопливо отворачивалъ голову, крѣпко зажмуривая глаза. Я слышалъ его подавленное дыханіе и тоже зажмуривалъ глаза и пряталъ лицо за столбикъ каждый разъ, какъ топоръ съ размаху уходилъ совсѣмъ съ рукоятью въ расщелину.

А кругомъ неслись такіе же глухіе удары кайлъ, смутно копошились неясныя фигуры рабочихъ, съ усиліемъ горѣли лампы и, покрывая все это, такъ же неподвижно-безжизненно стояла сладковатая, густо-синѣвшая мгла. Мнѣ становилось трудно дышать. Въ вискахъ стучало, передъ глазами все слегка шло кругомъ, а во рту усиливалось приторное, вызывавшее тошноту ощущеніе. Теперь уже хотѣлось выбраться отсюда поскорѣе, но ни сопровождавшаго рабочаго, ни пріятеля не было,—они проползли куда-то дальше. Мнѣ не видно было концовъ лавки*); она тянулась въ обѣ стороны саженей на тридцать. То мѣсто, гдѣ я могъ пробираться только на четверенькахъ, когда-то было заполнено углемъ, рабочіе его выбрали и поставили коротенькіе столбики, поддерживавшіе верхній пластъ пустой породы, оставшійся на вѣсу.

Рабочій, врубавшійся возлѣ меня, вывелъ снизу длинную щель. Онъ сѣлъ, подогнувъ голову, и отеръ грязною рукою потъ. Я не могъ разглядѣть выраженія его лица, но мнѣ видно было, какъ облипала его тѣло насквозь смоченная потомъ и сочившеюся по полу водой рубаха. Онъ пододвинулъ къ себѣ лежавшіе возлѣ кучкой коротко нарѣзанные столбики и, вырубивъ по

*) Лавка—мѣсто выработки угля.

углубленію въ угольномъ пластѣ и въ полу, сталъ косо устанавливать подпорки, чтобы подрубленная снизу стѣнка угольнаго пласта не вывалилась до времени и не раздавила его. Черезъ минуту онъ опять уже лежалъ на боку и, дрыгая ногами и корчась, сталъ зарубать щель дальше.

На другомъ концѣ рабочіе на четверенькахъ таскали что-то къ выходу, но сквозь синѣвшую мглу я не могъ разглядѣть, какъ слѣдуетъ, что именно они дѣлали. Съ мѣста же не хотѣлось сдвинуться: мгла, сырость, грязь, пробиравшаяся за платье холодная вода и эта густая нагрѣтая атмосфера, отъ которой стучало въ вискахъ и затруднялось дыханіе, нагоняли странное оцѣпенѣніе и апатичное ожиданіе, когда я, наконецъ, отсюда выберусь.

— Митька!—послышалось возлѣ меня, и звукъ человѣческаго голоса сейчасъ же глухо замеръ.

— Иди, што-ль!

— Сейчасъ!—донеслось безъ отклика изъ густой мглы.

Зарубщикъ забралъ оставшіяся жердочки и кайло, отползъ отъ пласта и сѣлъ возлѣ меня, согнувшись всѣмъ своимъ длиннымъ туловищемъ. Онъ былъ худъ, съ узкою запавшею грудью и испитымъ лицомъ. Слой угольной грязи придавалъ его чертамъ неподвижность, и только глаза блестѣли лихорадочно и возбужденно. Мокрая, черная отъ угля рубаха и порты облипали его, еще болѣе выказывая худобу тѣла.

— Трудно же у васъ тутъ работать,—проговорилъ я, желая вызвать его на разговоръ.

Онъ ничего не отвѣчалъ и сидѣлъ, сумрачно глядя передъ собой.

— Митька! — позвалъ онъ опять, не обращая на меня никакого вниманія.—Что-жъ не починаешь?—и вдругъ прибавилъ раздраженно и злобно скверное ругательство.

Изъ мглы, цѣпляясь спиной за нависнувшій пото-

локъ, приползъ въ такой же черной и мокрой рубахѣ парень, сѣлъ возлѣ, скрючившись, и сталъ, ухая, вгонять тяжелымъ молотомъ желѣзные клинья между нависнувшимъ сверху потолкомъ и пластомъ угля, чтобъ отдѣлить послѣдній отъ породы.

— Да такъ, господинъ, работа наша...—проговорилъ вдругъ рабочій, обернувшись и глядя на меня съ раздраженіемъ,—кабы ежели шахтеры не ругались нехорошимъ словомъ, такъ святыми бы всѣ подѣлались, вотъ какъ иные прочіе схимники спасаются, молютъ Бога. Вотъ наша какая работа.

Въ его словахъ слышалось раздраженіе, точно я былъ въ чемъ-то виноватъ.

— Да вотъ поглядите, вотъ онъ теперича гонитъ клинья, вотъ не разсчитаетъ, рухнетъ пластъ, отъ него лишь мокро останется, да и насъ съ вами не помилуетъ.

Забойщикъ продолжалъ бить молотомъ. Глухо, точно предвѣщая что-то недоброе, отдавались удары, и толстые концы клиньевъ, уходя въ глубь, становились съ нашей стороны все короче, образуя сверху все болѣе и болѣе замѣтную расщелину. Томительное ожиданіе овладѣло мною. Я никакъ не могъ освободиться отъ гнетущаго впечатлѣнія, которое производила эта расходившаяся вверху темная щель.

Парень пересталъ бить; принялъ одну подпорку, другую... Что-то тяжело рухнухо.

— А, что, бываютъ...

Я не успѣлъ договорить: страшный трескъ и грохотъ потрясъ подземелье. Что-то тяжело и неуклюже перевернулось. Всѣ лампы разомъ дрогнули, на секунду ярко вытянувъ пламя. Все заколебалось и, казалось, каждое мгновеніе готово было рухнуть среди мглы. Я судорожно попятился къ проходу, поскользнулся и упалъ. Мимо съ шумомъ пролетѣли, переворачиваясь въ воздухѣ, двѣ выбитыя страшною силой подпорки. Что-то еще разъ ухнуло, каменный полъ

подъ ногами дрогнулъ, и все успокоилось. Только на томъ мѣстѣ, гдѣ передъ этимъ возился рабочій, зіяла темная, уходившая въ глубь пустота, и передъ ней неподвижною грудой лежалъ вывалившійся пластъ угля, въ нѣсколько сотъ пудовъ вѣсу.

Отбойщикъ, изгибаясь и неловко махая подъ низкимъ потолкомъ, раскалывалъ его на меньшіе куски.

— Иной разъ такъ-то вываливаютъ пластъ,—проговорилъ, выправляя фитиль въ своей лампѣ, все время спокойно остававшійся на мѣстѣ зарубщикъ,—верхній пластъ лопнетъ, осядетъ, подпорки въ щепки, лавку-то всю со всѣмъ народомъ и накроетъ. А испужались, баринъ?—добавилъ онъ уже добродушно и улыбнулся.

И странно было видѣть улыбку на этомъ суровомъ и неподвижномъ отъ грязи лицѣ.

— Мы народъ привычный, а и то иной разъ жуть беретъ.

Онъ забралъ подставки, кайло и лампу, проползъ дальше, легъ на бокъ и опять, болѣзненно корчась, сталъ зарубать щель.

А кругомъ было все то же: доносившіеся отовсюду глухіе удары, смутно копошившіяся фигуры, густая сладковатая атмосфера и синѣвшая повсюду мгла. Всѣ работали, храня угрюмое молчаніе,—ни пѣсенъ, ни говора. Эта мрачная вѣчная ночь вытравила у людей веселость, оживленіе, шутку, смѣхъ, пѣсни. Каждый, напрягаясь, рубитъ, раскалываетъ, загоняетъ клинья и таскаетъ куски угля, подавляя въ себѣ отвращеніе къ мертвому труду и тоску, и удручающую апатію, навѣваемую окружающей обстановкой. Одно только постоянное желаніе, не заглушаемое даже многолѣтнею привычкой, таится въ душѣ, сжимая сердце вѣчно сосущею тоской: додѣлать работу и выбраться наверхъ. Впрочемъ, и выбравшись наверхъ, рабочій не видитъ дневного свѣта: спускаются въ шахту до разсвѣта, а выходятъ, когда на землѣ уже ночь.

VI.

Къ отбойщику подползъ, таща за собой салазки, новый рабочій, и они вмѣстѣ, молча, стали нагружать огромные куски разбитаго пласта.

Тягальщикъ, надѣвъ лямку, поправилъ ее на груди, потомъ сталъ на четвереньки и, подогнувъ голову, изо всѣхъ силъ натянулъ веревку. Но трудно было сдвинуть придавленныя тяжелою грудой салазки. Руки и ноги скользили по мокрому полу. Онъ цѣплялся за всѣ неровности, пробуя ногой и ища точки опоры, дергая то въ ту, то въ другую сторону, какъ лошадь, которая не можетъ взять сразу нагруженный возъ. Раза два я видѣлъ, какъ разъѣхались у него руки и ноги въ полужидкой грязи, сочившейся на полу, и онъ ударился грудью о плитнякъ.

На него тяжело было смотрѣть,—это была агонія труда. Онъ бился, скользилъ и падалъ, какъ привязанный на цѣпи, и пядь за пядью бралъ разстояніе, и мертвая груда угля понемногу и незамѣтно приближалась къ выходу, гдѣ были проложены рельсы, и уголь перегружали въ вагончики.

Онъ добрался до подпорокъ возлѣ меня и, опрокинувшись на бокъ, сталъ въ нихъ упираться руками и ногами, точно съ отчаяніемъ отбивался отъ кого-то, и я слышалъ его порывистое, шумное дыханье и то особенное болѣзненное кряхтѣніе, похожее на стонъ, которое вырываютъ изъ груди чрезмѣрныя физическія усилія. Ременная лямка, прижимая взмокшую рубаху, обозначалась по тѣлу узкимъ и длиннымъ рубцомъ.

При невѣрномъ колеблющемся свѣтѣ лампы меня поразило выраженіе или, лучше, отсутствіе всякаго человѣческаго выраженія на его лицѣ. Что-то звѣриное, животное сквозило въ этихъ искаженныхъ чер-

тахъ, по которымъ ходила судорога нечеловѣческаго напряженія.

И я не въ состояніи былъ оторваться отъ него и, стиснувъ зубы, слѣдилъ за его движеніями.

Онъ добрался до меня, ослабилъ лямку и сѣлъ, отирая потъ, который, смѣшиваясь съ грязью, катился по лицу.

— Самое чижолое до столбовъ выволочить; главное, взяться не за что, ажъ ногти посрываешь,—проговорилъ онъ, замѣтивъ, вѣроятно, на себѣ мой пристальный взглядъ.—Дозвольте папиросочку.

Я торопливо досталъ и подалъ ему. Онъ взялъ и, наклонившись къ лампѣ, сталъ закуривать, при чемъ вспыхнувшая папироса освѣтила уже обыкновенное человѣческое лицо.

— Съ перепою оно дѣйствительно трудно, даже вполнѣ довольно утомительно, потому какъ вчера воскресенье было и праздникъ.

— Давно вы тутъ работаете?

— Да вотъ ужъ другой годъ маюсь, жисти своей тутъ рѣшаюсь. На лѣто, конечно, уходимъ.

— И нынѣшнее лѣто уйдете?

— А то какъ же? Да, вѣдь, это, милый человѣкъ, какъ иные прочіе господа лѣтомъ на теплыя воды, али въ заграницу ѣздятъ, такъ нашъ братъ на работы. Какъ вылѣзешь это отсюда, о Господи!—кругомъ весна, солнышко-то, матушка, такъ и грѣетъ, такъ печетъ, ажъ глазамъ больно. Станешь на косовицу, али хлѣбъ подойдетъ, въ артели пойдешь косить, работа веселая, взопрѣешь—рѣчушка, али ставокъ, выкупаешься, тутъ тебѣ прохлада, тутъ тебѣ благодать, и... и Боже мой! ляжешь это на спину,—онъ немного откинулся спиной на нагруженныя углемъ салазки,—и глядишь въ небо, и все глядишь въ небо,—и онъ слегка приподнялъ голову и поглядѣлъ въ черный потолокъ,—ажъ тебя слезой прошибетъ, а то иной разъ такъ и заснешь, и

тверезый даже, не то чтобы выпимши. Главное—свѣту Божьяго не видать тутъ.

— Зато отсюда заработокъ домой приносите.

— Нѣтъ, баринъ хорошій, никто ничего отсюда никогда не приноситъ.

— Какъ же, развѣ тутъ плохо платятъ?

— Нѣтъ, даже очень хорошо платятъ супротивъ другой работы, особливо, когда рабочіе уходить станутъ, только все тутъ оставляемъ, все до послѣдней нитки: какъ пришелъ голый, такъ и уходишь голый. На заработки-то пойдешь на Кубань, али къ Кавказу, ужъ плохой да плохой годъ, а, глядишь, полусотку, али всю сотню принесешь домой, а тутъ може и больше заработаешь, а ничего не приносишь, все тутъ оставляемъ. Это, господинъ хорошій, сказка есть. Стоятъ два столба, и сказано на этихъ столбахъ: ежели направо—волкъ тебя съѣстъ, ежели налѣво—звѣрь задавитъ, вотъ и выбирай, и все одно не минуешь; либо волкъ съѣстъ, либо звѣрь задавитъ, такъ и здѣсь, какъ пришелъ въ порткахъ, такъ и уйдешь въ однихъ порткахъ, какъ ты тутъ не вертись. Ужъ какъ разъ попался сюда—шабашъ, аминь человѣку!

— Такъ зачѣмъ же пить?

— Эхъ, господинъ хорошій, непривычны вы—ну, конечно, вамъ это въ диковинку. Вотъ вы спрашиваете, зачѣмъ пить, а вы спросите, зачѣмъ Бога-Господа забыли, объ душѣ своей не думаемъ? Вотъ насъ тутъ въ рудникѣ тыщи двѣ работаетъ, спросите, который изъ насъ у обѣдни былъ, али говѣлъ. Церкви Божіи на што стоятъ? Кабаки-то мы знаемъ на што. Какъ вылѣзешь, такъ прямо, сколько силы въ ногахъ, въ кабакъ, хучъ праздникъ, хучъ тебѣ Свѣтло Христово Воскресенье, харю не обмоешь, натрескаешься и въ грязь. А почему? Може и самому зазорно, може и объ душѣ хочешь вспомнить, въ церковь сходилъ бы, помирать всѣ будемъ.

Онъ помолчалъ и понизилъ голосъ:

— Только намъ, баринъ, заклятіе положено.

— Какъ заклятіе. Отъ кого?

— Отъ Бога, извѣстно отъ кого.

— За что же проклятіе?

— Вотъ вы ученый человѣкъ, а спрашиваете,—онъ опять помолчалъ и потомъ проговорилъ съ разстановкой:—За то, что Бога обворовываемъ.

Я пристально посмотрѣлъ ему въ лицо.

— Бога обворовываемъ, говорю, Богъ что сказалъ? Плодитесь и размножайтесь, вотъ вамъ, говоритъ, всякіе злаки и произрастанія, а чего не нужно, въ землю схоронилъ, и схоронилъ не то что на, пришелъ, да взялъ, а схоронилъ, почитай, саженей на сто, а мы вотъ влѣзли, да вытаскиваемъ. Ну, конечно, Господь осерчалъ, да это хоть кому доведись. И сдѣлалъ положеніе: какъ спустился человѣкъ—шабашъ, не уйтить ему, тутъ и сгинетъ. Гляди, иной рваться будетъ, за сколько сотъ верстъ на работы уходитъ, сколько времени пройдетъ, объ немъ ни слуху, ни духу, смотришь—анъ ужъ онъ опять тутъ, и все съ себя до нитки пропьетъ и станетъ заливать глотку, прямо сказать, душу продаетъ. Мы, вѣдь, свѣта Божьяго не видимъ; тутъ темь, вылѣзешь, напьешься, отуманѣешь и ужъ ничего не видишь и не помнишь, покеда опять не спустишься, такъ и проводимъ свою жизнь; чисто звѣрьми подѣлались. Господь и смерть свою у насъ отымаетъ: годъ, два пройдетъ, а тамъ, глядишь, либо голову разбило, либо водой залило, али засыпетъ, а то и цѣлый выйдетъ коли, такъ ноги, руки сведетъ. Иной и десять и двадцать лѣтъ проработаетъ, и кубыть ничего, анъ глядишь, въ руки, въ ноги вступитъ, его и свернуло, и кормятъ его изъ черепушечки, самъ ужъ и ложки держать не можетъ. Отъ Божьяго гнѣва не уйтить. Такъ-то-ся. Я вамъ, баринъ, разскажу случай какой вышелъ. Надысь такъ-то трое пошли въ галлерею, идутъ, одинъ потушилъ лампу...

— Ефимка, какого же ты дьявола тамъ разговоры разговариваешь? Дѣло изъ-за тебя стоитъ!—и градъ самыхъ отборныхъ ругательствъ посыпался на него.

— Что же я собака, что ли, что и отдохнуть нельзя?— огрызнулся Ефимъ.

Онъ торопливо докурилъ папиросу, надѣлъ лямку, сталъ на четвереньки и, упираясь руками и ногами, потащилъ дальше и опять съ его лица сбѣжало человѣческое выраженіе, и осталось лицо животнаго, изуродованное судорогами физическихъ усилій.

VII.

Я оглядѣлся кругомъ: штейгера съ товарищемъ не было видно; они, вѣроятно, были въ дальнемъ концѣ лавки. Рабочіе, зарубавшіе пластъ, разбиравшіе уголь и вытаскивавшіе его къ выходу, красные дымные огни лампъ среди сизаго тумана и эта гладкая, мертвая поверхность надъ головой,—все это пріобрѣло какое-то особенное значеніе, роковое и неизбѣжное. Страхъ смутный и неопредѣленный и ожиданіе несчастья совершенно мимо воли охватывали душу. Я полѣзъ отыскивать своихъ. Неодолимое желаніе выбраться, уйти отсюда, неотступно овладѣло мною.

Сидя на корточкахъ, штейгеръ объяснялъ пріятелю подробности работъ, а тотъ слушалъ съ растерянным и разочарованнымъ видомъ: вмѣсто ожидаемаго мрачнаго величія, все было просто и ужасно. Я окликнулъ ихъ, и мы одинъ за другимъ поползли къ выходу.

Рабочіе въ угрюмомъ молчаніи продолжали свое дѣло, то тамъ, то сямъ ползкомъ показываясь изъ синѣвшей мглы и не обращая на насъ никакого вниманія—каждому было самому до себя.

Черезъ нѣсколько минутъ мы снова очутились въ пустынной галлереѣ и, согнувшись, пошли пѣшкомъ.

Свѣча у меня потухла и мнѣ не хотѣлось дѣлать усиліе зажигать ее, и я слѣдилъ за свѣтлымъ кружкомъ лампы штейгера, скользя и спотыкаясь по мокрому плитняку. Доносившіеся глухіе удары и шорохъ осыпающагося угля давно смолкли позади насъ и мы шли среди могильной тишины, унося въ сознаніи впечатлѣніе оставленныхъ позади людей, угрюмое молчаніе и выраженіе тоски и напряженія на лицахъ.

Мы слѣдовали за штейгеромъ изъ одной галлереи въ другую и, вѣроятно, прошли около версты.

При дрогнувшемъ свѣтѣ лампы впереди смутно обрисовалось во мракѣ что-то странное и неопредѣленное, оставшееся безъ движенія. Былъ ли это выступъ пласта, или человѣкъ—нельзя было разглядѣть.

По мѣрѣ того, какъ свѣтлый кружокъ лампы штейгера подвигался впередъ, въ темнотѣ выдѣлялись сколоченныя перекладинами полусгнившія доски, загораживая проходъ. Что-то живое и миніатюрное зашевелилось тамъ. Это оказался мальчикъ лѣтъ десяти. Онъ побѣжалъ къ загораживавшимъ проходъ воротамъ и торопливо отворилъ ихъ. Вѣтеръ со свистомъ и колебля пламя вырвался съ той стороны, охватилъ насъ холодомъ и сыростью и понесся по галлереѣ.

— Иваська, это ты?

Мы остановились. Онъ стоялъ передъ нами, глядя на насъ своими наивными дѣтскими глазками. По этому проходу рѣдко гоняли вагоны, и наше появленіе было для него цѣлымъ событіемъ. Онъ былъ приставленъ отворять и затворять ворота, регулировавшія токъ воздуха. Ему не давали лампы, чтобы не тратить даромъ керосина, и онъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ возлѣ воротъ среди молчанія и мрака и прислушивался къ шороху и паденію капель, невидимо пробиравшихся въ темнотѣ по стѣнамъ и монотонно и однообразно падавшихъ со свода, наводя уныніе и тоску. Дѣтская голова, руки и ноги просили работы, движенія, и онъ

мялъ крошки угля и отковыривалъ кусочки отгнившей доски.

— Скучно тебѣ одному?

— Нѣтъ, оно не скучно, а только чижало на сердцѣ.

Онъ перевелъ на насъ свои дѣтскіе глаза и тоскливо улыбнулся.

Мы постояли съ минуту, какъ будто намъ еще нужно было сказать что-то, и не находили что, а потомъ пошли дальше. Слышно было, какъ затворились сзади ворота, и вокругъ снова водворилась мертвая тишина и непроницаемый мракъ неотступно слѣдовалъ сзади, съ боковъ, спереди. Мы шли теперь къ выходу и мнѣ хотѣлось скорѣе воротиться *туда*, наверхъ, къ себѣ, къ своимъ занятіямъ, своей обстановкѣ, къ своимъ близкимъ. Я думалъ о томъ, день теперь *тамъ* или ночь, и представлялъ себѣ улицы, прохожихъ, дома, деревья, вокзалъ.

Мнѣ странно было, что я выберусь, наконецъ, изъ этого мрака, изъ этой обстановки, какъ будто я нѣсколько дней ѣхалъ на перекладныхъ среди грязи, слякоти и непогоды, не отдыхая, не раздѣваясь, и свыкся со всѣми неудобствами дороги, и странно было, что скоро доѣду, и не нужно будетъ трястись и сидѣть въ сыромъ платьѣ, не перемѣняя неудобнаго положенія.

Мы сворачивали куда-то вправо, потомъ влѣво, потомъ вышли въ какой-то широкій проходъ, гдѣ рельсы были проложены въ два пути, по діагональному ходу, тѣсному и низкому, стукались головами, спотыкались и болтались въ водѣ и я не зналъ, откуда и куда мы идемъ и въ какой сторонѣ оставленныя нами работы, и машинально тащился за согнутою широкою фигурой молча пробиравшагося впереди штейгера,—все равно, мы въ концѣ концовъ, должны же были придти къ выходу. Мы не попали на поѣздъ и намъ теперь все время нужно было идти пѣшкомъ.

„Нѣтъ не скучно, а только чижало на сердцѣ“,— все звучало среди темноты, и я старался не думать объ этомъ и отогнать выраженіе тоски и печали дѣтскихъ глазъ и представлялъ себѣ, какъ я заберусь въ клѣтку и она быстро пойдетъ мимо влажныхъ стѣнокъ сруба.

Долго, очень долго мы шли такимъ образомъ; вѣроятно, сдѣлали нѣсколько верстъ. Я не зналъ, возвращались ли мы прежнею дорогой или штейгеръ велъ теперь насъ иными галлереями.

— А не желаете ли взглянуть на помѣщеніе для рабочихъ лошадей рудника?—проговорилъ онъ, пріостанавливаясь и посвѣчивая передъ собою лампой.

Первое, что я почувствовалъ, это—радостное облегченіе, такъ какъ зналъ, что конюшни были недалеко отъ выхода. Мы остановились. Единственное наше желаніе было—возможно скорѣе выбраться отсюда, но мы почему-то проговорили:

— Ну, что-жъ, пойдемте.

Штейгеръ подошелъ и отворилъ въ стѣнѣ небольшую дверь. Горячая атмосфера распареннаго навоза и многихъ десятковъ лошадиныхъ тѣлъ пахнула въ лицо и охватила специфическимъ запахомъ и тепломъ. Мы вошли. Около семидесяти лошадей стояло по станкамъ, слабо выдѣляясь крупами въ полутьмѣ. Онѣ были сыты, съ лоснящеюся шерстью. Ихъ здѣсь отлично кормятъ и не переутомляютъ работой, но многія слѣпы. Лошади очень быстро теряютъ зрѣніе въ темнотѣ. Я прислушался: онѣ мѣрно и звучно жевали сѣно, и мнѣ припомнилось поле, потухающая заря, распряженный возъ по дорогѣ и этотъ спокойный и мѣрный звукъ пережевыванія, который всегда вызываетъ особенное состояніе спокойствія и отдыха. Бѣдныя животныя! Они уже никогда не увидятъ солнца, зелени, степного приволья и сложатъ свои кости въ этихъ мрачныхъ галлереяхъ.

Мы вышли и прошли на площадку къ подъему.

Подошла клѣтка; всѣ усѣлись; откинулась желѣзная скоба и площадка съ людьми и со всѣмъ, что на ней было, мгновенно пропала внизу, а мы минуты съ двѣ оставались среди абсолютнаго мрака и, казалось, безъ всякаго движенія. Съ прежнимъ гуломъ и желѣзнымъ грохотомъ клѣтка ударилась о перекладины, но это уже не поразило такъ ухо, какъ въ первый разъ. Какъ только со стукомъ опустилась прихватившая клѣтку скоба, я выпрыгнулъ на полъ.

Въ окнахъ виднѣлся слабый свѣтъ угасающаго дня, а вмѣстѣ съ нимъ надежда и призракъ возможнаго гдѣ-то счастья и радости проникли въ душу. Никогда дневной свѣтъ не производилъ такого впечатлѣнія, какъ теперь.

Мы торопливо переодѣлись и вышли. Въ воздухѣ стояла тишина весенняго вечера. Слабая полоса зари догорала на далекихъ небесахъ. Кое-гдѣ замерцали звѣзды. Этотъ тихій весенній вечеръ, дома, деревья, заборы, плетни, окна, вечерняя даль, затянутая легкою дымкою,—все это поразило меня особенною новизной, чѣмъ-то такимъ, чего я до сегодняшняго дня какъ будто не замѣчалъ.

Мрачное, угрюмое зданіе осталось позади, и почернѣвшая дымовая труба сумрачно высилась надъ нимъ, одиноко выдѣляясь на вечернемъ небѣ.

Типографія „Трудъ и Польза“, Фонтанка 71—21.

PG 3467 .M726 N3 1903 C.1
Na plotakh :
Stanford University Libraries
3 6105 039 854 208

SZWEDE SLAVIC BOOKS
PALO ALTO, CA U.S.A.
$10.00
Feb'83/ant

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305